

Юрий
Аракчеев

**Обязательно
завтра...**

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Юрий Сергеевич Аракчеев

Обязательно завтра

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=34455457

SelfPub; 2018

Аннотация

Москва, 60-е годы прошлого века. Начинающий писатель получает задание от молодежного журнала – написать проблемный очерк о преступности среди несовершеннолетних. Он посещает детские комнаты милиции, прокуратуры, тюрьмы. По роковому совпадению и в необычных обстоятельствах он влюбляется в молодую женщину, судьба которой сложилась так, что она тоже могла быть героиней его очерка. Неожиданно для себя он оказывается в пучине страстей, где перемешаны понятия совести, любви, красоты, предательства. И вместо очерка начинает писать роман. В оформлении обложки использованы фотоработы автора. Содержит нецензурную брань.

Собирались, как всегда, у меня, в моей обшарпанной келье – одной из семи комнат многолюдной коммунальной квартиры. Мой приятель Антон обещал прийти с Костей и тремя девушками часам к семи. Уже часов в пять я начал готовиться: стирал пыль со шкафа, письменного стола, тумбочки, потом принялся подметать пол.

С утра отгонял от себя мысли о вечере, что-то даже пытался сделать в курсовой работе, над которой сидел с понедельника. Но убираясь и подметая пол, ни о чем другом уже думать не мог. «Ерунда – успокаивал я сам себя, – ну что хорошего может получиться из нашей вечеринки? Неизвестно ведь, кто придет. Да и придут ли девчонки вообще?»

Выбросил мусор в помойное ведро, которое стояло в углу нашей общей коммунальной кухни, вернулся в комнату. Машинально глянул в окно. И увидел, что они уже идут по двору. А я даже не успел переодеться!

Поспешно выхвачена вешалка с костюмом из шкафа, натянута по-быстрому белая рубашка. И в этот момент раздается звонок в передней. Кто-то из соседей открывает дверь квартиры за меня...

Торопясь, завязываю галстук и слышу тяжелые шаги в коридоре за дверью. Первым, конечно же, идет Антон. Большой, уверенный в себе, как всегда, и веселый. Высовываюсь из-за двери, впускаю в комнату Антона одного, прося осталь-

ных подождать в коридоре, пока оденусь. Антон хохочет и оправдывается за слишком ранний приход, а они все ждут там...

Наконец, верхняя пуговица рубашки под галстуком застегнута, надет пиджак. Мгновенный взгляд в зеркало – все нормально. Распахиваю дверь и прошу всех входить.

Все входят, в комнате тотчас становитсялюдно, шумно. Антон знакомит со всеми поочереди, я, как всегда, не запоминаю имен, потому что нужно говорить свое. Помогаю девушкам снять пальто, принимаю шарфики, шапки – на улице март...

Девушки осматриваются и одна за другой подходят к зеркалу старинного бабушкиного трельяжа. А я сажусь на тахту, переводя дух...

В эти первые минуты все три девушки у зеркала кажутся мне удивительно красивыми, от них пахнет свежестью и духами, с ними в комнату входит праздник. Антон, высокий, коротко, современно стриженный, спортивный, чувствует себя, как всегда, хозяином, он что-то говорит громко, хохочет. О Косте я не раз слышал от Антона, но вижу его впервые. Он разочаровывает – невысокий, крепенький, смугловатый блондинчик, тихий какой-то, невзрачный...

А девушки щебечут наперебой, и голоса их звучат, как музыка. Все словно светлеет вокруг, и даже полинявшие и кое-где отставшие от стен обои в комнате становятся как-то приличнее, что ли.

– Олег, вот что! Мы не успели в магазин забежать. Развлеки девчонок пока, а мы с Костей мигом! – весело говорит Антон.

Шумя, топая, задевая то одно, то другое на пути своим мощным телом, Антон выходит, за ним тихо выскальзывает и Костя. Я остаюсь с девушками один. Напрягшись, собравшись внутренне, встаю с тахты, прохаживаюсь зачем-то по комнате, лихорадочно соображая, чем же их развлечь.

Одно имя запомнилось в сумбуре знакомств – Лора. Потому и запомнилось, что она сказала «Лора», а не «Лариса», хотя все звали ее Ларисой.

Теперь, когда после ухода ребят прихожу в себя и осматриваюсь, сразу бросается в глаза, что Лора – это самая эффектная из девушек, можно даже сказать очень красивая: черноволосая, с большими голубыми глазами, вся какая-то яркая, даже резкая на первый взгляд. Но – лишь на первый. Потому что тут же видна в ней и женственность, мягкость... Лорой, кстати, звали первую, отроческую, самую-самую первую мою любовь, девочку одиннадцати лет. Именно Лора, а не Лариса... Это было в Лесной школе, и мучительное, неизжитое чувство осталось на всю жизнь – медленная, тягучая, невыразимо прекрасная пытка, и связанная и как будто почти не связанная с маленькой, живой черноволосой девчушкой. У нее, тоже были темные волосы, но глаза, помнится, карие. А у этой Лоры глаза голубые, яркие. Смотрю на нее, и голова сладко кружится, погружаюсь в блаженное

состояние... Девушки с детства для меня словно существа с других планет – таинственные, чудесные, очень красивые...

Причесываясь у зеркала и осматриваясь, Лора, конечно, замечает и обои, и выщербленный кое-где пол, и старый расшатанный нелепый столик в углу моей комнаты... Бросает быстрый взгляд на меня и приветливо улыбается тут же... А меня словно окатывает теплой волной.

Едва поправив прическу, с веселой озабоченностью она просит воды. Беру из шкафа стакан, иду на кухню, наливаю воду из под крана, приношу. Но Лора не пьет, достает из сумочки букетик подснежников – крошечный белый букетик, стиснутый листьями ландышей, – бережно развязывает, распеленывает его, выбрасывает жесткие листья, набирает воду в рот, обрызгивает нежные цветочки, любуясь ими, заботливо опускает в стакан и ставит в центре стола.

– Это мне один парень на улице подарил, красивый... – говорит она, гордая, и смеется.

Странно: в глазах у нее печаль. Или мне кажется?

Надо, надо их как-то развлечь! Даю им мой ручной силомер, медицинский. Они с визгами, возгласами поочередно сжимают его в своих ладошках, потом просят и меня. Я выжимал тогда много... Как ни странно, выжимал даже больше Антона, хотя он был на полголовы выше меня и значительно тяжелее...

Подруги Лоры несравнимо менее эффектны: одна молоденькая, лет двадцати, миленькая, но очень уж простень-

кая, другая – высокая, с меня ростом, лет тридцати, худая, с длинным носом и тяжелым, несоразмерно большим подбородком, застенчивая.

Лора подходит к радиоле, роется в пластинках и ставит не рок, который вошел тогда в моду, не джаз и не что-то отвязное, быстрое, а – итальянского певца Джильи. С интересом смотрю на нее, а она отвечает веселым и, как мне кажется, понимающим взглядом. А я чувствую, словно во мне разжигается что-то...

Наконец, ребята прибывают во всеоружии – бутылки выстраиваются на столе. Опять в комнате шумно. Долой Джильи – ставят веселую музыку! Начинаются привычные хлопоты по добыванию у соседей посуды, рюмок, Антон, как всегда по уговору, разыгрывает из себя тоже хозяина комнаты, ему это хорошо удается. Костя смазлив, галантен – типичный сердцеед: молчаливый, манерный, томный, с печальным, скучающим и как будто зовущим куда-то взглядом – терпеть не могу таких....

Садимся за стол. Лора – между Антоном и Костей. За окнами темнеет, включаем маленький, «интимный» свет, дурачимся, поочередно выдумываем тосты. Бутылки быстро пустеют.

– Олег – отличный парень, – говорит в связи с чем-то Лора, это неожиданно и приятно, и я даже вздрагиваю, услышав ее слова.

Пора и потанцевать. Все уже во хмелю, это здорово. Сдви-

гаем стол в угол, ставим музыку танцевальную, медленную...

До Лоры, конечно же, не добраться, то Костя, то Антон приглашают ее наперебой, особенно Костя. Мне ничего не остается, как смиренно приглашать кого-нибудь из ее подруг, чаще получается – старшую.

Костя танцует с Лорой медленно, плотно прижимает к себе, не отрываясь, смотрит ей в глаза этак печально и томно, а она подмигивает нам с Антоном, дурачась, закатывает глаза. Но Костя даже не улыбнется...

– Видишь, Олег, Костя ее любит, а она с ним так, – говорит мне моя застенчивая партнерша, вздыхая. – Лариска всегда, со всеми так.

– Да? – якобы удивляюсь я. – Интересно...

И вдруг чувствую, что на самом деле интерес убывает неудержимо. Началось как будто бы хорошо, но теперь ясно, что опять не получается общего, кончается веселье и праздник. Опять все становится скучным, как всегда. Антон захмелел и уже хмуро серьезен – то с Лорой, то с молоденькой танцует очень старательно, полузакрыв глаза, тесно прижимая к себе, балдеет... Кончилось веселье и шутки – наступает время могучих телесных желаний!

Костя настойчиво и упорно гипнотизирует Лору... Мне, похоже, и молоденькая не светит, старшая – вот мой окончательный и бесповоротный удел! Кстати, когда еще только садились за стол, Антон прозвал ее Фернанделем, по имени знаменитого французского актера-комика с большой ниж-

ней челюстью и лошадиными зубами, это жестоко, но, черт побери, довольно метко. А еще Антон сказал, что она напоминает ему его маму, намекая, конечно, на возраст – она старше нас всех... Сволочь Антон, хам, как всегда.

Да, быстро все как-то... Выхожу из комнаты в дебри коммунального коридора, стою в передней зачем-то, потом иду на лестничную площадку. Хорошо курящим – всегда занятие есть. Но я не курю. Печаль, печаль... Перед глазами синее окно. «Россия, милая Россия, как грустно нам... в туманных даях...» – пытаюсь по дурацкой «онегинско-печеринской» привычке сочинить что-то многозначительное и эффектное, причем обязательно патриотическое. Даже инстинктивно принимаю этакую «печеринскую» позу. Не помогает... Да, Лора мне понравилась, очень понравилась, она красивая девушка, живая и, видимо, неглупая, но... Ну, конечно, где нам, бедным студентам, не для нас шикарные женщины, мы по ресторанам не ходим... Антон говорил, что Костя начальник отдела у них в Академии, а Лора из соседнего отдела, но считается чуть ли не самой красивой у них, и Костя за ней ухлестывает давно. И в рестораны ее вообще-то наперебой приглашают, так что... Не по Сеньке шапка, как говорится... Грустно, грустно. И скучно. «И некому руку...» Слава богу, остановился вовремя.

Постояв, возвращаюсь по узкому коммунальному коридору, вхожу... И меня вдруг приглашает на танец Лора. Да, да, едва вошел, еще не осмотрелся даже, а из глубины комнаты

она вдруг подходит ко мне и кладет руку мне на плечо... Машинально обнимаю за талию...

Тотчас все изменилось вокруг! Нет убогой мрачной комнаты, нет ребят, ничего нет кроме... Игрет музыка, мы близко друг к другу, вплотную, я ощущаю ее головокружительно пышную грудь своей грудью, я обнимаю ее... Мы оба словно в каком-то плавном полете, ее дыхание – это мое дыхание, наши сердца рядом, я чувствую ее горячий гладкий висок на своей щеке, моих губ касаются ее шелковистые душистые волосы... Чуть сильнее прижимаю ее к себе и ощущаю, как покорно и нежно обнимают меня ее легкие руки. Кружится голова...

Но кончается музыка.

Тотчас же грубо, решительно хватает за руку Лору Антон, обнимает, прижимает к себе, я даже не успеваю осмыслить... Начинается новая мелодия на пластинке... И Лора послушно припадает к Антону... А я вижу, что передо мной в каком-то даже требовательном ожидании стоит Фернандель.

– Да, вот так всегда получается, – обиженно говорит «законная» моя партнерша и заглядывает мне в глаза как-то жалобно. – Во всех компаниях все ухаживают за Лариской...

– Неужели? – переспрашиваю машинально, чувствуя, что голова все еще сладко кружится.

Да, Лора танцует с Антоном, тесно прижавшись к нему, хотя иногда посматривает и на меня, я это вижу. В груди почему-то ком... Что-то обиженно продолжает бормотать Фер-

нандель, я молчу. Мы танцуем...

Опьянели все окончательно, что ли? Или мне кажется? Я и сам как бы плыву...

Но вот Антон включает большой свет, в комнате опять становится шумно. Раскатисто и самоуверенно хохочет Антон – уже не такой серьезный! – Костя улыбается почти блаженно, щебечут о чем-то девчонки. Садимся снова за стол...

Тосты, шум и неразбериха, застенчивая добрая девушка с большим подбородком заботливо, как-то по-матерински ухаживает за мной, накладывая на тарелку консервы из банки. Лора над чем-то смеется слишком, пожалуй, громко, даже вульгарно, хотя и поглядывает на меня иногда, а я не знаю, радоваться или грустить, в голове черт знает что. А младшенькая светленькая девушка (кажется, ее зовут Лена), визгливо рассказывает о чем-то. Вижу вдруг, что Лора как-то ослепительно и жутковато красива, мрачное в ней что-то – ведьминское! Бледное лицо, резкие черные брови, светящиеся голубые глаза, черные с блеском волосы...

– Ты расскажи лучше, как ты тогда в ресторане отмочила, – низким материнским голосом обращается к младшенькой мой Фернандель, и все замолкают разом.

В наступившей тишине младшенькая тоненьким детским голоском трогательно произносит:

– Я пи-и-сать хочу!

И – раскат общего хохота, сотрясающий стены моей обшарпанной кельи...

Потом опять танцы. Опять толкотня друзей из-за Лоры... Но вот, кажется, Антон уступает окончательно Косте. Сам он опять серьезен, сосредоточен и отрешен, плотно прижимает к себе Лену, та, кажется, ничего уже не воспринимает вокруг, прилипла напрочь, им обоим ни до чего. А вот уже, вроде бы, и началось: целуются, точно... Костя, прикрыв глаза, основательно обнимает Лору, та тоже притихла, не поднимает глаза, не дурачится – видимо, наготове. Ясно.

И только мы с Фернанделем танцуем этак по-школьному, на расстоянии, я тактично и мягко пресекаю ее попытки приблизиться и ощущаю, что волшебство неудержимо рассеивается, трезвая, серая ясность брезжит. Голова уже совсем не кружится, и сердце молчит.

На помощь, как обычно, приходит время. Кто-то зажигает верхний свет, праздник заканчивается.

Девчонкам пора домой, они живут далеко. Опять толкотня у зеркала, только теперь как-то устало и, мне кажется, разочарованно. Что-то им говорят поочередно настойчиво Костя с Антоном, что-то девочки им отвечают – то одна, то другая мотают головой отрицательно.

Но вдруг Лора снимает надетое уже пальто, а Лена с Фернанделем говорят мне «до свиданья» – Фернандель с явной обидой, – они выходят из комнаты, а с ними и Костя с Антоном.

И до моего сознания доходит, что мы с Лорой остались вдвоем в комнате...

Я не знаю, почему задержалась Лора, куда ушли девчонки с ребятами, но ощущаю вдруг, что в висках стучит молотом, сердце подскакивает и гроыхает уже где-то в горле. Смотрю на Лору и вижу, что и она – взволнована!

Она с каким-то странным выражением лица отворачивается от меня, подходит к книжному шкафу, вытаскивает книгу, нервно листает...

Чугунными ногами шагаю к ней – и она тут же поворачивается, словно ждала. Машинально обнимаю ее – она прижимается тотчас, поднимает лицо, – и я впиваюсь в ее губы так, что становится больно. Но ощущаю вдруг, как нежно трепещут горячие, нежные губы ее, и как встречаются наши с ней языки...

Оглушительно колотится сердце, я едва держусь на ногах. Стискиваю ее тело, она тоже прижимается изо всех сил и... стонет слегка... Господи, господи...

Но в коридоре – шаги ребят. И мы отшатываемся друг от друга машинально...

Когда Костя с Антоном входят, мы уже просто как будто рассматриваем вместе книжку. Вижу, ощущаю пылающую Лорину щеку и завитки черных шелковистых волос, касающихся моей щеки, слышу ее дыхание. О, господи, что же делать...

Костя и Антон подозрительно смотрят на нас, Лора тотчас говорит что-то веселое и, как ни в чем не бывало, отходит в сторону. Антон с Костей над чем-то шутят, а я, успокаивая

сердце, машинально листаю книжку и пытаюсь сообразить, что нужно делать, как быть, и какое выражение должно быть на моем лице, когда подниму глаза на ребят. Равнодушие и спокойствие – так, что ли?

Ставлю книжку на место, смотрю. Никто не обращает на меня внимания, о чем-то говорят все трое. Лора держится как ни в чем не бывало. И она как будто бы и не торопится уходить...

– Давайте в бутылочку? – тихим, вкрадчивым голосом говорит Костя и улыбается этак лукаво.

– Конечно! Давайте! – бодро кричит Антон. – Молодец Костя! Какую возьмем? Лариса, тебе эта бутылка нравится? Олег, садись. Лариса, а ты сюда. Ну, кто крутит первый?

Машинально сажусь на стул, Лора оказывается напротив. Она не смотрит на меня, она внимательно наблюдает за Костей, который уже взял лежащую бутылку за середину. Резкое движение кисти – бутылка со стуком подпрыгивает, крутится, останавливается. Горлышко показывает на Антона.

– Ну, с тобой мы целоваться не будем, – говорит Костя и хочет схватить бутылку снова.

– Нет, уж, извини! – перехватывает бутылку Антон. – Моя очередь. Не хочешь меня целовать – не надо, а крутить теперь мне.

Он долго прилаживается, старательно обхватывая бутылку своей большой рукой, наконец крутит. Горлышко указывает на меня.

Так что крутить моя очередь.

Лора поднимает глаза. Я все-таки еще не опомнился от недавнего, у меня все еще колотится сердце, голова, как в тумане, я понятия не имею, что делать и как правильно себя вести, но я беру бутылку за середину, машинально кручу, она поворачивается несколько раз, и горлышко останавливается на Косте. Поспешно тот хватает бутылку, крутит и... Горлышко останавливается рядом с Лорой. Мгновенно Костя вскакивает, тянется к Лоре, едва не сваливая ее со стула, обнимает, присасывается губами. Антон громко хохочет. Лора ничуть не сопротивляется, и когда Костя, наконец, отстраняется от нее, я вижу, что щеки ее горят.

Тупо смотрю, как сначала Костя, потом Антон, снова Костя и снова Антон крутят бутылку и поочередно законно целуют Лору. Когда она крутит, горлышко тоже показывает на них, и она раскраснелась, улыбается, рада...

Это какая-то мистика, но на меня горлышко не показало больше ни разу.

– Может, хватит, ребята? – говорю, наконец.

– А ты, что, не хочешь поцеловать меня, да, Олег? – обиженно спрашивает Лора, глядя на меня своими чистыми голубыми глазами.

Я, видимо, краснею, а Антон, добрый мой друг, кричит:

– Да так целуйтесь, чего там! Как утешительный приз!

Разрешим ему, Костя?

– Ладно уж, пусть, – великодушно улыбается Костя,

– Олег, ты слышал? – говорит Лора и улыбается.

Словно приговоренный, встаю, подхожу к ней, наклоняюсь... Она тотчас закидывает руки мне за спину, обнимает – их она не обнимала, это я вспоминаю мгновенно! – губы ее тянутся к моим, наши языки мгновенно встречаются, я чувствую, что Лора обмякает и даже стонет слегка... В голове у меня мутится, я чуть не падаю...

– Ну, вы даете! – кричит Антон. – Вот это я понимаю! А что ты, Костя! Ладно, хватит в бутылочку. В карты лучше давайте!

Я никак не могу прийти в себя, опять плыву по течению, послушно сажусь играть в карты... Каждый играет за себя, «в дурака», условия те же: кто выигрывает – целуется с кем хочет. Здесь везет в основном Антону. Когда держу перед собой карты, руки у меня слегка дрожат. Ни я, ни Лора не выигрываем ни разу...

Но вот и полночь наступила. Костя собирается уходить. Только тут я вспоминаю, что Антон говорил – у него жена и ребенок маленький. Обычно в таких случаях он сваливает на то, что ведет какой-то спецсеминар на работе.

– Спецсеминар кончается, Костя! Ничего не поделаешь – низкий старт! – весело шутит Максим, потому что Лора, очевидно, обо всем знает.

И вдруг с неожиданным, так не идущим ему проворством, Костя напяливает пальто и выскальзывает из комнаты, чуть не прищемив дверью свой пухлый портфель...

Мы остаемся вдвоем.

– Так я остаюсь у вас, да? – тихо спрашивает Лора Антона.

– Конечно! – кричит Антон. – Куда ж девушке в ночь? Мы с Олегом потеснимся. Правда, Олег? Тахта широкая, поместимся как-нибудь!

– У вас есть раскладушка? – спрашивает вдруг Лора, стоя посреди комнаты.

– Какая еще раскладушка, Лариса, нет у нас раскладушки! Тахта широкая, я же сказал. Не подеремся. Стели, Олег!

– А брюки есть какие-нибудь спортивные? – спрашивает опять Лора.

– Олег, поищи ей брюки, – командует Антон.

И я послушно принимаюсь искать брюки Лоре. Нахожу лыжные.

– Пойдет? – спрашиваю.

– Если других нет, то пойдет...

В странном, каком-то гипнотическом состоянии стелю на тахту то, что обычно, достаю одеяло.

Ложимся поочередно, Антон гасит свет.

Трикотажную кофту свою Лора стягивает сама. Антон аккуратно снимает с нее и бюстгальтер.

– Какая грудь у Ларисы, нет, ты посмотри, Олег, какая отличная грудь! – с искренним восхищением говорит он, и я смотрю.

И в полумраке комнаты, в слабом свете уличных фонарей я вижу это нежное беззащитное чудо – два округлых, словно

светящихся холмика с заострившимися, беспечно торчащими сосками. Так близко, с такими подробностями и такую красивую женскую грудь я вижу впервые... Большая смуглая рука Антона ласкает ее, и торчащие соски упорно проскакивают между пальцами. Господи, Боже...

А Лора смотрит на меня. Застенчиво, но гордо.

Потом мы лежим на тахте: Лора посередине, Антон с внешнего края, а я у стенки. И словно в каком-то навязчивом, гипнотическом сне мы целуем Лору с Антоном поочередно. Я все еще растерян, все еще ничего не могу понять, ничего не могу поделаться с собой, не знаю, как правильно. У меня еще не было так. С женщинами к тому времени, конечно, бывал, и не с одной, но, если честно, в себе не очень уверен. Чувствую, конечно, что происходит что-то не то, но... Нельзя же спасовать перед Антоном, это во-первых. А во вторых... Боже, Боже, чувствую, что ей нравится! И нет, нет никакого протеста с ее стороны! Наоборот: нежность, покорность... Антон целует, и я тоже целую... Лора волнуется, дышит прерывисто, я целую нежно, бережно, стараясь, чтобы получалось как можно лучше. Плохо это, наверное, нехорошо как-то, но ведь она с нежностью отвечает, ей нравится...

– Мы... Осторожненько... ладно? – тихонько вдруг говорит Антон.

Ясно, о чем речь, конечно же. Лора вздрагивает, но молчит. Она не возражает! И я чувствую вдруг, что кто-то из них дрожит мелкой дрожью. Не исключено, что она.

Она согласна, ясно, что она согласна! Она ждет...

Об Антоне говорить не приходится – он ведь и предложил. Дело, выходит, за мной. И вот тут...

Что-то странное случилось со мной. Такая грусть, что хоть волком вой. Я и правда, помнится, чуть не зарыдал в голос, кретин. Наверное, я все же другой, не такой, как они, не такой! – возопило все мое существо... Я соглашался, да, я целовал ее вместе с Антоном, но не настолько же... И она согласна – да, явно согласна она! Такая красивая, такая роскошная, такая живая и нежная... Она – согласна! А нас двое с Антоном...

Весь хмель вдруг из меня испарился. Отчаянно захотелось колотить в стену изо всех сил. Отчаянно! Что за мир, что за паршивый грязный мир, заорал я, но не вслух, разумеется. Им – хорошо, им обоим хорошо, Лора явно согласна! И они оба ждут. Ах, как целовалась она, ах, как она меня обнимала, как дрожала в моих объятиях, как сама пригласила меня на танец... А теперь...

И тут Антон встает зачем-то:

– Я сейчас приду...

И выходит в коридор.

И тогда... Опять что-то странное мгновенно происходит со мной. Не думая, не рассуждая, в сумасшедшем порыве я вдруг поворачиваюсь к Лоре и зарываюсь лицом в ее грудь – так исцелованную уже нами. Но... Она роскошная, нежная, полная, такая податливая и такая прохладная ее грудь!

Нежность, чувство вины, радость непонятная... Я целую в исступлении не только это нежное чудо с изюминками оставших сосков, я целую и лицо ее, и шею, и губы, глаза, волосы... Я словно исстрадавшийся от жажды путник в пустыне нашел вдруг волшебный источник, погрузил в него разгоряченное палящей жарой лицо, и пью, пью, едва не захлебываясь... И тотчас ощущаю, что ее тело стало абсолютно послушным, оно словно слилось с моим, мы мгновенно стали одним единым счастливым сгустком, и словно прекрасная музыка вдруг звучит... И что-то из детства мелькнуло, и мама вспомнилась, которую я ведь не помнил – она умерла, когда мне было шесть лет, но до того долго лежала в больнице, и видел я ее в самом-самом раннем детстве, и – не помню... А теперь вдруг каким-то странным образом я ощущаю себя сильным, очень сильным и добрым...

Но входит Антон. И все нарушилось тотчас.

Антон ложится, тахта тяжело оседает под ним... Он поворачивается к Лоре и пытается опять целовать. Но...

– Кажется, что-то произошло? – говорит Антон, приподнявшись, и смотрит то на Лору, то на меня.

А я только стараюсь лечь поудобнее.

И тогда Лора вдруг тихо:

– Олежек, ты не целуй меня, ладно? А то может случиться что-то нехорошее...

В голове у меня хаос, цунами, буря в пустыне. В пустыне... Мы все лежим молча. Медленно течет время.

Антон, наконец, вздохнул глубоко и затих.

А Лора вдруг поворачивается ко мне. То она лежала на спине, «соблюдая нейтралитет», но тут вдруг решительно поворачивается ко мне. И обвивает мою шею руками. И шепчет на ухо:

– Какой ты хороший...

Сердце мое колотится оглушительно, слезы на глаза выступают. Лора прижимается ко мне всем телом. Голова по-прежнему идет кругом...

– Какой ты хороший, – повторяет Лора и прислоняется своей горячей щекой.

И опять вспышка и тягучая, сладкая музыка, и растерянность, и боль почему-то опять.

А Лора вдруг осторожно, медленно, с какой-то материнской заботливостью просовывает руку под ремень моих брюк, которые я ведь так и не снял... Она прикасается нежно, и я чуть не задыхаюсь от острого чувства, мощный вихрь подхватывает и несет, сердце словно пытается выпрыгнуть... Я ощущаю ее нежные пальцы – немислимая, фантастическая сладость, и... Могучие, мощные толчки... И сладкая, горячая бездна, в которой я, кажется млею, словно в счастливом сне...

– Милый мой, – шепчет Лора тихонько.

А потом мы уснули.

Проснулся я первым... Едва открыв глаза, увидел в утреннем полумраке перед собой на подушке лицо Лоры. Спящее, ставшее во сне мягче, роднее. Красивое очень, наполовину прикрытое черными волосами. Длинные ресницы, почти детские пухлые губы... Не успел как следует разглядеть – глаза приоткрылись. Голубизна вспыхнула между ресницами, губы слегка растянулись в улыбке. Мгновенно меня охватило ощущение небывалого счастья... Она пошевелилась, и тут я вспомнил, что одна ее рука всю ночь обнимала меня. Она и сейчас спокойно лежала на моем бедре.

Сложные во мне были чувства... Но несмотря ни на что, нерассуждающая, звенящая радость пронизывала. Странное ощущение: как будто вчера, позавчера, раньше вокруг было холодно, а тут вдруг стало тепло. Как будто холодное тело мое отогрелось.

Ни я, ни она не успели ничего сказать – проснулся и зашевелился Антон.

– Ну, что, голубки, пробудились? – громко проговорил он, потягиваясь.

Он первым соскочил с тахты, натянул брюки, пошел умываться, пока не проснулись соседи... Лора встала, попросила меня отвернуться и начала одеваться тоже.

– У тебя есть чистая тряпочка или вата? – спросила.

Я достал из шкафа чистое полотенце.

– Отвернись! – попросила она.

Краем глаза я видел, что она, приспустив мои лыжные брюки, что-то делала у себя там, слегка наклонившись...

Антон вошел, когда Лора уже оделась и причесывалась перед зеркалом.

А я, облачившись во вчерашнюю свою белую рубашку, сидел на тахте и смотрел. И почему-то особенно к месту чувствовал себя именно в белой рубашке. И не мог отвести глаз. Сердце сжималось от ощущения невыразимого, небывалого родства.

Антон отправился на кухню ставить чайник. Лора обернулась. Медленно подошла ко мне, наклонилась и прислонилась лицом к моему лицу.

– У тебя есть записная книжка? – спросила тихо.

– Конечно.

И она сама написала свой телефон. На работу. Гребнева. Лора Гребнева – так ее подзывать.

Горячая, пылкая нежность сжигала меня, но я сидел, не в силах пошевелиться.

Вошел Антон с чайником. Быстро они с Лорой выпили по стакану. Ушли.

Некоторое время я по-прежнему сидел на тахте неподвижно. В груди возникали спазмы. То радость рвалась наружу, то жгла печаль. Наконец, горячая нежность затопила все. Глаза защипало.

День, однако, уже начался. К десяти нужно было ехать в детский сад, договариваться о фотографии. Я ведь зарабаты-

вал тем, что фотографировал детей в детских садах. Неофициально, можно даже сказать, подпольно. В советском государстве это было запрещено. Это называлось «частнопредпринимательская деятельность» и каралось по закону.

Вчера дозвонился заведующей, на сегодня договорились. Денег совсем уже нет – надо, обязательно надо ехать.

Я опять чувствовал себя, как в тумане.

Ехал в метро, потом в автобусе. Было тихо, пасмурно. Весна, 28-е марта. Значит, вчера 27-е? День рождения матери, давно умершей, а завтра день рождения сестры. Вот ведь совпадение... Маму, как уже сказано, я не помнил живой, только на фотографии. И вот вчера ее день рождения и – эта странная встреча, неожиданное происшествие. Лора...

Вообще-то до Лоры у меня было пять девушек, с которыми был сексуально как будто близок, но по-настоящему ни с одной... Первая любовь – тоже Лора, темноглазая живая девчушка одиннадцати лет в Лесной школе – но то любовь детская, несерьезная, и естественно, что даже намек на какую-либо эротику не было. Еще одна, тоже фактически первая – в городской школе, в восьмом классе. Голубоглазая, со светлыми волосами, Светлана... Ни одного поцелуя... А вот первую женщину в эротическом смысле вряд ли можно назвать любовью, увы...

Движения мои в то утро были неспешны, замедленны, я как будто боялся расплескать что-то в себе, что-то нарушить. То, что происходило вокруг, почти меня не касалось – ка-

кие-то процессы происходили внутри меня. И все же в детский сад я поехал...

С заведующей разговаривал очень спокойно, сдержанно. Мои «представительские» фотографии ей понравились. Договорились о съемке на понедельник. А был четверг.

Ехал обратно и подумал вдруг, что вот теперь если что-то со мной случится – милиция, фининспектор, ОБХСС, КГБ... – будет, с кем поговорить на прощанье, с кем расстаться. А то ведь и не с кем по-настоящему. Хотя неизвестно, конечно же, как она... Не опытен я, ничего не поделаешь.

И когда подошел к телефонному автомату, чтобы позвонить и договориться о встрече как можно скорее, и уже опустил монету, долго стоял в раздумье. Ведь нужно назначить конкретный день. Какой? Сегодня, наверное, исключается – устали оба, надо выспаться, она работает, а я не в форме. Это ведь очень важно – быть в форме, особенно в первый раз. Женщины не прощают, если... Да, сегодня исключается, это точно. Значит, завтра? Но завтра – день рождения сестры. Старшая сестра, хотя и двоюродная, но она мне как мать – после смерти матери и гибели отца жили втроем – с ней и с бабушкой, а потом и бабушка умерла, остались вдвоем. Самый близкий человек Вера из родственников, не пойти на ее день рождения нельзя никак. Значит, с Лорой – послезавтра? Кстати, как раз суббота.

Только на миг беспокойство возникло – ведь целых два дня! Два дня!... Но – погасло. Ничего страшного. Тем более,

что она ведь работает. ...

– Лору Гребневу попросите, пожалуйста, – сказал, услышав в трубке чужой женский голос.

– Одну минутку.

Зовут.

– Да, я слушаю...

Приветливо, хотя и строго. Она.

– Лора, здравствуй. Это я, Олег. Узнала?

– Конечно, узнала. Здравствуй...

Голос потеплел тотчас, стал ласковым – как еще совсем недавно.

– Ну... как ты? – спросил тихо.

– Хорошо, отлично. А ты?

Божественная, волшебная музыка. Ясно, что рядом с ней люди, и она не может быть до конца искренней. Во мне все плавилось от счастья...

– Когда увидимся? – я.

– А когда ты хочешь? – она.

Да, весь мир пронизан музыкой, весь! Телефонная тесная будка реет в райском пространстве, и мы оба, казалось мне, определенно светимся на концах телефонного провода, а с ними и провод, и телефонные трубки наверняка излучают сияние...

– Сегодня мы будем спать, да? – сказал я. – А завтра я иду на день рождения к сестре. Надо, понимаешь, она мне самая близкая родственница... Может быть, послезавтра, в

субботу?

Я говорил это, но голос мой мне самому казался неприятным, фальшивым, я не понимал, в чем дело, но что-то явно было не то, не то...

Она не ответила сразу, помолчала, а я уже весь трепетал в беспокойстве: что-то очень вдруг не понравилось мне. Но что? Что?...

– В субботу я не смогу, знаешь, – сказала она как-то холодно, напряженно.

Миг общего молчания наступил.

И она добавила, но так же холодно:

– Нет, никак. В субботу никак.

Исчезла музыка, полная тишина, Я ворочался в тесной будке, словно упав с высоты, искал слова подходящие – это опять было непонятно и странно, странно...

– Да? Жалко, – проговорил как-то неуклюже, неловко, с торопливостью, ощущая, что будто бы воздуха не хватает...

– А... А в воскресенье? – нашелся, наконец. – В воскресенье ты сможешь?

Я ненавидел себя, с отвращением слышал то, что говорю, но продолжал, ощущая, кажется, что и она там, на том конце провода, слушает с неприязнью...

– Тогда в воскресенье давай, хорошо? Ладно? Ты сможешь? В воскресенье ты сможешь? – продолжал суетливо.

Короткое молчание. И:

– В воскресенье пожалуй. Постараюсь. А где?

Около метро «Дзержинская». У выхода. В семь вечера. У того выхода, который к магазину «Детский мир». В семь. В воскресенье.

И все же это не то. Не то! Я сам себе не нравился совершенно, я прямо-таки ненавидел себя, хотя и не понимал, за что.

Но все-таки договорились.

Что же, что произошло? Почему я так отвратительно себя чувствовал? Снова и снова повторял в воображении весь разговор, настойчиво убеждал себя в том, что все правильно, ничего плохого не было ровным счетом, наоборот – ведь договорились! Пусть только через три дня, пусть не в субботу, как хотел, но договорились же! Сам ведь предложил ей в субботу – не сегодня, не завтра, а только в субботу. Ну и что, что она не может в субботу? Мало ли... В воскресенье она же ведь согласилась!

Так я настойчиво убеждал себя, но что-то крайне не нравилось все равно!

И я вновь вошел в телефонную будку и даже протянул руку к трубке... Позвонить опять! Немедленно! Предложить встречу сегодня! Сегодня же! После работы, раз уж она работает. Сегодня! Ведь она не может не хотеть после того, что было! И я хочу, хочу...

Даже бросил монету и снял трубку...

Но – сдержался. Глупости! Что это я, с ума схожу, что ли? Глупости! Что это я... Все – правильно! В конце концов даже

хорошо, что три дня... То есть почти четыре... Да, почти четыре дня – ведь сегодня тоже! Нет, все правильно. «КЛБ» – как любит выражаться Антон: «Крепче Любить Будет». Еще Стендаль, кстати, писал, что три дня – оптимальный срок для разлуки и созревания любви. Для «кристаллизации любви», как он выражался! Вот и подождем три дня. Все будет нормально...

И я вышел из будки.

Три дня и три вечера я не находил себе места. Садился за курсовую, но не мог сделать ничего абсолютно. Пытался что-нибудь почитать, но строчки плясали перед глазами и расплывались. Над повестью, которую начал недавно, сидеть тоже было абсолютно бессмысленно. Я просто смотрел перед собой, перебирая в памяти вновь и вновь подробности вечеринки. Разные...

Этот наш первый танец, а потом поцелуй, конечно же, около книжного шкафа – голова кругом... Но потом... Вчетвером, втроем... И – «мы осторожненько, ладно?» – и ее как будто бы согласие... Но... «Какой ты хороший...», «Олежек, ты не целуй меня, а то...» И, наконец, яркая вспышка, молния на тахте, взрыв, и музыка, музыка...

А подснежники? Как она их опрыскивала, ставила в стакан с водой бережно... А Джили? И взгляды ее... И глаза... Боже, Боже... Никогда ничего подобного...

Цифры ее телефона светились в моем воспаленном сознании огненными какими-то письменами. И ведь в день рож-

дения матери! Символ! Неужели подарок? ЕЕ подарок ОТ-ТУДА? Неспроста, все неспроста...

День рождения сестры. У нее теперь была своя семья, она жила в другой квартире. Я любил ее и поехал к ней с добрыми чувствами. Она была рада, и я рад, тем более, что гостей было немного. Но я сидел, словно отбывая повинность. Может быть, когда уйдут гости, рассказать сестре и мужу ее, посоветоваться? Но они не поймут... Сестра в этих вопросах не очень-то...

И я молчал, думая все о том же, и опять был в каком-то трансе. Гости долго не уходили и в конце концов дружно и тупо все телевизор смотрели...

Ей на работу на следующий день я так и не позвонил. Хотелось, но не каждый же день... Ведь договорились. И потом... У нее ведь есть мой телефон, если что.

В субботу пришел Антон.

Он пришел поздно вечером, я поставил ему раскладушку. Дело в том, что живет он далеко, а его Академия близко, и он частенько оставался у меня ночевать.

Почему-то о вечеринке Антон даже не вспоминал. И я сам спросил его:

– Ну, как там Лора, Антон? Вы на работу не опоздали тогда?

– Нет, успели. А Лариса... Да как обычно. Я, правда, не видел ее ни вчера, ни позавчера. Конец месяца у нас, запарка.

Он зевнул, потянулся и с показным равнодушием, как мне показалось, сказал еще:

– Зря ты все-таки позавчера. Зря не поддержал меня. Она ведь согласна была. Что это с тобой стряслось? Трахнули бы ее вдвоем, устроили бы хорошенькое Гаити недельки на две, глядишь, и Костю бы подключили. Он давно о Ларисе мечтает, но пока все никак. Девка она ничего, одна грудь чего стоит, верно? Зря ты не поддержал. Ты что, боялся мне проиграть, что ли?

– Что значит, проиграть? В каком смысле? – я даже не сразу понял, о чем он.

– Ну, в половом смысле, понятно же.

Он смотрел, ухмыляясь.

Вот так номер. У меня сердце заболело вдруг, но я молчал. Просто не знал, что сказать. Просто не находил слов. При чем тут?...

– Она... Она мне понравилась, Антон, понимаешь, – заговорил я, наконец, сдерживаясь. – Даже не знаю, как тебе объяснить. Она... Она не такая, мне кажется, как ты о ней думаешь, она... Просто получилось все как-то по-глупому, что ли... Да, она согласна была, наверное, но...

Антон среагировал странно. Он нахмурился, густые брови его сошлись, лицо слегка покраснело. Не глядя на меня, он сказал:

– Знаешь, на кого ты сейчас похож?

Он взглянул на меня, и глаза его были недобры. Совсем

чужие и какие-то враждебные были глаза, Я поразился даже.

– На кого интересно? – спросил все-таки.

– На Роберта Кона ты похож. Из хэмовской «Фиесты», помнишь? Роберт Кон, тупой такой, глупый. Наивняк неотесанный. Неужели сам не замечаешь? Ты на него похож сейчас.

– При чем тут? – опять не понял я. – При чем тут Роберт Кон. Что-то не понимаю. Что значит наивняк неотесанный?

Хемингуэй был тогда всеобщим кумиром, как и Ремарк – их книги наконец-то появились у нас. Мне, правда, больше нравились Стейнбек и Олдингтон, а к Хемингуэю отношение у меня было неоднозначное. Я считал, что Хемингуэй очень уж старается выглядеть сильным, хорохорится, и в этом не сила его, а слабость. Что-то не в порядке с мужественностью у Хемингуэя, считал я, отчего и ему, и его героям постоянно приходилось ее доказывать – и другим, и себе самому в первую очередь. И не случайно, пожалуй, главный герой «Фиесты» – импотент. Хотя играет сильного и супер мужественного. Это ужасно грустно, конечно, но это, похоже, так. И финал хорошего писателя и мужчины Хемингуэя тоже был таким, видимо, не случайно.

Совсем другое дело, считал я, не только даже Стейнбек и Олдингтон, но – Джек Лондон! Вот кто был настоящим моим кумиром чуть ли не с самого детства!

– Ты хорошо читал «Фиесту»? – тем временем продолжал Антон. – Ты прочти еще раз, тебе полезно будет. Место про

Роберта Кона перечитай как следует. Ты на него похож сейчас. Неужели ты так и не понял, что Лариса дрянь? Самая настоящая, образцовая блядь, если на то пошло! Да, фигуристая, да, красивая, но ведь блядь. Ты что, не понял? Брет из «Фиесты» – это еще куда ни шло, хотя и она тоже блядь. Но она хоть дорогая, на кого попало не клюнет. А Лариса... Тебе того, что у нас было, мало? Как целовались все вместе, как она лежала тут с нами, как согласна была на все. С двоими! А то и с троими, если постараться! Ты не понял? И если бы ты не испугался, то...

– Испугался? Что значит, испугался? Ты что-то не то говоришь, Антон. При чем тут испуг...

– Я о тебе лучшего мнения был, Олег, уж если на то пошло, – продолжал Антон зло, с досадой. – Нашел, в кого влюбиться! Не понимаю, что на тебя нашло. Марию Магдалину выискал, надо же!

Он тяжело вздохнул. А я ничего не понимал. На самом деле не понимал, был в растерянности. Если Антон так считает, то как же он мог ее пригласить? Как мог говорить мне, что она из самых красивых девушек в Академии, как мог потом восхищаться ею, целовать, упрашивать... С блядью – «хорошенькое Гаити»?

– Ладно, пройдет, – продолжал он тем временем, явно ничего не поняв. – Протрезвеешь, оно и пройдет, ничего страшного. Я же не даром тебе советовал хоть раз потрахаться как следует, от души, до отвала, тогда и пройдет. Спать

давай. Устал я сегодня, ты меня извини. Сейчас не понимаешь – потом поймешь. Ты не только на Роберта Кона сейчас похож, а еще и на мышку. Мышку серенькую, уж извини. Я как-то о тебе лучшего мнения был. Ну да ладно. Не обижайся. Спать давай.

Опять тяжело вздохнул и замолк.

Я с трудом приходил в себя. Я был ошарашен и даже ответить не мог Антону внятно. Какое там объяснить! Хотя бы просто ответить. То, что он говорил и с какой интонацией, казалось мне чудовищным. Как можно говорить такое о женщине, молодой красивой женщине, которая позволяла себя целовать, которая ничего плохого не сделала, которая если и осталась с нами и позволяла то, что позволяла, то – по нашей же просьбе. Не за деньги, не с каким-то расчетом, а просто так. Что тут такого страшного, в конце концов? Он же сам хотел «хорошенькое Гаити». За что же так на нее? Прежде, чем ее привести, он ведь характеризовал ее так: «Красивая, великолепная женщина молодая, из соседнего отдела. Лариса. Вот бы ее к нам затащить, я постараюсь...» И затащил.

Я не думал, что Антон может так. Он раньше не казался мне таким бесчувственным все же.

– Ладно, – сказал я все-таки. – Давай спать. Странно все, что ты говоришь. Мышка так мышка, Роберт Кон так Роберт Кон, Бог с тобой. Кто такой Роберт Кон, я, честно говоря, забыл. Но это не важно. Не обо мне ведь речь. О ней. Ну да ладно. Спать так спать.

И опять был хаос в моей голове. Искренне не понимал я, что происходит. Почему Антон так зол? Ведь он прямо-таки кипел ненавистью – и ко мне, и к Лоре. За что? Ну, не согласился я на Гаити, ну, не поддержал его, ну, она мне понравилась, несмотря ни на что. Что ж тут такого ужасного? Да Бог с ним, в конце-то концов.

Лора, Лора, милая, хорошая, думал я, засыпая. И ответной злости на Антона у меня почему-то не было.

А на другой день наступило, наконец, воскресенье.

Антон с утра поехал домой – завтра ему на работу не надо.

Я всячески отгонял от себя мысли о Лоре – боялся как-нибудь сглазить. Делал гимнастику, потом позавтракал, посидел над учебником, правда совсем без пользы – в голову ничего не шло. Позвонила одна из знакомых девушек, Регина, очень хотела встретиться, я сказал, что никак не могу сейчас – курсовая...

Долго размышлял, покупать ли цветы. Наконец, решил, что лучше не покупать: это все же слишком на первый раз. Рано еще, будет видно, как дальше. А то посчитает меня слишком сентиментальным...

«Идя к женщине, не забудь захватить с собой плетку,» – вспомнились вдруг почему-то слова Ницше, которого я как раз недавно читал. Что-то в этом наверняка есть, подумал я, вспомнив вчерашние слова Антона, но сейчас мне стало смешно.

Без нескольких минут семь был там, где договорились. У

станции метро «Дзержинская», снаружи, у выхода к магазину «Детский мир». Волнение неожиданно улеглось, в душе возник штиль и покой. Я сделал все, что мог, теперь от меня уже ничего не зависит. Придет? Не придет? Видно будет.

Спокойно смотрел на прощальные желтоватые лучи солнца на стенах домов, на лицах прохожих, на сверкающих плоскостях автомобилей. Ослепительно сияли окна дома напротив – это КГБ, Лубянка... Что только ни творится там... А окна сверкают, как ни в чем не бывало!

В пятнадцать минут восьмого я подумал, что, может быть, неправильно понял место, где ждать – может быть, как раз другой выход?! Ведь их два здесь, может, она не так поняла? Быстро зашагал к другому выходу. Там ее тоже нет. Поспешно вернулся. Женщины всегда опаздывают, ничего страшного...

В половине восьмого подумал: вдруг что-то случилось, и она сейчас звонит мне домой? Мало ли что! Да-да, она ведь знает мой телефон – вернее, якобы, наш с Антоном, – он при мне записывал телефон в ее книжку... И теперь она, наверное, нервничает, звонит без конца, а я тут прохлаждаюсь. Мало ли что! Домой, скорее домой...

Добрался чуть ни бегом... Метался по комнате из угла в угол или неподвижно сидел, уставившись в никуда, мучительно вспоминая телефонный разговор в четверг. Может быть, я что-то не так понял? Да нет, вроде все так...

Телефон в коридоре молчал. А ее домашнего телефона у

меня нет, да у нее, кажется, дома нет телефона, она говорила, кажется. Что же делать? Не может быть, ну не может же быть, чтобы...

«Роберт Кон» – тут-то и вспомнились слова Антона. Кто же он такой, Роберт Кон? «Наивняк неотесанный»? Забыл... «Мышка»? Почему? Может быть, я и действительно... Не пришла и не позвонила даже. Почему? Что-то случилось?

Звонка так и не было. Наступила ночь.

А утром нужно было ехать в детский сад. Теперь чтобы фотографировать. Что ж, это хорошо даже. Медленно я собирался. На улице – ни намек на вчерашнее солнце: нахмурилось, сеется мелкий снег. И в комнате, и за окном все как будто поблекло, утеряло цвета. Мысль позвонить ей на работу утром почему-то даже в голову не пришла. Все ясно, чего там. Мышка. Роберт Кон. С кем-то встречалась наверняка. А я-то... Свято место пусто не бывает. А я... Не по Сеньке шапка? Но она ведь... А, ладно, мало ли что... Все равно Антон странный. Мало ли что...

Дети встретили меня ласково, весело – я всегда находил с ними общий язык. Начал фотографировать «режимные моменты» – умывание, обливание, завтрак, – потом игры с кубиками, куклами, рисование. Здесь был маленький, замкнутый, игрушечный мир, отгороженный каменными стенами дома, и я погрузился в этот мир. И почти успокоился – только сердце временами побаливало. Ко всему прочему, я тогда ведь так и не избавился от страха перед каким-нибудь фин-

инспектором ОБХСС или переодетым оперативником (я же не официальный фотограф, не представитель организации!), и теперь этот страх и воспоминание о вчерашнем слились. «Частнопредпринимательская деятельность» у меня, что ни говорите.

Дети, как всегда, помогли. Вот я сажаю или ставлю малыша перед фикусом или около аквариума, на фоне стены, около детского телефона. Говорю что-нибудь веселое или спрашиваю о чем-то хорошем. И мальчик или девочка улыбается...

С волнением наблюдаю за непрерывными изменениями детских лиц, и в подходящий момент нажимаю на спуск затвора. Детские лица в сущности все красивы, хотя, конечно, по-разному, и, фотографируя, я, как всегда, думаю: красота ребенка, женщины, какого-нибудь растения, животного, бабочки или цветка имеет таинственно близкие, общие корни...

Время съемки кончалось – они сейчас будут обедать и спать, а мне пора возвращаться домой. Успел отснять ровно половину, две группы из четырех. Столько же осталось на завтра. И тут сердце заболело опять...

– А почему будут фотокарточки? – с вежливой настороженностью спросила воспитательница.

– Я вам потом скажу, надо же показать. Недорого, в общем. По сорок копеек.

«Сорок копеек» выговорилось с трудом. Я всегда чувство-

вал неловкость, когда речь заходила о деньгах. Хотя никуда ведь не денешься все равно.

Вышел, погода все та же. На остановке автобуса стоял милиционер.

У метро я внезапно для самого себя, как-то машинально подошел к телефонному автомату. Опустил монету, набрал номер. Услышал сразу голос ее. Как ни в чем не бывало – спокойный голос, даже веселый! Радость вспыхнула на миг... но тут же пронзила боль. Она же узнала меня сразу. Но – ни в одном глазу!

– Почему ты не пришла, Лора? – хрипло выговорил я, с трудом.

– Не могла, Олег, понимаешь. Бывает... Я же говорила тебе... Точно не обещала.

Голос ее стал тихим, она оправдывалась.

Сердце сорвалось с привязи, я задыхался. Как?! Так просто... Ничего страшного, оказывается, не произошло? И даже не позвонила! А я-то... Ведь у нее есть мой телефон, а я весь вечер был дома! И теперь так спокойно... И сегодня не звонила, а то бы сказала ведь...

– Да, конечно, бывает, – проговорил я чужим, неестественным голосом. – А ведь я тебя ждал. Полчаса ждал, где договорились. Ну, что ж, не могла, значит, не могла. До свиданья. Как-нибудь позвоню.

И повесил трубку.

Вышел из будки. Зашагал автоматически, как в трансе.

Спустился в метро.

И только в переполненном вагоне, в давке, начал приходить в себя. Что я наделал?! Зачем так грубо?

Началась обратная реакция... Я ненавижу себя, проклинал. Что я наделал! Мало ли что у нее могло быть... Что я наделал! Не спросил ведь даже!

Подъезжая к своей станции, уже не чаял, как выбраться на поверхность. Бежал вверх по эскалатору. Рванул к телефонной будке, которая – единственная! – свободна. Не работает! Ждать когда освободится другая? Но у меня же одна только «двушка»! Вдруг не сработает? Нет, домой!

Чуть ли не бежал по улице до своего дома. Взлетел вверх по лестнице.

Телефон в коридоре свободен!

Набрал номер – она подошла!

– Послушай, это я. А что, если сегодня? Давай? Ты как, можешь?

Как ни странно, она согласилась. Договорились у «Справочного бюро» на площади Ногина, недалеко от Академии, места ее работы. В половине пятого, когда она закончит...

3

Да, вот так все и началось. Но не только Лора.

Кое-что – тоже важное! – началось чуть-чуть раньше. И – все оказалось связанным... Мог ли я тогда это предполагать?

Приблизительно за неделю до знакомства с Лорой, был очередной «творческий семинар» в Литинституте, когда в перерыве я позвонил Алексееву, заведующему отделом очерка и публицистики в молодежном журнале. Дело в том, что у Алексеева уже лежал мой этакий «рассказ-очерк», который Алексееву нравился и который он хотел напечатать в журнале. Однако возникли какие-то сложности – вот я и звонил.

– Олежек, ты? – Алексейев сразу узнал мой голос. – Насчет твоего рассказика пока ничего определенного сказать не могу, но у меня к тебе предложение. Слушай внимательно: нужно написать очерк о «маленьких преступниках». О несовершеннолетних. Очерк большой, проблемный, главным образом моральная тема, даже можно сказать – половая. Думаю, это тема как раз для тебя. По телефону ничего объяснять не буду, ты приходи в редакцию сегодня же или завтра, все расскажу. Согласен?

– Да-да, конечно, – забормотал я растерянно, расстроенный тем, что с рассказом не получается. – Сегодня не успею, наверное, у меня семинар, а завтра можно?

– Можно. Вот и хорошо. Жду. В два часа дня, идет? Я знал, что ты согласишься.

Вернулся я в аудиторию не только расстроенным, но уже отчасти заряженным, и чем больше думал о предложении Алексеева, тем больше оно волновало. «Большой проблемный очерк...» – он ведь так и сказал. «О преступности несо-

вершеннолетних»... Да еще и тема «половая»... Интересно, почему он хочет предложить это мне? Ведь в моих рассказах, которые он читал, ничего такого и в помине нет. В других есть, но в тех, что дал ему, нет.

На следующий день побывал у Алексеева, получил солидную «ксиву» от журнала, тогда же Алексеев звонил в Горком комсомола с рекомендацией.

...И вот я уже в Горкоме в ожидании некоего Амелина, заведующего Сектором охраны общественного порядка. Происходит непонятное: я пришел точно в срок, Амелина нет. Я жду уже целый час, а Амелина все нет и нет. Что делать? Проходит еще час... Уйти? Но ведь это – начало. От него зависит дальнейшее... Вот от чего неуверенность, наивность, вот от чего! Ведь сколько раз... Любит начальство нас помариновать!

Наконец, Амелин пришел – высокий, молодой (наверное, мне ровесник), чуть сутуловатый, в папахе.

– Вы меня ждете? – Как ни в чем ни бывало!

Сначала разговор не вяжется: я никак не могу стряхнуть раздражение и скованность от долгого ожидания, Амелину, как видно, все же неловко. И оба мы зачем-то делаем вид: я – официальный, такой, какой, по моему мнению, должен быть у знающего себе цену корреспондента, которого так бессовестно заставили долго ждать, Амелин – тоже официальный (все-таки начальство!) и почему-то обиженный.

Однако натянутость постепенно рассеивается, и вот мы

уже – два человека в маленькой комнате при электрическом свете, а за окнами – темно. Там – захватывающая, непостижимая жизнь, там люди со своими заботами, проблемами, страстями, там молодые ребята и девушки, представители разных миров, которые с такими мучениями пытаются понять друг друга...

Амелин щедро достает из стола кипы документов: отчеты, сводки, доклады, стенограммы собраний, списки изъятых предметов при обыске, акты, расписки... И я погружаюсь в это море, сухое, бумажное, шелестящее – отзвуки жизни, которая там, за окнами, вершится и сейчас, вот сию минуту. В воображении мелькают вокзалы, полутемные улицы и переулки, бараки, железнодорожные пути и платформы в свете тусклых фонарей, группы подростков, неряшливо одетых, с серыми лицами, отвязных, испуганные девушки, заборы и подворотни, около которых разыгрываются дикие драмы. Сверкающие ножи, кастеты, велосипедные цепи... И что-то противоестественное, жуткое, что подразумевается под словами: изнасилование, убийство...

Амелин увлекся. В его рассказе нет никакого плана: он достает и показывает документы в беспорядке, как попало – чувствуется, что его тоже все это волнует на самом деле, – он говорит, не переставая, наваливая на меня информацию, чтобы «обрисовать ситуацию», как он объясняет... Я поражен: этот молодой и, похоже, застенчивый – краснеющий... – человек знает столько, оказывается, он сам не раз участво-

вал в «операциях», облавах...

Документов уже целая кипа – я, конечно же, не успею сегодня просмотреть и малую часть, – к тому же ведь приходится внимательно слушать Амелина и записывать хоть что-то в тетрадь. Вот из ящика стола он достает и с грохотом выкладывает металлические предметы: пара самодельных, грубо выточенных ножей, три изящные финки, велосипедная цепь, свинчатки разной формы, солидный, с металлическими шипами кастет. Ничего себе...

– Это в ремесленном училище операцию проводили, – с оттенком гордости говорит Амелин. – У нас кое-какие сведения были. Пришли, я так и сказал: ну, выкладывайте сами. Пока по-доброму. У кого что есть кладите на стол, живо!

– Так сами и выложили? – искренне удивляюсь я.

– Помялись для начала, потом один подходит, кладет. Другой... Так все и выложили! С ними так и нужно – честно, без сантиментов. Тогда они понимают. Хуже нет, если сам мнешься... А вот и еще, посмотри-ка...

В его руках стопка небольших фотографий. Девушки. Обнаженные – так и сверкнули. У меня тотчас же слегка перехватывает дыхание. Я беру их как бы небрежно, стараясь не показать волнения, проглядываю неестественно быстро и зачем-то делаю равнодушное, чуть ли не скучающее лицо. Даже головой слегка покачиваю, кретин, якобы сокрушенно. А пальцы мои дрожат... Я ведь и сам так фотографировал, но пока мало, мало, а вообще-то всегда мечтал. Это же самое

красивое, что есть на свете, если, конечно, снято хорошо – женщина, девушка, ее лицо, тело... Тут – плоховато снято все же, но не сказать, чтобы совсем плохо, и, как ни странно, вовсе не всегда пошло, хотя порой девчонка дурачится...

Амелин не смотрит на меня – он наклонился и роется еще в одном ящике, что-то хочет еще показать.

А я взволнован. Есть получше фотографии, есть похуже, но все пробиты ромбиками – так гасятся выигравшие и оплаченные лотерейные билеты и облигации.

Амелин продолжает искать что-то, и я проглядываю фотографии еще раз. Одна останавливает мое внимание особенно – девчонка лет восемнадцати, во весь рост, в раскованной и довольно-таки грациозной позе, веселая, очень милая. Тело светится, как мраморная скульптура, оно прекрасно. Сердце мое сжимается... И эта девушка тоже «погашена» ромбиком... А вот еще одна, уж совсем любопытная: снимок снизу, крупным планом – поначалу я даже толком не понял, что именно изображено, а когда понял, кровь бросилась в лицо, я почувствовал, что неудержимо, стыдно краснею. Перевернул – на обороте текст: «Пасылаю тебе фотку моей новой девушки, ее зовут Таня, ей шеснацать лет», именно так, с ошибками. Лица Тани вообще не видно, но зато очень хорошо видно другое...

Пришел домой поздно, чувствуя себя переполненным, ошеломленным, отчасти подавленным информацией. Большую пачку документов дал мне с собой Амелин.

Началось... Что-то будет дальше? Спал беспокойно. И в хаосе сновидений «фотка Тани» оживала чаще других...

На следующий день снова ездил к Амелину. Наметили приблизительный план действий.

Но тут наступила среда. 27-е марта. И – Лора.

4

...Когда выскочил из метро, прибежал домой, позвонил, и она неожиданно легко согласилась на встречу, тотчас почувствовал облегчение. Оставалось совсем немного времени до выхода. И это хорошо...

Я не рассчитал, приехал раньше. Было холодно, промозглый влажный ветер. В ожидании ходил неприкаянный, зашел погреться в соседний магазин, потом в телефонную будку. Зачем-то даже машинально снял трубку, сделав вид, что кому-то звоню... И тут же сквозь стеклянную дверь будки увидел ее.

Она тоже увидела меня – сквозь стекло будки – и подошла. Меня поразило выражение ее лица. Оно было безрадостным, равнодушным! В чем дело? Может быть, ей не понравилось, что в ожидании я кому-то звоню? Не такой ожидал я увидеть ее...

Поздоровалась она как-то небрежно, и как-то машинально мы прошли несколько шагов.

– Куда ты так решительно направилась? – спросил я, не

скрывая досады.

Дул неприятный холодный ветер, лежал мокрый снег, было уныло и серо вокруг.

– Так это ты меня ведешь, – тоже с досадой ответила она и спросила невесело:

– Что будем делать?

Я растерялся, промямлил что-то нечленораздельное, потом сказал:

– Может быть, пойдем ко мне, то есть к нам? Антона нет...

– Что мы будем делать? – настойчиво спросила она, теперь с каким-то вызовом даже.

Я совсем растерялся.

– Не знаю, – ответил уж совсем по-дурацки и, спохватившись, добавил еще глупее и тоже с вызовом: – Может, в кино пойдем?

О, Господи, причем тут кино! И возникло вдруг совершенно нелепое, дикое желание как-то оскорбить, может быть, даже унижить ее. Почему она так равнодушна? Зла даже! Какого черта! За что?

Она никак не среагировала на «кино» – поняла, может быть? – и я поспешно добавил:

– Хочешь, в кафе пойдем?

Рестораны, кафе я не любил в принципе. Дорого, выпендрож, тем более, что всегда лучше прийти ко мне... Сам не знаю, почему сказал тогда про кафе, но даже буква «ф» выговорилась шепеляво – от ненависти...

А она, против моего ожидания, оживилась вдруг:

– А не рано в кафе? – спросила по-доброму.

– Рано, – поспешно согласился я, ощутив внезапно дикую, смертельную грусть.

– Ну тогда пойдем пока к вам, а потом куда-нибудь двинем, – сказала она как бы даже и деловито.

А у меня чуть слезы не выступили. Все, все мне не нравилось просто категорически. Что происходит, господи...

И мы пошли «к нам». Утомительно садились в автобус... У меня возникло стойкое чувство, что ей непривычно ездить в автобусе, хотя как же иначе она ездит на работу и с работы домой? Не только же на такси – денег не напасешься...

Все-таки попытался взять такси сначала, но не подвернулось, и она сказала «не надо». Тогда и сели в автобус.

Было много народу, давка – конец рабочего дня, – проехали только две остановки вместо трех, вышли, пошли пешком. В автобусе на нее смотрели, слишком уж она выделялась – красивая, яркая, – ей было неприятно, и она еле сдерживалась. У нее дорогая, модная шубка с капюшоном, и вообще она очень эффектна. Неестественно выглядела среди толпы. Неуместно, пожалуй, выглядел и я рядом с ней – в заштопанном дешевом плаще. Не знал просто, куда деваться...

Ветер дул нам в лица, когда шли, было совсем пасмурно, нависли низкие тучи, вот-вот пойдет дождь. Замерзли оба, но она сказала, что редко бывает на улице, и прогуляться ей полезно. Говорили мало, но я и не чувствовал необходимо-

сти говорить. Все рушилось непоправимо, уже разрушилось, казалось мне. Я прямо-таки коченел в горечи.

Вошли во двор, она, оживившись вдруг, начала рассказывать, как в среду, когда все пятеро ехали сюда, взяли такси, две машины, и на второй машине, куда они сели вдвоем с Костей, не знали, куда ехать, потому что первая скрылась. Но Лора почувствовала и угадала, и они приехали куда нужно.

«Почувствовала и угадала» – так и сказала теперь.

Поднялись по лестнице, вошли в квартиру, она поздоровалась с одной соседкой в передней у раковины и с другой в коридоре... Вошли в комнату, я тотчас запер дверь. Сняли пальто. Она была в той же красной шерстяной кофте и темной тесной юбке. Как тогда. Только сережки – я заметил – другие: длинные, прозрачные стеклянные капли. Как большие застывшие слезы, подумал почему-то.

Что делать? Мучительно я соображал. Не знал, как быть, что правильно! Со мной творилось непонятное что-то... Почему – не понимал.

Включили радиолу, поставили музыку. Она закурила – «сегодня на работе день был такой, что не успела и покурить...» Смотрели журнал, польский «Фильм», раз десять подряд перелистывали, дурачась, пытались разобрать, что там по-польски написано. Потом строили пирамидки из спичек... Дурдом.

Я все еще был в транс, но и она, как ни странно, была взволнована.

– Ну, куда пойдём? – спросил я зачем-то.

– Никуда не хочется, – сказала она. – Давай отдыхать.

– Зря не зашли в магазин по дороге, – спохватился я. – У меня дома ничего нет...

Ведь и действительно вина нет, а девушку, вот, привел. Совсем с ума сошел.

– Может быть, сейчас в магазин ходим? – добавил совсем уж по-идиотски.

– Нет, не надо. – Она улыбнулась. – Зачем?

Зазвонил телефон в коридоре, и в дверь постучали. Я зачем-то пошел... Звонила опять Регина, пыталась по телефону читать свои последние стихи, я едва не взорвался, грубо сказал, что занят, она обиделась. Ее голос был словно из другого мира. Голова моя кружилась...

Когда вошел в комнату, увидел, что Лора лежит на тахте и курит. Я сел рядом. Потом прилег. Положил руку на ее плечо, не зная, что делать дальше. Сердце трепыхалось отчаянно.

– Я сама этого хочу, – сказала она вдруг, но как-то невнятно.

Я не понял, переспросил.

Она кокетливо, с улыбкой повторила и покраснела тотчас. Я лежал, не шевелясь, осмысливая, приходя в себя...

– Ты знаешь, я чего-то боюсь, – сказала она еще, серьезно.

– Чего? – тупо переспросил я.

– Не знаю. Не хочется нарушать, понимаешь...

Она внимательно посмотрела на меня.

– Мужчины меняются после этого, – добавила с грустью.

Я вдруг по-детски стал уверять, что не изменюсь, зря ты так думаешь, скорее наоборот, если что и изменится, то в лучшую сторону – ведь это естественно для нас теперь, правда же.

Но мне самому вдруг стало страшно.

Она хотела задать какой-то вопрос, не решалась.

– Ты что-то хочешь спросить? – догадался я.

– Да... А ты... У тебя... У тебя с кем-нибудь было? – спросила и покраснела опять.

О, Господи. Она решила, что я совсем мальчик. В двадцать пять лет... Боже, боже... Но ведь я и правда вел себя так, что...

– Ты, что, боишься меня испортить? – спросил глупо.

– Дурачок, – сказала она тихо.

И добавила:

– Выйди на несколько минут, хорошо?

Я вышел послушно, постоял в прихожей у раковины, перекинулся чем-то незначающим с соседкой. В голове пустота, сердце колотилось отчаянно.

Вернулся в комнату. Увидел, что Лора уже в постели, что-то делает, наклонившись. Понял, что пришел рано.

– Я погашу свет и не буду смотреть, хорошо?

Погасил, подошел к окну. Голова кружилась, глухо стучало сердце. Я смотрел в окно и не ощущал Лору в комнате

за спиной. Уже совсем стемнело, горели на улице фонари, лежал мокрый снег...

– А сердце бьется, – сказал вслух зачем-то.

– Что ты сказал? – деловито переспросила она за спиной.

Повторил. Громче.

– Можешь идти, – позвала она.

Я повернулся, пошел.

Она лежала под одеялом. И смотрела на меня, ожидая – я видел это в свете уличных фонарей из окна. Начал раздеваться автоматически. Руки не слушались.

– Мне куда, на старое место? – идиотски пошутил я.

И – шагнул к стенке, неуклюже перешагнув через Лору. И влез под одеяло, путаясь. Теплая, она повернулась ко мне...

«Только не волноваться, только не волноваться» – застучало молоточком, а голова работала четко и ясно, и промелькнуло в сознании что-то очень важное, нужное, чего я никак не мог сообразить раньше – какой-то сюжетный поворот в моей новой повести, – а тело словно провалилось в пустоту. словно все прошлое, болезненное мое, убогое прошлое, хранившееся где-то во мраке нижнего, скрытого отдела сознания, словно оно вдруг надвинулось – властно, требовательно, напомнило о себе, сковало... Стало жутко, я лишь головой, лишь рассудком ощущал рядом, совсем рядом горячее, нежное тело Лоры... Но чувствовал себя на вышке, с которой надо прыгнуть, обязательно прыгнуть, и захватило дух, а сердце готово было остановиться, и я был где-то дале-

ко сейчас, но не здесь, не с ней...

А потом пришел стыд.

– Глупышка ты мой, – ласково сказала она, тихонько поглаживая мое плечо.

До меня не сразу дошло то, что она сказала, только интонация, но я ощутил, что меня, словно на канатах, спустили вниз.

– Глупышка ты мой, – повторила она так ласково, так по-матерински спокойно.

Тут уж я чуть не заплакал. Лицо ее светилось нежностью. Я не увидел в нем ни разочарования, ни насмешки – ничего, что могло бы меня обидеть.

Да, это опять была она, та самая Лора, которую я видел в четверг ночью, а потом и утром. Это о ней я думал все четыре долгих дня и перед встречей сегодня. «Глупышка ты мой...» Господи, господи...

Я лежал безвольный, слабый, тело казалось чужим.

– Было у тебя еще с кем-нибудь так? – спросил я тихо.

– А у меня почти со всеми так, – неожиданно сказала она. – Несчастный человек, понимаешь. Что-то во мне есть, что отталкивает.

– Отталкивает?!

Слезы у меня все же выступили.

– Да что ты, Лора! – начал я ее утешать. – Ну что ты. Не может такого быть. Отталкивает! Наоборот... Когда очень хочется чего-то, то ведь это как раз и трудно сделать. Разве

ты не знаешь? Отталкивает! Ты просто красивая очень, яркая, вот и... Поэтому и...

Я рад был, что она так сказала. «Отталкивает»! Ничего себе...

Наверное, потому, что не ел ничего, подумал вдруг. Да и выпить бы не мешало. Какой же я дурак, что...

– Ты не возражаешь, если я все-таки в магазин схожу? – сказал я. – Тут близко... Я просто дурак, что раньше ничего не купил, упустил как-то. Ты уж извини ради Бога... Не возражаешь?

– Нет. Только недолго, хорошо?

– Конечно. Я мигом.

Оделся молниеносно, пошел. Словно в каком-то тумане покупал сухое вино, еще что-то, разливал с пьяным мужиком бутылку «Дубняка» на двоих – на полную не хватило денег...

Когда вернулся, Лора спала, но проснулась тотчас. Я придвинул стол к тахте, поставил на него все, мы «пировали».

– Ну, чего ты еще хочешь? – спрашивал я, взяв ее тарелку.

– Хочу тебя, – отвечала Лора.

Я пил «Дубняк» и старался есть побольше...

Вспомнил вдруг, что сегодня 1-е число. Первое апреля!

– Давай выпьем за апрель? – предложил.

– Только за апрель? – спросила она с неожиданной грустью.

И я вдруг страшно обрадовался.

– Нет, нет, конечно же, не только, что ты. Потом выпьем

и за май. И за июнь, за июль...

Возникло ощущение искренности ее, нежности, естественности. Я не ошибся в ней! Она серьезно сказала, что не любила еще ни разу, и ее не любили по-настоящему. Только, может быть, один парень, но он утонул. Странно, однако она назвала студента физкультурного института, историю о котором я слышал от приятеля Сашки. Чудак на спор хотел перенырнуть пятидесятиметровый бассейн и умер от разрыва сердца под водой. Совпадение?

– Я так плакала в воскресенье, – сказала она вдруг.

Плакала? В воскресенье?

У меня аж сердце замерло от радости – ведь это было вчера, когда она не пришла! Не потому ли плакала, что...

Но я не спросил почему-то. Молча взял бутылку и налил еще вина.

Ловили музыку по приемнику, спали. Что-то у нас все-таки состоялось. Не очень-то выразительно, но состоялось... Формально, можно сказать. По-настоящему я не сумел показать себя мужчиной, увы. Хотя бы таким, каким бывал иногда все же с другими. Я-то думал, что так, как с той, первой, уже никогда не повторится. Но вот повторилось.

5

...Поднялись рано – было серо за окнами, пасмурно. Она почему-то заторопилась не на работу, домой. Сказала, что

перед работой ей обязательно нужно домой. Зачем? Я не понял тогда... Была раздражена чем-то...

Вышли вместе на улицу, посадил ее на такси. Вернулся.

К 10-ти нужно было ехать в детский сад, фотографировать оставшиеся группы. Я плавал в невыразимой печали. Ну, ясно же, я был плох с ней, поэтому она и была раздражена утром. Женщины не прощают слабости – хватало опыта, чтобы это понять. Как же ей объяснить, мучительно думал я. Ведь первый раз вообще не считается! Ведь вот со второй у меня сначала тоже было кое-как и невнятно, зато потом...

От станции метро ехал в полупустом автобусе. На улицах таял недавно выпавший снег. Не было радости во мне, вот какое дело! И все как-то чудовищно перемешалось. Странно, казалось бы, связывать все, но связь была. Но я не знал, что к чему.

Дети на этот раз встретили меня как-то особенно хорошо. И воспитательницы почему-то ободряюще улыбались. Может быть, мне это казалось? Иногда я даже забывал о Лоре. Хотя сердце ныло, не переставая.

После съемки из автомата позвонил в Горком, Амелину. Он был на месте и пригласил приехать в четыре.

Встретил как старого знакомого.

– Здорово, здорово, Олег! Тебе что сегодня показать? Ты «Суд над равнодушием» хотел посмотреть? Пожалуйста, сейчас достану... Да, кстати. Знаешь, тут в одной школе ребята пишут записку девочкам: «Приходите после уроков на

сквер, будем целоваться». Девятый класс. А девчонки им отвечают: «Если хотите только целоваться, посылайте свое приглашение четвероклассницам». Ничего, да? Ты мой отчетный доклад на Конференции смотрел? Не очень гладко составлен, можно было лучше, но ты все же глянь, тебе интересно будет.

Он говорил увлеченно, не замечая моего состояния или тактично делая вид, что не замечает, и я тоже делал вид, поддерживая игру, а когда Амелин сказал про ответ девятиклассниц, я машинально улыбнулся и даже головой покачал в шутливом благопристойном негодовании – как с фотографиями в прошлый раз, – хотя во мне немедленно что-то откликнулось – горячий, будоражащий отклик. И с новой силой вспыхнула боль. В груди словно открылась бездонная рана, а губы сводила судорога.

Я-то в девятом классе ни разу еще даже не целовался, первая женщина была у меня в 23 года, а теперь с Лорой получился такой вот конфуз. Правы девятиклассницы, пусть и звучит это не очень-то благопристойно.

Я смотрел на Амелина, видел легко краснеющее лицо своего сверстника и думал: а как у тебя с ЭТИМ, Алик? То, чем ты занимаешься – чужое все-таки, а вот у тебя самого как? Ты ведь тоже моего поколения, тоже, небось, детство голодное и постоянная ложь и дурь... Сумел ли ты преодолеть? Борец с безнравственностью, честный парень, сам-то ты как? – Грязная работа, знаешь, – продолжал между тем Аме-

лин, не замечая моего состояния (или делая вид?). – Давно бы бросил, да ребят жалко. Несмышлениши еще, попадут под влияние или в голову глупость взбредет по пьянке, а потом колония. Или, как они сами говорят, «спецшкола». Три года сроку – «трехлетка», семь – «семилетка». Там ведь большие специалисты есть среди уголовников. А возвращаются ребятишки – их, к тому же, и на работу не берут, потому что вроде как с клеймом. По закону-то обязаны брать, но ведь кадровиков насильно не заставишь. Оно и понятно: кому охота связываться, жизнь себе осложнять? Вот и получается: сорвался парнишка случайно, получил срок первый и – пропал. Какое там исправление! Он, наоборот, «квалификацию» получает! И общество наше его от себя навсегда отторгает. Какой же во всем этом смысл? Получается, что мы не исправляем преступников, а – плодим. Или вот еще: с военкоматом воюем... В армию с судимостью не берут, а в армию-то им как раз и надо бы – там дисциплина! И, опять же, здоровая среда. Бывает, мы даже с милицией спорим: не хотят с вернувшимися из колонии по-человечески обращаться, недоверие, подозрение на каждом шагу. Вот и бьемся о стенку, а толку нет.

Верно, верно говорил Алик, я согласен, конечно. Но другая проблема жгла меня неотступно, и, кивая в ответ на его слова, я спросил вдруг:

– Алик, а ты женат?

– Был женат, – сказал Алик, осекся и покраснел поче-

му-то.

Почему он покраснел, вот интересно? – подумал я с какой-то даже язвительностью.

– Ну, ладно, – помолчав продолжал он. – Вот тебе папка. «Суд над равнодушием». Читай. И мой доклад посмотри.

Я взял и то, и другое. «Сожительство несовершеннолетних девочек со взрослыми мужчинами», – бросилась в глаза строчка из доклада – графа, в которой были цифры. Цифры внушительные... «Суд над равнодушием» – папка так и называлась. Алик ею гордился, говорил о ней еще в прошлый раз.

Начал читать. Сначала трудно было сосредоточиться, войти в текст. Но вскоре я понял: «Суд над равнодушием» – это суд не над самими преступниками, то есть не над теми, кто формально совершал преступления (ребята шестнадцати-семнадцати лет грабили женщин на улицах), а над свидетелями. То есть, по мысли судей, над соучастниками, а может быть даже еще большими виновниками ребячьих преступлений, чем сами ребята. Ибо они, взрослые и опытные, не только не сделали ничего, чтобы предотвратить, а, наоборот, подталкивали ребят, провоцировали. На символической скамье подсудимых сидели отцы и матери осужденных, начальник ЖЭКа, начальник автомастерской, милиционер, дворник... Четверо ребят, остриженных наголо и уже приговоренных к разным срокам лишения свободы в колонии, расположились под охраной конвоя на местах для свидетелей – это было за-

печатлено на фотографиях, которые в папке.

То есть суд после суда. Суд над теми, кто довел ребят до суда.

Я читал стенограмму с растущим волнением. Моя собственная боль как будто утихла – то, о чем я читал, было новой неожиданностью. Идя в Горком, я не ожидал увидеть что-то подобное. Приказы, наказания, проработки, накачки со стороны «партии» и «комсомола» – вот к чему давно привыкли. Идея же вот такого «суда над равнодушным» была давняя и моя идея – я ведь тоже считал, что на всё есть свои причины, преступники рождаются не на пустом месте, и в бедах детей виноваты прежде всего именно взрослые.

Общественный обвинитель на суде говорил как будто моими словами: предательство, настоящее предательство взрослых – вот одна из главных причин детской преступности! Равнодушие, трусливая ложь и лень – лень работать над собой, думать, помогать другим... Взрослые считают себя совершенными, хорошими, умными только потому, что они – «взрослые»...

Один из парней на суде говорил так:

– Скучища зеленая. Дома – телевизор, больше ничего. Ни отец, ни мать никогда ни о чем не разговаривают между собой, кроме как о жратве, о деньгах, о вещах. В школе тоже скука, никому до тебя дела нет, преподаватели ничего толком не объясняют – учи, и все тут. Врут на каждом шагу. Вечером пойти некуда, во всех кинотеатрах одно и то же.

Посмотришь новый фильм и всю неделю в кино не ходи – смотреть нечего. Клубов нормальных нет, а в тех, что есть, – то же кино, ну, может быть, еще танцы под радиолу, больше ничего. Так пить и начали. Выпьешь, вроде как и веселее, ни о чем не думаешь. Ну, а если уж не считаешь, переберешь, то и вовсе не помнишь, что делаешь...

Дочитывая стенограмму, я прямо-таки не мог усидеть спокойно. Вот уж не ожидал увидеть здесь, в Горкоме, такое...

– Алик, а ты сам был на этом суде? – спросил, волнуясь.

– Был, конечно. Что ты! Такая обстановка в зале была! Эти подсудимые – взрослые – красные от стыда сидели, глаза боялись поднять. Люди в зале сначала как-то раскачивались, а потом такое началось! Друг друга обвинять начали, расшумелись. Но и задумались – это главное, понимаешь. Задумались! На милиционера с обвинениями напали, а он слова не мог сказать в свою защиту, чего ж тут скажешь! Начальник автомастерской, здоровый такой детина, его спрашивают: вы что же, ребят испугались, деньги им поскорее совать начали? А он: да ведь их четверо, вон лбы какие... И мнется стоит. Его на смех подняли, хотя ребята, если честно, и правда лбы...

– А отцы-матери?

– Ну, эти вообще. Один – преподаватель в институте, ему говорят: чему же вы студентов учите? А он: я сопромат преподаю. В зале хохот – он студентам сопромат преподает, а его

родной сын тем временем женщин на улице грабит... Ему: зачем вы деньги сыну давали, вы, что, не знали разве, что он на ваши деньги пьет с ребятами? А он: я поздно домой прихожу, у меня дополнительные занятия. Представляешь, у него с другими дополнительные занятия, а его сын в то же самое время с ножом к девчонкам идет... И хоть бы когда с сыном по душам поговорил! Ведь знал же, что сын выпивает, видел его пьяным, сам признался! А один папаша забыл, когда у сына его день рождения – несколько минут вспоминал, мялся, так и не вспомнил! В зале его освистали. Женщина одна, учительница, выступала: вас, родителей, говорит, вместо ребят посадить надо...

– Алик, а что если мне об этом Суде написать? – спросил я, ощущая, что меня прямо-таки колотит от волнения.

– Давай, конечно! Правда, о нем уже писали, кажется. Или пишут. Кто-то из журналистов у меня эту папку брал. Но ты все равно пиши. Но ведь и других тем полно! Положительных примеров у нас навалом! Шефы-комсомольцы, например. «Макаренковские» отряды на предприятиях... У нас много героев есть. Вот, к примеру, Гурьев, милиционер, очень одной девушке помог, которая из колонии вернулась. Или вот Лида Грушина, комсомольский шеф – парня воспитала, который в тюрьме родился... Штейнберг Аркадий, завклубом. Лианозова, инспектор детской комнаты милиции. Всех и не перечислишь. Только пиши...

Выходил я от Амелина переполненный, заряженный, во-

одушевленный. Не ожидал! А я-то думал... Комсомол, Партия – сплошные формальности и показуха. А вот ведь, оказывается...

Я горел благородным пылом, готов был немедленно сесть за свой очерк – ну, хоть о «Суде над равнодушием», – вот, прямо сейчас, сегодня, тут же! И написать все, что думаю вообще по этому поводу! Да, равнодушие, да, всем наплевать друг на друга, да, каждый думает только лишь о себе, а потом удивляется, что жизнь такая вокруг! Ложь ведь кругом, сплошная ложь!

Рассказать, поддержать, развить благородную, такую нужную всем идею! Вот же она, ниточка, за которую потянуть и – начать. Наконец-то начать! Сегодня же...

Однако... Я шел по темной вечерней улице... Кстати, почему так плохо, так мало освещены московские улицы? – в который уж раз думал я. Ведь столица... А в других городах еще хуже. И войны ведь давно не было, время вроде бы мирное. Так почему? И если бы только это... Ложь ведь на каждом шагу. Да, у Амелина мне понравилось, хороший он парень, честный, душой болеет, но... Если начать вспоминать... Многое можно вспомнить!

Да, стоило подумать о нашей жизни вообще, поразмыслить... Глухая, нерассуждающая, привычная тоска навалилась. Ведь нет настоящей жизни у нас, нет! Серое все и задушенное. Такое впечатление, что душат жизнь, ненавидят, все делают, чтобы люди не жили по-человечески! Но – кто?

Сверху – да. А сами? Главное ведь – сами... Свыклись, привыкли! Никакого протеста!

Вошел в убогую свою квартиру – коммуналка на семь семей, одна кухня без окон с семью деревянными столиками, на которых по утрам бегают полчища тараканов. Центральное отопление провели год назад, а то печки топили. И газ провели тоже не так уж давно! И это почти в самом центре столицы... Шестидесятые годы, после войны прошло уже столько... Нет у нас ни душа, ни горячей воды, есть только общая кухня, заржавленная раковина и холодная вода из крана... Девушкам моим даже помыться негде. И туалет засаривается постоянно – трубы старые. Что же удивляться на то, что я вот...

Тут даже вздрогнул, вспомнив, Господи, Лора! Что же удивляться, что...

Отпер дверь своей комнаты, вошел. Скрипучий, выщербленный пол, поотставшие обои, ремонта не было больше десяти лет, мебель вся допотопная, тахта продавленная, доставшаяся по наследству, накидка на тахте рваная. Мне-то что, я привык, но девчонкам... И ей, Лоре...

А ведь я честно работал – то на заводе, потом на стройке, потом с фотографией. Зарплаты такие, что... Мои фотографии, кстати, очень хвалят. И рассказы мои хвалят те, кто разбирается в литературе. Но их не печатают. Мало социальности в них, говорят редакторы. Мало о Партии и комсомоле, мало рабочего энтузиазма, мало оптимистической на-

правленности. Лжи мало! И о природе многовато, о прелести жизни человеческой. Это – не говоря об эротике. Эротика у нас вообще под запретом. Что это такое – эротика? Зачем? Как будто мужчин и женщин у нас нет, а есть рабочие единицы, неважно какого пола.

Зазвонил телефон в коридоре, и я вздрогнул. Быстро вышел, снял трубку. Алик Амелин.

– Олег, слушай внимательно. Ты только ушел, а мне новую информацию дали. Сегодня в клубе «Романтик» – том самом, который Штейнберг организовал, я тебе говорил о нем, помнишь? – так вот там состоится собрание в восемь вечера. Ты успеешь, если поедешь сразу. Встреча комсомольцев строительной организации – СУ-91 – со своим начальством. Там, представляешь, Бригада коммунистического труда – так они себя называли, – а комсомольской работы на сто процентов нет. Хотя практически все комсомольцы! Да ведь ты об этой бригаде, кажется, слышал, когда в прошлый раз у меня был. Комсомольцы письмо прислали к нам, жаловались, помнишь? Так вот мы эту встречу с начальством и организовали. Лицом к лицу, понимаешь. Обязательно сходи, тебе интересно будет. Рубка там должна быть, будь здоров. Наш инструктор проводит, его фамилия Кочин, ты его у меня видел в прошлый раз. Заодно там и со Штейнбергом встретишься, он тоже должен быть. Пойдешь?

– Да, – сказал я. – Обязательно. Еду.

Было без чего-то восемь.

Долго пришлось искать нужный дом – район новой застройки, все одинаковое, никто толком не мог объяснить. Найдя, наконец, клуб «Романтик», я безнадежно опаздывал: было без двадцати девять. Однако войдя, я понял, что собрание началось только что.

В небольшом зале на стульях, составленных рядами, сидело человек тридцать. Почти одни девушки – в спецовках, телогрейках, некоторые с пестрыми платочками на головах. На сцене за столом, покрытом зеленым сукном, расположились четверо мужчин. У небольшой кафедры стоял коренастый инструктор Горкома. Когда я вошел и, стараясь не шуметь, усаживался в последнем ряду, инструктор, по всей видимости, заканчивал вступительное слово.

– Вот мы и решили устроить эту встречу, чтобы вы, комсомольцы, могли высказаться, – сказал он.

– А некомсомольцам можно? – спросил кто-то из девушек.

– Можно и некомсомольцам, – ответил инструктор, а в зале почему-то захихикали. – Но я бы хотел, чтобы в первую очередь высказались комсомольцы. Письмо написано комсомольцами, мы в Горкоме прочитали и решили организовать эту встречу. Вот ваше начальство, – он показал на тех, кто сидел за столом. – Начальник Строительного Управления,

прораб, бухгалтер, комендант общежития. Пожалуйста, скажите обо всех своих проблемах по-деловому. Что вам мешает? Почему никто из вас не учится, почему с дисциплиной плохо? Все, о чем вы написали. Пожалуйста.

Инструктор сел.

Воцарилась тишина.

Я вспомнил, что действительно видел у Амелина этого инструктора. Он тогда рассказывал о письме. И еще возмущался тем, что какую-то женщину уволили, хотя она была в декрете. Этот Кочин меня тогда тоже порадовал – еще один неравнодушный, живой человек в Горкоме...

– Ну, что же вы молчите? Кто хочет выступить первым? – спросил Кочин и встал.

Сидевшие на сцене выглядели так: начальник СУ – большой угрюмый мужчина с тяжелым лицом и насупленным взглядом; прораб – юркий, маленький, лысый; бухгалтер – пожилой, полный, добродушный, в очках. Четвертый же показался мне особенно выразительным – тонкогубый, бритоголовый, с оттопыренными ушами, весь какой-то бесцветный, в гимнастерке. И очень решительный. Очевидно, это комендант общежития...

Начальство – и подчиненные. Подчиненные терпели долго, но вот написали жалобу «наверх». И «верх» прислал своего представителя. Давайте, ребята, вперед! Вас обижали? Что ж, молодцы, решились и жалобу написали. Продолжайте!

Ну ведь здорово же! Это наверняка тоже Алик Амелин.

Я аж вздрагивал от нетерпения. Прецедент! То, о чем я мечтал! Вот и тема для очерка – ПРЕЦЕДЕНТ! Все причины социальных бед – в равнодушии, беспомощности, покорности людей, ясно же! «Бойтесь равнодушных! Именно с их молчаливого согласия вершатся на земле насилия и убийства!» – приблизительно так у Горького. Верно! Ну, так давайте, ребята, вперед!

В зале молчали.

Начальник СУ нетерпеливо постукивал пальцами по столу. Инструктор стоял и ждал ответа из зала. Открылась дверь, и вошли еще несколько человек, среди них – два парня...

– Ну, кто же? – опять спросил инструктор. – Что же вы? Письмо было такое горячее, а теперь что же молчите? Вот, давайте, скажите с глазу на глаз.

– Поактивней, товарищи, поактивней, – негромко сказал бухгалтер.

И вдруг зашумели все.

– Она комсорг, пусть она и говорит!

– Выступи, Валь, выступи!

– Давай, Валь, чего там. Скажи!

На сцену выскочила взволнованная девчонка лет двадцати в зеленой кофточке. Очевидно, комсорг. Сбиваясь, отчаянно краснея, проглатывая слова, она затараторила звонким срывающимся голосом. Трудно было что-то понять, однако

ясно, что она жаловалась...

– Да ты не волнуйся, Валь, – громко сказал парень с места.

Это доконало девчонку. Еще больше смутившись, окончательно запутавшись, она сбежала с трибуны и, усевшись на свое место, уткнула лицо в ладони. Ну и ну. Вот тебе и комсомольский вождь...

Начальство недоуменно переглядывалось...

Но вот с одного из стульев встала темноволосая высокая девушка. Бледная, она поднялась на сцену... В зале притихли. Начальник СУ всем телом повернулся к ней – так, что заскрипел стул.

– Вот мы вчера сидим на этаже, раствора нет, – начала девушка, очень волнуясь, голос ее срывался. – Почему нет раствора, у мастера спрашиваем. Не привезли, говорит. Все утро просидели зря. После обеда приходим, а раствора опять нет. Почему? Кран сломался. Раствор привезли, а кран не работает. Стали на себе, в ведрах таскать. На пятый этаж не больно-то. Стала я считать: за вчерашний день рубль заработала. Ладно. Хорошо. А в прошлом месяце, в марте, мы с девчонками считали, по сколько должны были наряды закрыть? По четыре восемьдесят. А закрыли по сколько? По три двадцать. Верно, девчонки?

– Верно! Верно!

– Вот я у Матвея Кузьмича и спрашиваю. Матвей Кузьмич, почему нам по три двадцать закрыли? А он говорит: фонд зарплаты не позволяет. Но ведь мы эти деньги зарабо-

тали? Заработали. Так почему же?

Поднялся шум. Теперь, кажется, хотели говорить все сразу. Инструктор руками замахал

– Подождите, подождите! – прокричал он. – Поочереди! А вот мы у Матвея Кузьмича спросим. Эта правда, Матвей Кузьмич?

– Правда, – сказал бухгалтер. – Я ничего не могу сделать. У нас фонд зарплаты ограничен. Я бы с удовольствием, да не могу.

Опять зашумели все. Дверь открывалась несколько раз, и народу в зале прибавилось. Красивая девушка в меховой распахнутой шубке села в двух стульях от меня. Черные волосы ее были эффектно уложены в высокую прическу. Она достала блокнот, авторучку и принялась внимательно оглядывать сцену и зал. Неужели корреспондентка? – подумал я.

На трибуне теперь был уже новый оратор, тоже девушка. Пронзительным разбитным голоском она тоже говорила что-то о нарядах. Соседка моя пока ничего не записывала. Покусывая кончик авторучки, она внимательно смотрела на сцену, пытаясь, очевидно, осмыслить, что здесь происходит. Удивительно не к месту выглядела она здесь в своей дорогой шубке, с эффектной прической, шикарной косметикой. Словно красивая райская птица, залетевшая ненароком в курятник....

После той, которая говорила о растворах и неправильно закрытых нарядах, ясно стало, что многим здесь есть, что

сказать. Зал, что называется, забурлил.

Начальник СУ покраснел и еще больше набычился. Про- раб смешно вертел головой и пытался короткими реплика- ми полемизировать с выступавшими. Инструктор Кочин с удовлетворением поглядывал на то, что происходит, а лицо бухгалтера, как ни странно, повеселело. Он словно бы даже распрямился, и очки его бодро заблестели. А вот комендант – ровно наоборот: выпятил грудь, тянул вверх подбородок и смотрел на пробудившиеся страсти явно не одобряюще. Казалось, что только присутствие вышестоящего начальства удерживает его от того, чтобы встать и произнести какую-ни- будь отрывистую, подобающую ситуации речь-команду, за- ставить всех замолчать, прекратить этот, понимаете ли, без- образный бунт.

И вот тут на сцену поднялась женщина лет тридцати пя- ти, невысокая, невзрачная, с прямыми темными волосами, собранными в пучок на затылке. Пытаясь унять волнение, она очень неловко отставила далеко в сторону прямую руку, ухватившись за край кафедры, и оперлась на нее. Некраси- вое грубое лицо ее стало мертвенно бледно. Она несколько раз глубоко вздохнула.

Зал затих.

– Никогда не говорила, а теперь скажу. Скажу. Меня все равно уволили, терять нечего. Скажу, – так начала она.

Перевела дух, словно произнести эти несколько слов стоило ей большого труда. Потом, вздохнув глубоко еще раз, про-

должала каким-то ненатуральным голосом. Казалось, слова беспокойной толпой теснятся в ее горле, и ей очень трудно выпускать их поочередно.

– Вот вы комсомольцы, так? А я тоже комсомолкой была! – здесь голос ее сорвался, она, что называется, дала пелуха. – А что толку в этом вашем комсомоле? Что?! Вот я в прошлом годе болела. Ни одной души ко мне не пришло! Ну пускай. Мне не надо. Я в декрет пошла. Муж бросил. Взяли меня в роддом. Лежу там и думаю. Вот у меня мальчик родился, а куда я с ним пойду? Получала шестьдесят рублей, уборщицей работала. Муж бросил... В суд на него подавать? Пока суд, пока что, его и не найдешь. А у меня мальчик на руках. Получка нескоро, у меня молоко пропадает, чем я мальчика буду кормить? Денег два рубля осталось, а занять не у кого...

В зале наступила полная тишина. Трудно было понять, куда женщина клонит, но она говорила с таким волнением, что нельзя было не слушать. Инструктор внимательно на нее смотрел. Лицо начальника СУ выражало крайнюю досаду. Прораб опустил глаза и что-то делал со своими руками. Бухгалтер слушал внимательно. Только лицо коменданта хранило прежнее неодобрительное выражение.

–...Лежу я и думаю. А в окно вижу: трамвай ходит. Встала вечером, халат надела. Сестра говорит: куда! Оправиться, говорю, сейчас приду. А сама на улицу. Вышла, подошла к линии, стою, жду. Сейчас, думаю, трамвай пойдет, я перед

ним и лягу. А трамвая нет и нет, замерзла. И тут ко мне мужчина какой-то подошел. Ты, говорит, чего стоишь? Я знаю, чего ты стоишь. Под трамвай лечь хочешь. Взял он меня за руку и повел. К себе привел. Жена у него, детишки. Вот, говорит, напои, говорит, чаем, у нас на участке работает. Гляжу, и правда видела я его где-то. Убогий он, однорукий. Так мне этот мужчина помог, как никто в жизни не помогал.

Женщина передохнула, и голос ее набрал силу:

– А что вы тут вот собрались, комсомольцы, какой толк? – отчаянно выкрикнула она. – Выступаете, жалуетесь, а какой толк? Что было, то и останется. Как было, так и будет, поговорили-разошлись. Я вот правду говорила прорабу, меня и уволили. А теперь и из вас кое-кого уволят, увидите. Инструктор сейчас здесь, а завтра нет его – вот и говорите тогда с Иваном Петровичем. Правда, Иван Петрович? Вы все тут друг друга не любите, вот в чем дело! Вам, которые за столом, – лишь бы план выполнить, перед начальством своим отчитаться, чтоб не ругало. А вам, которые в зале, – лишь бы заработать побольше. Вот и весь сказ. А зачем зарабатывать вам? А? Для чего? Все о деньгах и о деньгах, а о человеке забыли. Сами об себе забыли вы, вот дело какое! Одно название – комсомольцы. А толку? Добра в вас нету ни в ком! Креста на вас нет, человека потеряли. И врете все...

Женщина хотела еще что-то сказать, но не стала. В полной тишине она сошла со сцены и села на свое место в зале.

– Ну, так вот, значит... – кашлянув, сказал инструктор

Кочин и встал.

Лицо его было растерянным.

– Кто еще хочет выступить? – спросил он. – Только я попрошу вас, товарищи, не отвлекаться от темы. Мы понимаем, что предыдущему товарищу тяжело. Горком будет ходатайствовать о ее восстановлении на работе...

– Не в этом же дело, эх! – с места сказала женщина.

– И в этом тоже, – возразил инструктор. – То, что несправедливо и незаконно, терпеть нельзя. Итак, товарищи, кто следующий? Вы в письме об общежитии писали. Воды горячей будто бы нет, это так? И дверь рано запирают...

– Так! Так! – закричали с мест.

Были еще выступавшие. Они говорили опять о нарядах, о дисциплине, о порядках в общежитии. Никто не вспомнил о женщине, которую уволили, но казалось теперь, что каждый что-то недоговаривает. В выступавших не было недостатка, но инструктору постоянно приходилось стучать по столу, призывая к порядку, к внимательности. На лице его тоже появилось досадливое выражение.

Соседка моя, по-видимому, так ничего и не записала в свой блокнот. Я тоже держал в руках тетрадь и карандаш, а потому она повернулась ко мне, как к сообщнику, и спросила вежливо:

– Вы не знаете, Штейнберг не приходил?

Я ответил, что не знаю, что сам опоздал и что понятия не имею, как выглядит Штейнберг в лицо. Хотя мне он тоже

вообще-то нужен – вспомнил тотчас о том, что говорил о Штейнберге Алик Амелин.

Собрание стало совсем скучным. Выступал теперь комендант общежития: фальцетом выкрикивал отрывистые фразы, лицо его по-прежнему ничего не выражало, кроме ненависти.

Дверь в зале опять отворилась, за ней показалась высокая фигура в темном пальто, с длинным белым шарфом. По тому, как соседка рванулась к этой фигуре, я понял, что это Штейнберг. Девушка со Штейнбергом скрылись за дверью. Спрятав в карман записную книжку и карандаш, я встал и вышел вслед за ними.

Девушка оказалась корреспонденткой телевидения. Дожидаюсь, пока они со Штейнбергом поговорят, я рассматривал блеклые плакаты на стенах.

Штейнберг, наконец, освободился, и я подошел к нему. На вид Штейнбергу было лет сорок пять – высокий, худой, с наметившейся лысиной, грубоватый. Договорились на послезавтра, на десять утра.

Приехав домой, я тотчас же лег и быстро уснул. И снилось, будто мы с Лорой сидим на моей тахте, а она опять жалобно спрашивает: «Только за апрель?» И я все стараюсь ее успокоить.

Среди ночи проснулся и долго не мог заснуть... Перебирал в памяти последнюю встречу... Что делать, как быть, что предпринять...

Утром не меньше получаса пролежал в кровати без сна. Да, нужно что-то немедленно решить, что-то обязательно предпринять – немедленно! – но никак не мог сообразить, что именно. Что сейчас самое важное? Голова разламывалась от неопределенности. Никакой ясности в мыслях!

Принялся вспоминать длинный вчерашний день. Утро, отъезд Лоры, потом съемка в детском саду. Алик Амелин, «Суд над равнодушием», стенограмма выступления Алика с цифрами ужасающими («Эти цифры ни в коем случае нельзя упоминать в очерке», предупредил Алик...). Наконец, собрание в СУ-91 – Кочин, девушки-работницы – «комсомольцы»! – выступавшая женщина, девушка с Телевидения и знакомство со Штейнбергом. Ну и денек!

А еще ведь повесть последняя, которую надо продолжать, а еще рассказ задуманный, но пока не начатый, а еще курсовая для института – сроки поджимают...

Ну и конечно опять Регина звонила. Она у меня третья по счету женщина, с ней все просто, кажется, но... Теперь, после Лоры, о ней как-то и вспоминать не хотелось. Да фактически мы ведь давно расстались...

Итак, что самое главное? – мучительно размышлял я, перебирая в памяти вчерашний день. Собрание в СУ-91? «Прецедент»? Да, да, кстати, один из снов, кажется, был как

раз о нем. Да... Ну, конечно! Тоже собрание, только вместо той девушки с телевидения рядом сидела Лора в своей серой шубке с капюшоном... И на трибуне тоже Лора была! Неужели?... Да, да... Везде Лора, сон такой... Только та, что сидела рядом со мной в зале, над той, что говорила с трибуны как-то странно посмеивалась, улыбалась криво... А потом... Да, потом пили с Лорой вино, и ставшая почему-то маленькой, как ребенок, Лора жалобно повторяла: «Только за апрель? Только за апрель, да?» Глупость какая-то.

Съемка вчерашняя в детском саду... Вот же оно, самое главное сегодня! Как же главное-то забыл! Пленки надо прожвлять, фотокарточки печатать – денег совсем нет, а когда-то еще их воспитатели с родителей соберут...

Рывком соскочил с кровати и принялся делать гимнастику. Взял гантели...

Умылся по пояс, опять, конечно, забрызгав нещадно общественный пол в передней. Но вытер, тряпка, слава Богу, лежала. Крепко, до красна растер кожу полотенцем...

Так. Что же дальше? Проблема: звонить ли сегодня Лоре? Конечно, ужасно хотелось хотя бы услышать голос ее, но именно потому я и подумал: лучше все-таки не звонить! Вот если бы она сама позвонила... Ведь у нее есть телефон... А так подумает, что навязываюсь... Тем более после того, что...

А, ладно. К черту! За работу скорее...

Пленки получились хорошо. Проявив, закрепив, залив в

бачки чистую воду для промывки, принес бачки из кухни в комнату. Пока промываются, надо решить, что дальше.

Может быть, все-таки позвонить? – возвращалась и возвращалась мысль. Острое беспокойство возникло – ведь два дня не звонил! И – мало ли что... Нельзя упускать момент! И так она... Хотя...

Нет, глупости. Глупости! С ума схожу, что ли? Сама позвонит, если захочет. Не каждый же день. «КЛБ»!

За окнами солнце. Наконец-то! В нашем дворе среди двух белых снежных полей пролегла темная мокрая дорожка к подъезду. Снег тает... На карнизах, очевидно, сосульки, потому что мимо окон пролетают сверкающие на солнце капли. Апрель! Настоящая весна скоро...

Вывесил пленки для просушки, убрал все лишнее со стола. Сел на тахту. Она стоит далеко от окон, в темном углу комнаты, и машинально я пересел к окнам поближе. Вдруг? Ведь было когда-то. Вторая женщина моя, Рая, после того, как с ней впервые хорошо получилось, пришла без приглашения, на следующий же день! Понравилось ей, вот и...

Но не Лора. Да, не Лора. С ней пока что...

Встал, посмотрел, есть ли фотобумага в шкафчике. Есть. Достаточно. Химикалии для проявителя тоже. В магазин не нужно ехать, и то хорошо. Опять сел перед окном и вспомнил: сегодня среда! Значит, вчера был вторник и творческий семинар в институте, а я опять пропустил его! И даже не вспомнил! Впрочем, уважительная причина, даже две: съем-

ка в детском саду и Амелин...

Но курсовую надо дописывать все равно. И в повести кое-что подправить. И начать рассказ не мешало бы..

Власть и искусство – вот о чем мой рассказ... Художник... или писатель... или музыкант... изобретатель... поэт... Все равно кто. Важно, что создал он этакий шедевр. Выложил-ся, можно сказать, всю душу вложил. И не о деньгах, не о себе – о людях, о деле своем думал. Но он не мог предполагать, наивный, что тот, кто... От кого зависит дать ход этому шедевр или не дать – то есть Большое Лицо, – как раз в это время было не в духе. У него, допустим, фурункул назревал. Или насморк жестокий. Или понос хронический, мало ли... Или, наоборот запор... Или, допустим, ссора с женой на почве то ли «предметной», то ли «мировоззренческой»... «Предметная» – это значит, к примеру, вопрос: покупать или не покупать некий предмет – магнитофон, телевизор последнего выпуска, ковер, холодильник, сервиз, шубу, дачу, автомобиль... Мало ли! А «мировоззренческая» – это, допустим, книжка или передача по телику одному из супругов понравилась, а другому нет. Или статья в газете. Вот и ссорятся. Или, допустим, идти в гости к таким-то или не идти. Или – смотреть по телевизору либо хоккей-футбол, либо, наоборот, кино. Да мало ли причин может быть! Ну, хоть бы и просто не в духе – Лицо-то Большое, а значит имеет право! А тут, подумаешь, какой-то «шедевр», какого-то, понимаете ли, «творца»! Да пошел он со своим «шедевром» куда по-

дальше, не до него! То есть когда еле живой, выдохшийся художник, вложивший в шедевр всю свою душу, принес его на утверждение Большому Лицу – ну, или кто-то ему, Большому Лицу, на утверждение передал... То вот тут-то и прозвучал Колокол Судьбы: «Нет! – сказала Б. Л. – Хватит у нас шедевров, нечего! Пошел вон!». Правда, у Булгакова на эту тему есть – «Театральный роман». У Гоголя – «Шинель». У Чехова тоже что-то на эту тему. У Островского... Но это не важно. Новое время – новые песни. Хотя на самом деле, конечно, песни все те же... Только называются они по-другому. Одни и те же песни, потому что опять решает все Большое Лицо. И тогда решало, и теперь.

Зазвонил телефон в коридоре, и опять я вздрогнул. Кто-то из соседей очень быстро снял трубку. Ну же... Ну... Нет, не меня.

Во двор с улицы зашла девушка в шубке с капюшоном. Нет, конечно же, не она, увы. Не Лора.. А сердце заколотилось, бедное... Ну и зря.

Пленки скоро высохнут... Но сначала надо все же в столовую сходить, пообедать. Чтобы не отвлекаться потом.

Шагал по улице словно во сне. Солнце скрылось, пошел мелкий дождь со снегом. Хмурое, совсем хмурое небо опять, как будто солнца и не было.

Наша столовая называлась почему-то «Закусочная». Готовили плохо, невкусно, в зале всегда грязь и чад. Настроенные паршивые, я шел и думал в который уж раз: ну что, спра-

шивается, мешает им в столовой делать свое дело по-человечески? Воруют – да, без этого у нас никак, это ясно. Но из того, что остается, все-таки можно же приготовить хотя бы чисто и аккуратно! И в помещении иногда убирать. Так почему же?

И первой реакцией, когда вошел, было – уйти немедленно. Есть то, что здесь дают и в таких условиях – унижение человеческого достоинства, как минимум. «Вторичный продукт», как написал потом, позже, писатель Владимир Войнович. Многократное унижение, потому что ты видишь одновременно, как унижают не только тебя, но и других рядом с тобой. А мы терпим. Жуем покорно.

Несколько раз я давал себе слово написать куда-нибудь жалобу. В газету какую-нибудь, что ли. И написал таки однажды аж чуть ли не в «Правду». Не в центральную, а в Московскую. Оттуда письмо переслали в районный трест, и – вот событие! – была комиссия! Мне даже официально ответили на фирменном бланке! Интересно, что на некоторое время действительно стало лучше и чище, хотя цены остались прежние. Но это длилось недолго. Тогда я написал снова. Потом еще раз и еще. Уже не помогало, и никаких ответов на письма не приходило. Как выразился один мой приятель: в «Закусочной» поняли, КОМУ нужно давать и СКОЛЬКО...

Но деваться некуда. Поблизости нет других столовых, а если и есть где-то на расстоянии, то такие же...

Я давился вонючим жидким борщом и с тихой грустью

размышлял о том, на что мы в большинстве своем тратим силы и время. А воров наших, между прочим, даже воровство не спасает. Воруют – а все равно живут в дерьме и ненависти ко всем и друг к другу. Неужели так трудно осознать, что если ты к другим относишься хамски, то и другие будут относиться к тебе точно так же. Дважды два – четыре...

В половине третьего, когда я уже мучился изжогой дома, пришел Антон со своим братом Гришей. Они зашли мимоходом: собирались второй раз смотреть новый американский фильм. Взяли билеты в кинотеатр, который поблизости, но до сеанса осталось какое-то время, вот и решили зайти ко мне – Антону нужно было позвонить.

– Тебе тоже фильм понравился? – спросил я Гришу, когда Антон вышел в коридор.

– Да, Олег, отличный фильм. Образы просто великолепные!

Это был популярный ковбойский фильм «Великолепная семерка». Вместо обычной постной жвачки мы, советские труженики, увидели решительных и благородных людей – мужчин, а не бесполох передовиков производства. Мне фильм очень нравился, как и Антону.

Не в первый раз я заметил, что стоило нам с Гришей остаться вдвоем без Антона, как выражение лица и даже осанка Гриши тотчас менялись. Он расслаблялся и становился естественней без своего старшего брата... И у него проявлялось ценное, редкое качество, которое отличало его от

Антон: в разговоре он слушал не только себя.

– Никак не дозвонюсь, – сказал Антон, входя.

– Кому ты звонишь? – спросил Гриша.

А у меня тотчас заняло сердце. У Антона, как всегда, был очень уверенный в себе вид, и я почему-то подумал, что...

– Одной девушке, – многозначительно ответил Антон и как-то странно взглянул на меня.

Неужели?...

Потом Антон с Гришей, продолжая, очевидно, начатый разговор, стали обсуждать очередной международный кризис – «Карибский». И, конечно же, затронули внутреннюю политику в стране... Ведь все мы тогда были в ожидании перемен. «Можно ли в газету завернуть слона? – спрашивалось в очередном анекдоте. – Можно. Если в газете печатается речь Хрущева». Действительно, новый Генсек многословно и темпераментно витийствовал на трибуне, и какие-то перемены уже наблюдались – выпущены были многие заключенные из лагерей; строилось гораздо больше, чем раньше, жилья; опубликован был «Иван Денисович» Солженицына; принимались некоторые вполне разумные постановления... Но хотелось больше, больше, быстрее...

Я, естественно, не сдержался, ввязался в разговор братьев. В последней речи Хрущева, кстати, было опять много о «тунеядцах».

– Охотятся за мелкими лентягами и жуликами вместо того, чтобы объявить настоящую войну крупным ворам, – в серд-

цах сказал я. – Вместо того, чтобы по-настоящему взяться за дело, суетятся по-мелочи!

Антон насмешливо взглянул на меня и сказал с кривой улыбкой:

– Олег, Олег, он ведь не имел в виду именно тебя!

Это была какая-то дикая нелепость, и я сначала даже не понял, почему Антон так сказал.

– При чем же тут я, Антон? Ты что, считаешь меня тунеядцем? Или думаешь, что я боюсь? Идиоты! То им «буржуи» мешали, «контра», потом и вовсе «враги народа», а теперь – «тунеядцы»? Нашли виновных! Неужели не ясно, что все эти «кампании» – чушь собачья?! Я статьи буду об этом писать!

– Ты думаешь, их будут печатать? – серьезно и тихо спросил Гриша.

– Должны же наконец. А то ведь...

– Да брось, Олег, ладно, – сказал Антон. – Я пошутил. Ты зря кипятишься. Сейчас таких, как ты, не сажают. Есть более важные проблемы.

Опять – ему про одно, а он про другое. Когда они ушли, я чувствовал себя скверно. Что ему надо? Почему он так зол на меня? Ведь он думает о многом так же, как я. А все хорохорится и хорохорится. Зачем?

Была, однако, уже половина четвертого. Пора занавешивать одеялами окна и печатать фотокарточки... Я завесил и принялся за печать.

А вечером поехал к сестре.

Улица и какая-то определенная цель, когда не нужно ничего решать, а можно просто идти по знакомому, привычному маршруту, потом ехать в метро, сделать одну пересадку, опять ехать, выйти, идти по улице... – затем подняться на пятый этаж в знакомую квартиру... Смотреть на их лица – ее и ее мужа, с которым мы дружим, – говорить, не напрягаясь, смотреть телевизор с ними, зная, что ни сестра, ни ее муж, о том, что сейчас происходит со мной, не знают... Как-то произвольно и легко я спросил у Веры, важно ли для женщины, сколько было у мужчины других до нее, она сказала, что важно не это, а совсем другое – отношение важно, вот что... Ну, разумеется... Потом еще говорили о чем-то, смотрели по телику фильм...

Когда пришел домой, ко мне забежал Сашка, друг с первого этажа – увидел в окнах свет. Предложил два билета на завтра во Дворец Съездов на балет «Лебединое озеро» – купил, а сам пойти не может, дела в институте.

Чайковского я считал лучшим композитором всех времен и народов, балет этот видел раза два – одно время работал в Большом театре рабочим сцены...

Взял у Сашки билеты, и сердце замерло: вот и предлог, чтобы с Лорой...

На полу комнаты на больших листах бумаги были разложены для сушки детские фотографии, они уже высохли, я стал собирать... Дети улыбались, они ведь так хорошо мне позировали, их лица были веселые, ласковые, безмятеж-

ные... Особенно мне понравилась кареглазая черноволосая девчушка с куклой в руках – добрый и вполне уже женский взгляд. Кажется, ее звали Марина...

8

Голос Лоры по телефону был напряженный, чужой – на работе, понятно. Она переспросила, на что именно во Дворец Съездов, я ответил.

– «Лебединое озеро»? – переспросила почему-то с усмешкой.

– Да, – сказал я. – «Лебединое озеро», Чайковский.

Громко вздохнув, она сказала, что недавно они как раз на этот балет ходили. Организованно, всем отделом. У них был «культпоход».

Странный был тон, странная реакция. Я не знал, что сказать.

– Ну, что ж. Тогда пока, до свиданья, – только и мог выдать из себя.

– Пока, – ответила она и повесила трубку.

Звонил я из автомата, который был на лестничной клетке перед входом в помещение клуба «Романтик». Положил трубку – и тотчас же появился Штейнберг.

– Здравствуйте, – сказал я ему все еще в растерянности от звонка.

– Здравствуй, – бодро ответил Штейнберг. – Ты давно

ждешь?

– Нет, – сказал я. – Недавно. Где будем с вами говорить?

Мы со Штейнбергом вошли в одну из комнат клуба, по-видимому, читальню, на столах лежали газеты, журналы, за одним из столов сидела какая-то женщина – жена Штейнберга, как оказалось, – она нас ждала. Но начать разговор не пришлось: явились двое с телевидения, и Штейнберг просил подождать. Жена Штейнберга спрашивала меня о чем-то, я автоматически отвечал.

«Ну да, ну да, я не показал себя лихим, боевым мужчиной, но ведь... Что же она так сразу? И голос чужой... Разве у нас не было ничего? И эта ирония дурацкая – «культпоход»! Что происходит? Господи, что происходит...»

Наконец, Штейнберг вернулся.

Жаль, что нету машинки, сказал он, а то можно было бы сразу печатать, начисто. Он обдумал то, что хочет сказать, и можно за ним все записывать.

Я сказал, что пишу быстро, а уж обработать потом смогу, все будет в порядке. И раскрыл тетрадь.

Штейнберг походил, покашлял, потер руки – кисти у него были большие и красные, поросшие редкими длинными волосами... И начал:

– Надо научиться не ранить людей, а лечить. Воспитатели должны быть художниками. Как хирурги – рука крепкая, а пальцы нежные. Как сказал Хрущев. А то ведь бросил кто-то снежок на улице, а на него сразу кричат: «Хулиган!»

Штейнберг говорил медленно, следя за тем, чтобы я успевал записывать, и я писал слово в слово. И вскоре уже начал осознавать что пишу и опять – как в кабинете Амелина в первый вечер, – ощутил волнение.

Речь шла о парне, вернувшемся из колонии.

Парень этот, Витя Иванов, попал в колонию на несколько лет по чистой случайности, как сказал Штейнберг. Кто-то с кем-то подрался, что-то не поделили, все убежали, когда появилась милиция, а этот парнишка не убежал. На него и шишки. Отсидел год, вышел, а на работу нигде не берут – клеймо. Ходил, ходил неприкаянный, выпивать в какой-то компании начал, еще чуть-чуть и произошло бы непоправимое. Но однажды встретился случайно со Штейнбергом – зашел в Красный уголок ЖЭКа, где Штейнберг тогда воспитателем работал. «Все разговорчиками душеспасительными занимаетесь, ля-ля разводите, а толку? – так сказал Витя Иванов. – Нам не разговорчики нужны, а дело. Нам бы куда вечером пойти». Штейнбергу парень понравился, разговорились.

– Ты знаешь, – увлеченно продолжал Штейнберг теперь, – оказалось, что этот парень, Витя Иванов, много стихотворений наизусть знает, даже сам пишет! В колонии начал... Но только мрачные все стихотворения, пессимистические... Потом мы в другой раз с ним встретились. Вот тогда Витька и подал идею клуба. Такого клуба, куда каждый в любое время мог бы прийти без всяких пригласительных билетов,

не на «мероприятие», а просто так – посидеть, в шахматы поиграть, с ребятами потолковать, стихотворения почитать. Понимаешь?

– Еще бы! – с растущим волнением отвечал я.

У Штейнберга было знакомство в Горкоме, и, в конце концов, удалось клуб «пробить». Дали помещение в новом доме, Штейнберг стал директором клуба, а Витя Иванов членом правления. Удалось Виктора и на работу устроить. Стихи писать продолжает.

– Но теперь стихи у него светлые стали, оптимистические! – заключил Штейнберг свой рассказ и с улыбкой посмотрел на меня.

– Приходи к нам как-нибудь, – добавил он, энергично потирая свои волосатые руки, и лицо его сияло. – У нас очень интересно бывает. Дни рождения справляем, приглашаем интересных людей. Турниры проводим по шахматам, по пинг-понгу. К нам каждый может прийти!

Очерк! – думал я уже радостно. Вот же она, великолепная тема для очерка! Такой клуб не устоит долго, если он будет случайным явлением, но если повсюду! Если – в каждом районе и микрорайоне! Тут и поможет мой очерк. Вот настоящая тема! «Суд над равнодушием» тоже, конечно. Но и это! Поддержать, поддержать Штейнберга! Обязательно!

– Ты представляешь, как много мы могли бы сделать! – говорил Штейнберг тем временем, махая красными своими большими руками, и лицо его сияло. – Сколько таких непри-

кайанных парней и девчонок! Потому и преступления, верно? Ведь податься людям некуда, заняться по сути нечем, особенно молодым! Где пообщаться? Где друг с другом познакомиться? Потому и пьют, хулиганят, потому изнасилования и все такое. Знаешь, какие у нас ребята отличные! Обязательно приходи как-нибудь... Твоя статья как раз и могла бы... Про Витю Иванова напиши обязательно! Клуб – его идея. «Клуб Витьки Иванова»! Звучит, а?!

Я совсем ожил. Вот она, жизнь, и вот настоящее дело! Штейнберг – живой, настоящий, надо же! А Лора... Да бог с ней, в конце-то концов! Я же сам виноват, она права! Вялый, закомплексованный, неумелый... Учиться надо всему – и этому тоже! Она права. И очерк настоящий, боевой очерк написать надо, и – чтоб напечатали! Тогда и с Лорой все будет хорошо, это же естественно! Подумаешь, не согласилась на «Лебединое озеро»! Ну и что? Все впереди.

Возбужденный, радостный, я звонил Алексееву из автомата.

– Слушает Алексеев, – деловито ответила трубка.

– Иван Кузьмич, это Олег Серов, здравствуйте! Иван Кузьмич, я отличную тему нашел, просто великолепную!

– Да? – с каким-то странным спокойствием и настороженностью спросил Алексеев. – Ну, что же, скажи в двух словах, какая такая тема.

Волнуясь, торопясь, я начал рассказывать.

– Погоди, погоди, Олежек, не увлекайся, – перебил Алек-

сеев очень скоро. – Ты не торопись. Сначала вот что скажи. Сколько лет твоему оболтусу?

– Что значит «оболтусу»? – недоуменно спросил я.

– Ну, этому... Вите Иванову.

– Вите Иванову? Сколько лет? – я растерялся. – Какая разница... Ну, сейчас лет двадцать с небольшим, я так понял. А что? Ведь он в колонии был.

– Стоп, – сказал Алексеев. – Не торопись, Олежек, не торопись. Двадцать с небольшим – это много, это не то, Олежек, должен тебя огорчить. Нам о несовершеннолетних нужно, я же тебе сказал! *О несовершеннолетних* сейчас! Только о них! Ты понял? *О несовершеннолетних*! Такая задача. Вот если бы твоему Вите было...

– Подождите, Иван Кузьмич, что-то не понимаю. – Недоумение мое росло. – Причем тут возраст Вити сейчас? Во-первых, тогда, попав в колонию, он как раз и был несовершеннолетний. И потом ведь речь вообще о преступности подростков, так? Проблемный очерк, вы говорили. О причинах и чтобы не было, верно? Вот и получается, что если будут такие клубы, то...

– Стоп, Олежек. Стоп-стоп! Возраст как раз причем, возраст – самое главное! Возраст *теперь*, ты понял? Клуб клубом, но нам о сегодняшних несовершеннолетних нужно, понимаешь! Рубрика у нас такая. Руб-ри-ка в журнале! Преступность несовершеннолетних ребят. Поэтому я и...

Он замолчал.

А я разозлился. Глухая, мучительная досада поднялась вдруг. Он что, дурак, Алексеев? Ведь причины важны, причины! Причем тут рубрика? Что за бред, формализм какой-то...

– Ну, ты чего замолк? – спокойно спросил зав отделом журнала, и я уловил в голосе Алексеева новые нотки. Успокаивающие. Да, Алексеев меня словно бы успокаивал. Этак как бы даже и по-отцовски.

Меня это еще больше взбесило.

– А как... Как вообще нужно написать, Иван Кузьмич? – спросил я все же хрипло, едва сдерживаясь. Машинально посмотрел в стекло телефонной будки, ища почему-то Штейнберга. Не увидел его и ощутил облегчение. Было бы перед ним стыдно...

– Надо написать так, чтобы очерк твой стал событием, – говорил тем временем Алексеев опять по-отечески. – Чтобы все вокруг спрашивали: кто такой этот талантливый журналист Олег Серов? Я от тебя, Олежек, хорошего очерка жду, настоящего. Проблемного. О несовершеннолетних. Понял? *О несовершеннолетних!* Ты же талантливый человек, ты можешь, я в тебя верю. Ты не разбрасывайся, ты найди подходящую, нужную тему, ударную, и выстрели, как надо. Проблемный, о несовершеннолетних, запомни. Стрелять надо точно в цель.

«Он что, издевается?» – мелькнула вялая мысль.

«Выстрели»... Почему он сказал «выстрели»? – вертелось

и вертелось в голове. Причем тут «выстрели»?...

9

Опять голова шла кругом... Вот уж от Алексеева-то не ожидал!

При чем сегодняшний возраст Вити Иванова? Что за формальность глупая? Разве клуб не есть одно из самых лучших средств, чтобы ребят занять, чтобы отвлечь от дури, дать им то, чего как раз им не хватает? Это же просто находка!

Но по тону Алексеева, по уверенным его словам мне стало ясно: очерк такой «не пройдет». И причем тут это – «чтобы все вокруг говорили», – думал я с раздражением. За кого он меня принимает?

...Для гимнастики йогов нужно постелить на пол два больших листа толстой бумаги – они же идут под сушку фотографий, – а на них сложенное вчетверо одеяло. Предварительно я проветриваю комнату, но потом закрываю окно – во время расслабления легко простудиться...

Без обычной спортивной гимнастики утром и гимнастики йогов днем я бы не выжил, точно. Ведь в детстве много болел, наследственность ни к черту, мать умерла от туберкулеза в 31 год, отец в 45 лет был инвалидом 2-й группы. Если бы не гимнастика, не поездки «на природу» со школьных лет, не лыжи, велосипед, гантели и эта гимнастика йогов...

«Внимайте песне жизни!» – вот одна из истин, о кото-

рой однажды я прочитал в хорошей книге. Но я следовал ей неосознанно с ранней юности, руководствуясь собственными представлениями и ощущениями – вот что интересно! Со всех сторон мне пытались навязать «установки» и «правила», следуя которым все равно никто не достигал ни счастья, ни гармонии друг с другом и с миром. Потому я им и не верил. Они все равно упорно твердили все то же и пытались заставить друг друга этому следовать, хотя никому из них это не помогало. Я же видел! Слава Богу, я старался поступать по-своему...

...Спокойный, собранный, встаю на одеяло, выпрямляюсь, складываю на груди руки ладонь к ладони. Грудная клетка поднята, живот подтянут, дыхание спокойное и глубокое. Вдох начинается в нижней части легких, потом идет выше, доходит до верха, и – задержка на несколько секунд. Выдох – в обратном порядке. Голова чуть кружится, и слегка темнеет в глазах, но только сначала. Потом, наоборот, в голове проясняется, а в теле постепенно появляется легкость.

Это первое, предварительное упражнение. За ним плавно следуют остальные, и в мышцах начинает звучать сладкая музыка. Музыка Бытия... «Внимайте песне жизни»...

Наконец, «березка» – стойка на верхней части спины и на шее. Руки поддерживают спину, ноги вытянуты, устремлены вверх. Гимнастику я делаю, как правило, голым, и теперь вижу свой живот, ноги и... То самое – мягкое, беззащитное, сейчас съезжившееся в круглый комок с вялым от-

ростком, свисающее недалеко от моего лица... Странно, что в гармоничном мужском теле, состоящем из костей, мышц, как-то неожиданно явлен этот совершенно беззащитный комок плоти, несущий, кстати, в себе не что-нибудь, а – новое жизненное начало. И столько переживаний связано с ним, и я с симпатией и уважением смотрю сейчас на него...

Сладость разливается по всему телу. И вот уже из нежной дырочки на конце набухшей головки выступает совершенно прозрачная, кристально чистая капля. Смазка... Понятно, что сейчас она ни к чему, но появление ее – признак здоровья, как я считаю.

Я полюбил свое тело. Мне удалось натренировать и воспитать его так, что приятно смотреть самому. А в детстве, как уже сказано, много болел, и в юности перенес две операции...

Наше тело – великий подарок природы-матери, это чудо, совершеннейший инструмент. Мир прекрасен, разнообразен, богат, в нем есть все, что нужно для нашего существования, для нашей радости и того ощущения полноты и гармонии, которое мы называем счастьем. Все зависит от нас. От того, можем ли мы услышать Песню Жизни. И – слиться с нею. Болезни нашего тела – порождение несовершенства сознания и души. Главное – преодолевать его, учиться... Так я считал и считаю. Поэтому и...

Последнее упражнение – «Полет чайки». Я лежу совершенно расслабленным на спине. Тело мое – кисель... Закрыв

глаза, представляю себя чайкой. Реющей над морем в солнечном голубом просторе... И мягкий теплый ветер ласкает кожу...

Что знаем мы о таинстве жизни? ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ происходит соединение двух микроскопических клеток, которые определяют свойства будущего сложнейшего организма? И почему, соединяясь в любви, мы испытываем столь великие, могучие чувства? Величайшая из загадок! Вот и Лора. Почему так подействовало на меня знакомство с ней? Женщина, великая тайна! Волшебная магия...

После гимнастики я сидел перед увеличителем при красном свете и спокойно печатал.

Но прозвучали два звонка в коридоре – это ко мне. Антон. В мой красный мир с белыми вспышками увеличителя и тихо смеющимися детскими лицами, возникающими на розовом фоне бумаги под проявителем, ворвалось нечто извне, из огромного застенного мира, и очарование неспешной, приятной работы исчезло.

Пришлось прерваться. Антон в очередной раз попросил остаться ночевать у меня. Дружба есть дружба, ничего не поделаешь. Допечатаю завтра.

Мы пили чай, потом ложились – я на своей тахте, Антон, как обычно, на раскладушке. Я не удержался, спросил все же о Лоре. Хотелось в конце концов что-то понять...

– Она дрянь, Олег, самая обыкновенная дрянь, – зевнув, спокойно сказал Антон. – Потаскуха и хищница, к тому же.

Выгоду ищет во всем. А сейчас мужа себе ищет. С прежним развелась, вроде бы, и нового ищет. Вот и все. Вся ее суть. Так что ты зря, ей-богу.

Он помолчал, поворочался на раскладушке и продолжал:
– Ну что ты к ней привязался? Зачем она тебе? И зачем ты ей, подумай! Красивая развратная хищница, только и всего. И довольно дешевая, ко всему прочему. Ну что ты мог увидеть в ней такого уж человеческого? Вот грудь у нее отличная, что да, то да, но она ей дана, между прочим, чтобы детей кормить! А она ее как использует?

– Слушай, – разозлился я. – Понимаю, что ты вообще-то шутишь. И все же. Как же ты можешь так... Ты хоть глаза-то ее видел?

– Да видел я ее глаза, видел, – сладко зевая, сказал Антон. – Голубые, с ресницами крашеными. Так покрашенными, что сыпется.

Он опять зевнул и заворочался, лег поудобнее.

– Знаешь, я внимательно тебя слушаю, пытаюсь понять, – продолжал устало. – Мне жаль тебя, если честно. По крайней мере все, что я о ней знаю, все говорит против. Самая обычная блядь, вот и все. Ну, красивая, да. Так тем хуже. Ты ее защищаешь почему-то, а перед кем? И зачем? Нравится тебе – ну и давай звони, встречайся, трахайся, если получится. Ради Бога! Зачем философию-то разводишь? Ей-богу, ты странный какой-то.

А я и сам не знал, зачем ему говорю все это. Не мог оста-

новиться, и все. И почему-то очень важно мне было, чтобы Антон согласился. За что он так на нее? Чем она перед ним провинилась?

И – черт меня дернул! – я сказал, что Лора была у меня, и мы были близки. Я сказал это, ни в какой мере не хвастаясь, а для того, чтобы оправдать, реабилитировать ее, что ли. Ведь это противоречит словам Антона! Какой расчет ей был приходиться ко мне, если она такая хищница, как он считает, что с меня взять? А она пришла. Тут ведь только искренность ее, только истинная эмоция, бескорыстие! Это чистый, нравственный поступок, я считаю, потому что она ведь ничего материального не имела и не могла иметь от меня, это же ясно! Разве не так?

– Только ты не говори ни ей, ни Косте, что я тебе рассказывал, хорошо?

Но произошло странное: Антон мне не поверил! Он сказал, что не может мне, конечно, не верить, но вообще-то, исходя из того, что он о ней знает, она не должна была так поступить – прийти просто так, да еще ко мне, в эту убогую комнату.

– Кто ты такой для нее, чтобы прийти к тебе запросто и бесплатно? Ты ведь и в ресторан ее не водил, так ведь?

– Так.

– Я не могу тебе, конечно, не верить, раз ты утверждаешь, но... Ну не могла она просто так к тебе прийти, не могла!

У меня не было слов.

– А впрочем... – продолжал все же он. – Да, впрочем, почему бы и нет? Она развратная сучка, почему бы и еще с одним не потрахаться? – продолжал он уже спокойнее. – И потом у тебя комната все-таки. Хотя бы и такая. Вдруг пригодится? И ты вроде бы в институте учишься, писатель будущий – она же знает. Вдруг...

Он помолчал, а потом продолжил уже совсем спокойно и опять громко зевнув:

– Да, у Кости, кажется, тоже с ней что-то было, он говорил. А мне... А мне, если честно, не очень-то и хотелось. Добиться ее элементарно, это же ясно! Да, кстати, совсем забыл! Мы как-то на днях с ней целовались в кабинете, пока никого не было. Еще как целовались... И я уверен: если бы были условия...

Мне стало противно. Не хотелось больше говорить. Но и ссориться не хотелось. Честно говоря, стало почему-то жалко его.

10

Просторный светлый холл, кожаные мягкие кресла, полированные журнальные столики. Здание редакции, шестой этаж. Алексеев сам позвонил мне домой и сказал, чтобы я приехал. У него, будто бы, материал какой-то в гранках, мне полезно будет посмотреть. Радость вспыхнула, когда я услышал о «гранках» (мой прежний очерк?...), но тут же погасла.

Нет, не мой, это ясно, а то бы он так и сказал. Хотя... Вдруг?

Поехал.

В кабинете Алексеева не было, и я ожидал в холле.

Солнце сияло в огромное – от пола до потолка – окно, по коридору проносились молоденькие литсотрудницы и секретарши, пахло мастикой от недавно натертых полов и духами.

«Ну неужели, неужели то, что написано у меня, хуже, чем то, что печатается в этом журнале? – мучительно размышлял я. – Ведь серость печатается, конъюнктура. И Алексеев сам это признавал... В чем же дело?»

По твердому, энергичному стуку шагов понял: приближается Алексеев. Да, стремительной, спортивной походкой направлялся к своему кабинету он. Бородатый, крепкий, кражистый, уверенный в себе редактор и завотделом.

– Интересный материал, тебе полезно будет посмотреть, – сказал Алексеев бодро, как всегда. – Я хочу знать твое мнение.

Быстро и крепко он пожал мне руку (я тотчас вспомнил, что Алексеев занимается альпинизмом и ходит в бассейн, и в который раз подумал: а не мешает ли ему борода плавать?), пропустил вперед себя в кабинет, пригласил садиться, сел сам, достал из ящика стола несколько сколотых желтоватых листиков и протянул мне.

– На, почитай. Это – на уровне. Немного болтливо, правда, но – на уровне. В таком духе и ты что-нибудь можешь. Твоя тема. Сиди, читай, я выйду пока по делу. Через десять

минут приду.

Гранки. Впервые в жизни я держал в руках гранки. Как мечтал увидеть наконец СВОИ гранки! Несбывшаяся пока мечта отозвалась тупой привычной болью.

Начал читать. «Трое с улицы Гарибальди» – так назывался очерк. Улица Гарибальди? Что-то знакомое. Так и есть! Это был очерк о «Суде над равнодушием», стенограмму которого я читал в Горкоме у Алика.

Сначала шло описание обстановки суда – как все выглядело и кто где сидел. Потом – часть речи общественного обвинителя, секретаря райкома комсомола. Внимание остановило такое место: «Партия и правительство делают все, комсомол помогает им. В нашей стране давно ликвидирована сама основа преступности...» Ничего себе... Дальше шло что-то совсем уж невразумительное, а в конце так: «Я шла домой и думала: как же все-таки они дошли до жизни такой? Ведь улица, на которой живут эти ребята, названа именем великого сына итальянского народа Джузеппе Гарибальди!»

Конечно, концовку можно было истолковать по-разному, и все же... Дочитав, я подумал: может быть, здесь не все листки? Нет, судя по нумерации, листки были все. И внешняя связность была. Но дело в том, что общее ощущение от очерка оставалось ужасное. В очерке была явная ложь – это во-первых. Холуйство перед властями – во-вторых. И невнятица – в-третьих. С одной стороны выходило, что падение трех парней произошло совершенно случайно – автор ведь

столько раз уверяла, что такое для нашей страны нетипично, что в наших советских условиях жизни такого никак не должно, а, следовательно, и не может быть, потому что «ликвидирована основа». Но с другой стороны это было, и сам факт суда говорит о целом явлении. И выходит, что уверения автора противоречат тому, что автор описывает. Удивительный какой-то переверот, лента Мёбиуса. За дураков считает она читателей, что ли? Концовка тоже читалась по-разному. С одной стороны действительно: как же так получилось, что люди, живущие на улице, носящей имя великого итальянского революционера, боровшегося, как мы знаем, за справедливость, свободу и равенство всех людей, воспитали своих детей так, что те, начав с мелких краж, пришли к тому, что стали приставать с ножом к женщинам... Но с другой стороны: «Как вы дошли до жизни такой!» – обращение не к подсудимым «Суда», то есть взрослым, а к самим ребятам, которые, по идее «Суда», были не подсудимыми, а – пострадавшими! Самое неприятное было то, что второй смысл, вопреки названию «Суда» и его идее, прочитывался в очерке гораздо последовательнее. И еще: Гарибальди, как известно, боролся против властей, а автор очерка власти безоговорочно защищала...

Я пробежал текст еще раз – может, чего-то не понял? Нет, все именно так. И опять возникло мерзкое ощущение неуверенности в себе. Может быть, я действительно чего-то не понимаю в жизни? Ведь Алексеев хвалит «этот материал». Это

может показаться странным кому-то, но тут же и вспомнилась та наша ночь с Антоном и Лорой и вообще отношение к Лоре Антона... Может быть, я и правда не от мира сего?

Ведь то, что читал – и что рекомендовал сам Алексеев! – не просто отличалось от того, что думаю я. Фактически это – противоположное! Дурь, непоследовательность, лживость, холуйство перед властями. Да еще и с пафосом! И Гарибальди приплела сюда же, ну и ну.

И опять, как после разговора с Лорой по телефону насчет «Лебединого озера» и с Алексеевым по поводу Штейнберга, и с Антоном потом о Лоре, мне захотелось себя ущипнуть – сплю или не сплю?

Вошел Алексеев.

– Ну? Прочитал? Как тебе?

А у меня, бедного, сердце болело опять и в висках стучало всюю. Неужели и от меня он ждет такого?

– Я знаю этот материал, читал в Горкоме, – выговорил я хрипло, сдерживаясь изо всех сил. – Интересный был суд...

Сдерживался, сдерживался изо всех сил – понимал, что если начну, то не остановлюсь, это уж точно, и все наши отношения с Алексеевым разлетятся тут же, и ни о каком моем очерке...

– Ну вот, видишь! – обрадовался за отделом, не поняв и абсолютно и по-своему расценив мою реакцию.

И посмотрел на меня ободряюще.

– Я же говорю, на уровне, – продолжал он быстро, убеж-

дая как будто бы самого себя и торопясь, явно думая сейчас о чем-то другом. – Этот материал редколлегией уже фактически одобрен. Вот и ты напиши что-нибудь в таком же духе. Идет? Ты ведь еще лучше написать сможешь, я в тебя верю! Давай, давай. Найди конкретную тему и напиши. И поторопись, я жду. Договорились?

Он деловито протянул мне руку.

А у меня ком стоял в горле. Это после я все происшедшее окончательно понял, а в тот момент не мог осознать четко и выразить. Алексеев все-таки не такой дурак и холуй, и если бы я объяснил ему связно, он, может быть, даже и понял. Но в тот момент я Алексеева просто-напросто ненавидел...

И машинально и молча я пожал его руку. Кажется, даже не сказал «до свиданья», а просто вышел.

Не в первый раз в те свои «исторические» дни я ощущал, что мое лицо сковало. «Спортсмен, альпинист, – думал я как-то механически, шагая по коридору. – Пловец с бородой! Как же вы можете... Зачем же вам бодрость, если...»

Хорошенькая стройная девушка в мини чуть не столкнулась со мной в коридоре, кокетливо ойкнула. Просторный холл был по-прежнему залит солнцем. Опять был по-настоящему весенний апрельский день. На деревьях бульвара радостно щебетали птицы...

Я шел и внимательно смотрел на прохожих. Некоторые разговаривали, некоторые даже весело улыбались. Неужели я и на самом деле какой-то ненормальный, и прав вовсе не я,

а они – Антон, Алексеев, женщина, которая написала очерк, все, все, кто идет по улице, улыбается даже... Все путем, да? Все хорошо у нас, да? Все люди – братья, братья и сестры, и так хорошо в стране советской жить под руководством Партии родной и правительства нашего, которое заботится, заботится, заботится, ночами не спит...

Добрался до своей комнаты, сел на стул и долго сидел неподвижно. Неужели действительно никому ничего не нужно, все путем, все довольны... Только я такой? Ну, Амелин еще, ну, Штейнберг. А вот Лора...

Зазвонил телефон в коридоре, я вздрогнул. Быстро встал, вышел в коридор, снял трубку. Да, мне. Но не она. Алик Амелин. Опять предложение: побывать в одном из райкомов города, где – Алик опять только что узнал – заведено «дело о моральном разложении» двух молодых людей, парня и девушки.

– Я думаю, тебе интересно будет, – говорил Алик, как всегда дружески, и от доброго его голоса мне стало легче.

– Да-да, Алик, конечно, – отвечал я машинально. – Спасибо тебе, спасибо. Поеду, конечно, поеду.

– Запиши телефон и позвони прямо сейчас...

Записал. Позвонил, договорился. Поехал...

11

При комитете комсомола одного из районов Москвы орга-

низовали РОМ, то есть Районное Отделение Милиции. «На общественных началах» – то есть в свободное от работы время и без заработной платы сотрудникам. Чистый энтузиазм. Идея ясна: для того, чтобы лучше бороться с преступностью, логично подключить общественность, то есть народ. Чтобы общество, так сказать, лечило само себя. Разумно? Разумно! Вот и решили поэтому – «на общественных началах»! Дав активистам-комсомольцам автомашину и кое-какие права.

Вообще-то, конечно, здорово. Я помнил, что в одной из работ Ленина была мысль о том, что именно «вооруженный народ» – не какая-то особенная группа, а *весь народ*, то есть все граждане страны, вооруженные светлой идеей справедливого общества, а также холодным и горячим оружием, могут обеспечить свою свободу лучше, чем любые государственные учреждения. Тем более, что согласно учению Маркса, государство, по мере торжества коммунистических идей, должно постепенно отмирать, пока не умрет совсем. Кстати, так ведь – и до учения Маркса – было в Америке. Люди, вооруженные кольтами и смит-и-вессонами, установили свой порядок и добились справедливой Конституции Соединенных Штатов и «Декларации независимости». Здорово! Правда, у нас от такой идеи быстренько тогда отказались...

Входил я в помещение то ли клуба, то ли «агитпункта», где располагался РОМ, с интересом острым. Даже как-то очень быстро опять улетучились грустные мысли. Дело надо

делать, а не сопли распускать! Любопытно, черт побери, что они делают здесь. Вот же, стараются люди все-таки...

Маленький зал со сценой, коридорчик, несколько комнат. В коридорчике толпились ребята лет двадцати, взволнованные, возбужденные. Я услышал часто повторяемое слово: «операция».

– Ты куда сегодня? – спрашивал один парень другого.

– Да вот, операцию проводить будем. А ты с нами разве не едешь?

– На операцию? Нет, сегодня не еду. Я вчера был.

Я спросил, где у них тут начальство. Показали на дверь одной из комнат, я постучал и вошел.

В небольшом кабинете сидели три парня. Два – за столом. Один из них, черноглазый, черноволосый по-хозяйски навалился на самую середину стола, разбросав по столу руки, ясно было, что именно он здесь главный. Другой, голубоглазый, с каким-то стеснительным выражением на типично русском, прямо-таки есенинском лице, притулился рядом. Сбоку от них, привалившись к стене, расположился на стуле долговязый угрюмый парень с блокнотом и карандашом.

– Можно к вам? – спросил я.

Черный оценивающе посмотрел на меня, как-то многозначительно помедлил и кивнул:

– Заходи.

– Сядь, подожди, – добавил он, указав на свободный стул, когда я вошел. – Ну, так что тебе еще от нас надо? – обра-

тился он к долговязому.

Долговязый подумал, помусолил карандаш в пальцах.

– Ну, что ж, про Шамиля, так про Шамиля, – сказал он. – Хотя лучше бы, конечно, про кого-то из рядовых.

– Зачем тебе рядовые, вот ведь!... – недоуменно задохнулся голубоглазый и вопросительно посмотрел на черного.

– Да, Сашка прав, – сказал черный и, тонко улыбаясь, взглянул на долговязого. – Рыба без головы – не рыба. А Шамиль у нас голова. Допрашивает только он.

– Знаешь, как допрашивает! – восхитился голубоглазый и сделал уважительное выражение лица. – Воля у него, будь здоров. Как начнет свою психическую... Он может хоть час тебе в глаза, не мигая, смотреть, он мне показывал. Но только ты и минуты не выдержишь. Все скажешь! Расколешься – и сам не заметишь... А он еще и джиу-джитсу знает...

– Постой, Сашка, постой. Ты не то вякаешь, – сказал черный и улыбнулся. – Причем тут джиу-джитсу? Ему же про воспитание нужно...

Он посмотрел и на меня тоже, и я понял, что улыбка предназначалась не только долговязому, но и мне.

– Ты от Амелина? – обратился он ко мне.

– Да, от Амелина, – сказал я. – И от журнала.

– От журнала? Хорошо. А это вот – от газеты, – он кивнул на долговязого.

– Знаете, ребята, я, пожалуй, пойду, – сказал долговязый, посмотрев на часы. – Мне еще в одно место надо успеть се-

годня. К вам потом зайду. Будьте!

И он вышел из комнаты.

– Ну, так ты от Амелина, значит, – обратился черный ко мне с каким-то хитроватым прищуром.

Я кивнул.

– Он нам звонил, Саша? – коротко бросил черный в сторону голубоглазого.

– Да-да, звонил, недавно звонил, сказал, что журналиста к нам пришлет, – с готовностью зачастил блондин.

– Так-так, – прервал его черный и принялся внимательно разглядывать меня, пытаюсь, наверное, прочитать мои мысли и «расколоть». Лет ему было что-нибудь около двадцати. Может быть, с небольшим.

– Так-так, – сказал он еще и улыбнулся хитро. – Ну, что же. Есть у нас дело, мы сами в Горком звонили, просили прислать кого-нибудь из центральной прессы. Амарантов и Володина, есть у нас такие.

– Это морально разложившиеся, да, Рахим? – спросил голубоглазый с озабоченностью.

Он был, пожалуй, ровесник Рахиму, но выглядел по сравнению с ним этаким мальчиком.

– Да, Сашка, да. Аморалка, – согласно кивнул Рахим и скорбно вздохнул. – А ты журналист штатный? – спросил он меня.

– Внештатный, – сказал я и добавил зачем-то:

– В Литинституте учусь.

– Ну, так ты, значит, писатель? Значит, тем более! – И Рахим уважительно развел руками. – Тем более тебе интересно будет! Воспитание сейчас, сам знаешь, как важно. Момент такой серьезный.

Он многозначительно сдвинул брови и, озабоченно глядя в стол, побарабанил пальцами. Сашка громко вздохнул, тоже озабоченно.

– Ну, что же, – сказал Рахим, помолчав. – Началось все, понимаешь ли, с письма. Соседка их написала. В милицию. А милиция нам передала. Так, мол, и так, живет парень, двадцать шесть лет уже стукнуло, жениться пора, а он девочек к себе в дом водит. Сначала просто разных водил. А потом одна у него, будто бы поселилась. Без прописки, понял?

– Сожительствует, – подсказал Сашка.

– Да, сожительствует, – согласился Рахим и вздохнул. – Ну, что ж, сигнал есть сигнал. Берем машину как-то вечером, едем. Так и есть. Она у него. В халатике, понимаешь ли, подомашнему. Ваши документы! Тут-то и выясняется, что она, к тому же еще, и нигде не работает. Тунеядка.

– Шесть месяцев! – возмущенно вставил Сашка. – Шесть месяцев не работает, представляете?

– Да, шесть месяцев, точно, – подтвердил Рахим и вздохнул. – Тунеядка самая настоящая. За одно это уже высылать надо немедленно, а она, понимаешь ли, еще и ведет себя аморально...

– У Амарантова этого целый этаж в доме, представляе-

те? – опять вмешался Сашка взволновано.

Видимо, он, с удовольствием вновь переживал ту самую сцену.

– Ну, не целый этаж, а комнат пять у них есть, это точно, – поправил Рахим. – Дом, правда, старый. Отец у него, как оказалось, ученый был какой-то большой. Умер. Вот так.

Рахим посмотрел на меня с грустью и продолжал:

– Пришлось дело на обоих завести, никуда не денешься.

Он замолчал, а Сашка, который по мере его рассказа все больше воодушевлялся, теперь прямо-таки заерзал на своем стуле.

– Вот вы писатель, вам интересно будет, – сказал он, улыбаясь радостно. – У этой Володиной мы дневники отобрали. Так это прямо, знаете, целый роман. Почтище Мопассана! Они у меня сейчас, второй раз перечитываю. Не оторвешься! Одного она очень любила, а он ее бросил. А потом у нее было семь. Семь, представляете? И все так подробно описано, с чувством!

– Ну, не семь у нее было по-настоящему, а шесть, – спокойно поправил Рахим. – Не в этом суть. За границей бы такие дневники, знаешь... Напечатали бы, с руками оторвали. С талантом девчонка.

– Ух, с талантом! – восторженно подтвердил Сашка. – Такие описания есть, за душу берут.

– Да, написано хорошо, – согласился Рахим. – Но развлечение, я тебе скажу, полное. Душок оттуда! – Рахим пока-

зал большим пальцем куда-то за спину. – Двадцать пять лет девушке, а...

– А она сама отдала вам дневники? – прервал я его.

– Сначала не сама, – спокойно, медленно, со значением отвечал Рахим. – Когда по месту ее законного жительства приехали, у нее в комнате нашли. Тетка ее подсказала, где искать. Потом она, правда, приходила, плакала, просила вернуть. Ну, мы вернули на время, с условием.

– С каким же условием?

– А чтобы сама их потом к нам принесла. В ее же интересах. Ведь мы уже прочитали, знаем. Мы, конечно, не прокуроры, но выслать из Москвы, лишит прописки как тунеядку можем запросто. Ссориться с нами ей ни к чему. А так – подумать обещали.

– И принесла? – спросил Олег.

– Разумеется, – улыбнулся Рахим. – Если честно, то мы нарочно эксперимент проводили. Принесет или не принесет? Принесла, как миленькая. Несколько страниц вырвала, правда.

– Самых интересных, – подсказал Сашка.

– Да, самых интересных. Но мы ведь уже прочитали, – усмехнулся Рахим.

Оба смотрели на меня спокойные, уверенные в себе.

– Но ведь... Ведь... это же... Ее личная собственность, частная жизнь, – с трудом сдерживаясь, сказал я.

– Да какая там частная! – прервал Рахим. – Я же сказал.

Мы когда к ее тетке – с которой она жила, где прописана – приехали, тетка нам их и подсунула. Вот, говорит, прочитайте про мою племянницу непутевую. Мы и прочитали...

– Можем и тебе дать почитать, – сказал Рахим дружески, совсем по-видимому, не понимая моей реакции. – Тебе интересно будет, с точки зрения психологии. Ведь ты писатель.

– Психология, будь здоров! – сказал Сашка и подмигнул.

– А девочка ничего, между прочим, – добавил Рахим. – Красивая.

– В порядке девчонка! – немедленно поддержал Сашка. – Одна грудища чего стоит...

– Спокойно, – сказал Рахим и строго посмотрел на него.

– Ну, а что же дальше? – спросил я, изо всех сил стараясь не проявлять эмоций.

– Как что? – удивился Рахим. – На высылку оформлять будем. Амарантова – не знаю, за него очень уж мать хлопочет, хотя и его бы надо. Он тоже не работает несколько месяцев, тунеядец. Его трудно взять, правда, мать бурную деятельность развила. Я, говорит, фельетониста из газеты приглашу, я в ЦК жаловаться буду! А что нам газета? Тунеядец и есть тунеядец, да еще морально разложившийся. Сейчас курс Партии, сам знаешь, какой. Ну, с парнем все же не знаю, а Володину – это уж верняк – вышлем. У нее кроме тетки никого нет, а тетка и так с ней намучилась, сама избавиться хочет. Вот суд будет общественный, приходи.

– А где же мать, отец ее? – спросил я.

– Отец, будто, давно их бросил, а мать умерла, – сказал Рахим.

– Спилась мамаша, – добавил Сашка и улыбнулся.

– Да, мать тоже была будь здоров, – продолжал Рахим. – Нам тетка о ней подробно рассказывала. Пила, мужиков водила. Такая и дочка. Яблочко от яблони... Тетка на нее давно уже рукой махнула. Прости-господи, говорит, племянница у меня, не ночует сколько уже. Того и гляди болезнь какую подцепит. А то и промышлять начнет.

– А может уже, – вставил Сашка.

– Нет, пока нет, – серьезно сказал Рахим. – Дневник-то мы читали, там этого нет. И сигналов не поступало. Она больше бескорыстно. Из любви к искусству.

Рахим подмигнул Олегу, и оба парня захохотали.

– А в общем это все теткина инициатива, – отсмеявшись, серьезно сказал Рахим. – Сигнал есть сигнал, понимаете. Мы обязаны отреагировать.

Я поднял глаза и увидел на стене карту района. Района, который находится в их ведении. Под их наблюдением. Района, о котором они неусыпно заботятся.

Что было делать? Мальчики способствуют «курсу», выполняют свой общественный долг. Очерк о них написать? О доблестных «партайгеноссе» в Советском Союзе! Но ведь смешно и думать, что такое «пройдет». Мальчики ведь стараются...

– Подумаю, – сказал я с трудом. – У меня другая тема, но

я подумаю.

И встал, чтобы идти.

– Ну, а насчет дневников звони, если интересно, – дружески улыбаясь, сказал Рахим.

– Звоните обязательно, я принесу! – добавил Сашка.

Наконец, я вышел на улицу, на воздух. Шел, машинально почему-то оглядываясь. Ехал в метро, ёжась, как на ветру. Укатали Сивку, совсем укатали...

И вот очутился, наконец, в своей комнате – в коммунальной квартире, с тонкой дощатой дверью и хлипким замком. Ни крепостных стен, ни пулеметов, ни гаубиц. Они и ко мне могут приехать запросто, если захотят. Ведь формально я тоже «тунеядец», потому что официально нигде не числюсь уже несколько месяцев. И гости ко мне приходят – вот же, были совсем недавно ребята, а Антон с Лорой на всю ночь оставались. И Лора приходила потом. А раньше Регина да и другие иной раз. А потом иди доказывай... И не эти пареньки, так другие. Да, я учусь в институте, но на заочном отделении, а потому обязан работать.

– Вы на какие средства живете, товарищ? Занимаетесь частным предпринимательством, да?! А вы знаете, что мы вас на сто первый километр от Москвы можем выслать и прописки лишить? А уж в моральном отношении – тем более. «Пьянки-блядки» у вас бывают, соседи говорят... А еще студент и корреспондент!

«Берем машину как-то вечером, приезжаем»...

Тонкая, деревянная, такая ненадежная дверь. Сосед, который давно уже наблюдает за моей фотографией... Не говоря уже о том, что гости и на самом деле приходят и действительно спиртные напитки употребляют.

– *А почему вы, гражданин, ходите с тазом, в котором полно фотографий детских? «Частнопредпринимательская деятельность», видите ли! Запрещено законом! А на государственную работу от звонка до звонка почему не ходите, а?*

«Мы нарочно эксперимент проводили. Принесет или не принесет? Принесла, как миленькая»...

«Человек проходит как хозяин необъятной Родины своей...» – зазвучали в голове до боли знакомые строчки из песни.

12

Утром я поехал в библиотеку, в читальный зал.

Взял что-то из периодики – журналы – и «Семью Тибо» Дю Гара. Алексеев как-то – в самом начале – сказал, что неплохо, если бы мой очерк был похож на то место из «Семьи Тибо», где Антуан приезжает в колонию к Жаку. Он очень хвалил это место, а я тоже увлекался когда-то «Семьей Тибо», но именно это место не помнил.

Для начала полистал иллюстрированные журналы. «Огонек», «Семья и школа», «Крестьянка», «Наука и жизнь»...

Блеклые, выцветшие картинки. Советские... «Или нет у нас ярких красок?» – не в первый раз думал я.

Смотрел по сторонам, видел нарядные, пестрые платья девушек, их живые милые лица, глаза. Стоял шорох от множества переворачиваемых страниц, отодвигаемых стульев, покашливаний, шагов. Кто-то сдержанно засмеялся. В окна светило солнце.

Вот идет девушка, проходит мимо... Улыбнулась кому-то, и сверкнули глаза, золотятся на солнце волосы. Очаровательная стройная фигурка... Вот же, вот она жизнь, даже здесь, в читальном зале, где положено уткнуться в книгу и соблюдать тишину! А за окнами – тем более: деревья и весеннее небо, солнце, и птицы поют... Апрель... Жизнь!

Наконец, взялся за Дю Гара. Не сразу нашел то самое место, о котором говорил Алексеев. Но когда нашел и начал читать, то очень скоро почувствовал, как это здорово.

Там действительно очень ненавязчиво выражена боль за Жака, мальчика, которого умышленно пытался сломить отец – он так и говорил: «Надо сломить его волю». Чтобы сделать это, отец поместил сына в колонию для несовершеннолетних. И вот однажды приезжает к нему его старший брат Антуан, и они выходят из стен колонии на прогулку, ходят по лугу и лесу, забредают в город. Жак держится изо всех сил – он знает, как бесполезно жаловаться Антуану: переубедить отца невозможно. И Антуан видит вдруг перед собой нового Жака. Сломленного.

А ведь раньше Жак был порывистым, упрямым, веселым, очень живым мальчиком, за что многие и любили его. Многие, но не отец.

Лишь в конце прогулки Жак не выдержал, разрыдался и рассказал брату, что он привык уже, привык к жизни в колонии, она ему уже почти нравится, и он не вправе жаловаться на надзирателей, потому что они по-своему хорошо к нему относятся. Хотя и заставляют рисовать для них смешные порнографические картинки, которые, как это ни странно, хорошо у мальчика получаются. Да, он помнит о прошлом, но он ПРИВЫК. И ему не хочется назад. Отец своего добился.

И я вспомнил... У нас во дворе под моими окнами есть маленький садик, а в нем скамейка. Однажды я сидел на этой скамейке рядом с соседкой, у которой на руках был котенок. Этот котенок отличался тем, что не реагировал на боль, никак не проявлял недовольства, когда его мучили. Соседка чего только с ним ни проделывала: выкручивала лапы, щипала, дергала, с высоты бросала на землю, за одну лапу держала на весу, за хвост, за одно ухо. А он только жмурился и подчинялся. Меня самого удивила тогда моя резкая, слишком сильная реакция – аж затрясло. На соседку, конечно же на соседку я разозлился крайне, но ведь и на котенка тоже! Ему, котенку, что, нравится все это, что ли?! Ну, заори, запищи, глаза выцарапай мучительнице, шипи, плюйся, мочись... Но не терпи же! И уже не жалко было котенка, я даже ненавидел

его... Как же так можно?!

Я тогда отнял котенка у соседки, поставил на землю, ждал, что он убежит. Но он никуда не убегал. Он ждал... А соседка смотрела на меня, улыбаясь, и даже как будто бы с торжеством. И с насмешкой. Она опять взяла котенка покорного, и опять начала выворачивать ему лапы глядя на меня и улыбаясь. А котенок жмурился и подчинялся...

Место из «Семьи Тибо» теперь вызвало похожее чувство.

Я дочитал кусок до конца, встал и начал ходить по залу, по коридорам, среди людей. Господи, что же происходит со всеми?

И вспомнилось еще одно – сон, который впервые при снился мне несколько лет назад, но потом в разных вариациях повторялся.

Толпа парней – их было семь или восемь – встала в кружок, а в кружке была девушка. Девушка была почему-то раздета, совсем нагая, и парни толкали ее от одного к другому, они били ее, щипали, плевали. Как большая белая птица металась она в кругу. А я хорошо видел все это, как бывает во сне, видел беззащитное тело и руки, которыми она прикрывала то голову, то грудь, то живот, стараясь хоть как-нибудь защититься. Но вот я крупно увидел ее лицо, ее большие глаза. В них не было протеста, злости, обиды, а – только отчаянье. Отчаянье безнадежности, слепой животный страх. А я почему-то не мог вмешаться и вынужден был смотреть, как это бывает во сне. Свидетель... И проснулся, конечно,

с колотящимся сердцем. И до утра больше не мог уснуть, проигрывая вновь и вновь эту сцену в воображении и думая: как можно было вмешаться, как? Что можно было сделать? Ведь мучителей много, а я один, и, к тому же, она ведь... Да, она не проявляла протеста, но ведь у нее не было выхода! Ее довели до такого! Я жалел ее и смертельно ненавидел этих подонков, но еще больше я ненавидел себя, беспомощность свою, бесполезность! Что, что я мог сделать?! Эх, если бы оружие – револьвер, автомат, пулемет! – с каким наслаждением, с какой радостью расстрелял бы всю эту нечисть, этих двуногих, тупых, ненавистных скотов... Но... Но нет револьвера, и... И еще одно: выход ли это? Ну, расстреляешь этих, а дальше что? Будут другие... И еще, и еще... Что изменится? Выход в чем?

Но что-то все равно нужно делать! Обязательно!

Что?

«А она сама отдала вам дневники? – *Сначала не сама. А потом... Мы нарочно эксперимент проводили...*»

А я сидел, смотрел на них и не знал, как поступить.

И в редакции у Алексеева днем, эти гранки... И с Лорой вот... И с Антоном...

Тут-то, в библиотеке, и понял я, что вот сейчас, да и не только сейчас, а – с утра, с ночи даже и вчера у Алексеева, и в РОМе – все время, не переставая, не останавливаясь, опять думал о Лоре, больше всего о ней. Все, все соединилось в ней! И девушка из давнего сна была – Лора. И Володина, чьи

дневники подло читали ребята, – тоже Лора. И даже почему-то тот маленький, не чувствующий боли котенок...

Да, да, именно! Она, она была в центре всего! Женщины... В центре сущего, в центре нашего мира... Беззащитная красивая женщина. Насилуемая, унижаемая, убиваемая. Растоптанная нежность и красота.

Да, я не представлял себе конкретно лица Лоры, не было чего-то определенного в моих мыслях, связанного конкретно с ней, но я окончательно решил, что думаю о ней, потому, как внезапно остановила на себе взгляд темноволосая девушка с голубыми глазами, идущая по коридору. Вздрыгнул, и дыхание перехватило, и сердце заныло привычно. А когда проходил мимо телефонных автоматов в коридоре, то болезненно чувствовал их даже спиной, хотя как будто бы и не собирался звонить, да и нельзя было ей звонить, некуда – нерабочий день, а дома у нее телефона нет.

И забылась «Семья Тибо», канули в бездну эпизод с котенком и сон, поблекла тревога за девушку с дневниками, уплыл в сторону Алексеев с гранками – я думал теперь о Лоре, только о ней, это было самое, самое главное, все в ней слилось, все, все, все...

Что делать? Как поступать? Что-то ведь надо делать! Надо ее защитить. А как?

Мучительно, старательно пытался я вновь и вновь вспомнить все по порядку, вновь разобраться, по полочкам разложить – может быть, хоть так что-то понять. Почему она была

холодна утром после нашей первой ночи еще можно как-то объяснить, но почему так равнодушно отказалась пойти на балет во Дворец Съездов? Почему вообще так странно все получалось – ведь если бы совсем не хотела, то не пришла бы ко мне тогда и уж тем более не отдалась бы... Откуда же ее равнодушие, холодность... Неужели потому только, что не по высшему классу в первый раз все получилось? Но ведь это в первый раз, в первый раз только, глупость, глупость, глупость!

И еще вопрос: почему с такой настойчивостью пытался я убедить Антона?

Конечно, я хорошо знал, как ЭТО важно, как меняются женщины, если... Мне-то ладно, мне в тот момент не это нужно было, я только хотел ее удержать, потому что... Ведь само по себе это такая чепуха, это так легко сделать! Если, правда, не очень волнуешься... И ничего космического не происходит, так легко и просто это, если спокойно, если уверенно. И научился ведь вроде бы, вот же в чем дело, ведь научился!

Да, в том-то и дело, что...

13

Моя первая любовь – тоже Лора – не стала и не могла стать, конечно, моей первой женщиной, это ясно. Мне было двенадцать, а ей одиннадцать.

Моя вторая любовь, как сказано, была в девятом классе школы, нам по шестнадцать. Физически я уже был готов, и она тоже была готова; не мы позаботились об этом – природа. И многие ребята из класса (и некоторые девочки, разумеется) уже ЗНАЛИ, уже получили его, этот подарок природы, освоили, испытали, а я еще нет, хотя мне, отличнику и авторитетному среди ребят парню, стыдно было не знать. Вот я хотя и делал вид, но не знал. Да, я не знал совершенно, понятия не имел, мне неловко было даже приблизиться, я и поцеловать-то смертельно боялся, даже танцуя с ней едва в обморок не падал. Она была девочка, а я мальчик, она была таинственная и чудесная, из снов, из мечты, а я...

О, воспитатели о нас позаботились, да, конечно! Они постоянно и неустанно, настойчиво очень внушали нам всем, что грех это – приблизиться, целовать и, не дай-то Бог, если... Гадость, нехорошо, нельзя, если не в браке, и дети бывают от этого, и болезни, вообще ни к чему. Не по-советски это. Ну, разве что в браке законном, не глядя, и чтобы детей заводить – для блага и процветания родного, самого-самого справедливого в мире государства. И мы боялись. Не очень-то верили им, взрослым, но боялись, хотя сны-то, сны еще как рассматривали и какие сны, а то и картинки, фотографии – чаще всего в туалете... – подчас очень некрасивые, неприятные, унижительные фотографии, да и запахи туалета тут же, а все ж интересно – волнует, волнует...

Бывало, конечно, что и рукам волю давали исподтишка,

наедине с собой – от природы куда ж денешься, природа выхода ищет, свое требует, не считаясь с официальными правилами, традициями и постановлениями. И мальчики наедине с собой баловались, в стыдный, но блаженный экстаз входили тайно – и во сне, и наяву, – руки пачкали и белье, и девочки по-своему тоже, а вот как вместе встречались, так дух захватывало – страшно! – и не знали, куда теперь руки свои грешные, неуклюжие деть.

А она, любовь моя чистая, Светлана, была как раз нормальной девочкой, может, и слушающей взрослых, но не так, как я, отличник, сиротка бедненький, верящий взрослым, послушный, примерный. И ни мои, ни чьи-то еще обмороки целомудренные, ее, любимую мою, конечно же, не устраивали. Нормальная девочка она была, здоровая – и правильно. И я, наконец, стал ей скучен.

Да я и себе стал скучен, противен, я возненавидел свое целомудрие душевное, я как на героя смотрел на парня из нашего класса, который, разумеется, уже ЗНАЛ и знал очень хорошо – ему это было запросто, – хотя официально-то он у учителей в троечниках ходил и хулиганах, в отличие от меня, круглого отличника с пятеркой по поведению и, видите ли, сироты. Он, парень этот, знал и умел и спокойно смотрел на мое неприкасаемое божество – нормальная девочка была для него моя Света, нормальная... Он ли, другой ли – но кто-то взял ее однажды за нежную руку, а потом и... Ну, в общем, потерял, потерял я свою любовь, хотя и получил в

тот год пятерку по поведению, как всегда, но это была подлая ложь, потому что главному-то меня так и не научили. Поведение мое было на самом деле дурным, рабским, скотским, послушным – я только потом понял, что меня предали, как и многих, очень многих других, как большинство – то есть фактически всех! Уродами, несчастными, послушными пытались сделать всех нас, управляемыми зомби, подданными «хозяев», холоуями политиков и начальников, покорным «населением» ограбленной, изнасилованной страны.

Годами, годами потом снилась мне моя первая потерянная любовь...

И все-таки хватило. Хватило мне ума и совести, слава Богу, на то, чтобы понять. Понять, что не она, не любовь моя, была виновата. Не очаровательная и явно симпатизировавшая мне девочка Света. И не тот, с кем она, очевидно, была... А я сам. Только сам, хотя и помогли мне в этом заботливые воспитатели, которые, конечно, конечно же, хотели мне только добра! Сами не поняли ничего в этом мире, сами несчастными, недотраханнами были всю жизнь, сами из ничтожества так и не выбрались, а нам, молодым, желали – того же!

И понял я, и решил научиться, обязательно научиться, во что бы то ни стало научиться и ЭТОМУ – стать, может быть, даже мастером, тренированным, сильным мужчиной, жильцом в этом мире, тренированным, тренированным! У самого себя должен был я получить пятерку по поведению, а

не у тусклых, лживых учителей! Раз они, взрослые, не могли стать настоящими учителями, значит – я сам. Иначе не жизнь.

Правда, если подумать, то... Ведь и их, взрослых, обманули тоже. В свое время обманули и их – так уж у нас повелось.

Но почему? Почему? Почему?! Да, этот вопрос не давал мне покоя...

Давно догадывался: старые и беспомощные создали «Завет целомудрия», вовсе не святостью, вовсе не истинным целомудрием души руководствуясь. Ибо как можно Божественное Создание – Женщину – считать союзницей Дьявола и блаженные чувства любви и соития, дарующие жизнь каждому человеку на Земле, квалифицировать как грех? С какой стати? Чувством СОБСТВЕННОСТИ руководствовались мудрецы-старцы, беспомощностью тел своих, обидой на старость и невнимание женщин! Сами-то, как известно – при первой возможности, – хоть как-нибудь, хоть пальцами, хоть губами слюнявыми, хотя бы и глазами только, но – коснуться, коснуться вожденного тела таинственного, красоты божественной, влекущей неудержимо... Не о святости думали они вовсе, не о душе! О ТЕЛЕ мечтали, беспомощные, слабеющие развалины! И – искушали «малых сих»! ИСКУШАЛИ – потому что лгали безбожно.

Ну, в общем, я избегал женщин доступных, с которыми преодолеть барьер было бы просто – это был бы легкий путь, но это унизило бы мечту, – и я выбирал только тех, которые

по-настоящему нравились, которых готов был любить, перед которыми преклонялся. О, именно это и было самое трудное! Ведь и они, как и я, были обмануты... И нельзя, ни в коем случае нельзя было любимую унижить, оскорбить как-то стремлением «к этому», не уважать тем самым ее «человеческое достоинство»... Оглушенные, ослепленные, играли мы в дурацкую, нелепую игру самолюбий, упреков, обид, копошились в неведении своем, в растерянности и страхе. Какая уж тут любовь! Расставались, так ничего не постигнув, не научившись и не поняв – и хорошо еще, если все обошлось, если «не залетела» она по глупой случайности, не вынуждена была либо одиночкой остаться с ребенком на руках, либо сколотить наскоро «брак». Верно сказано кем-то: хорошее дело браком не назвали бы!

Так что... Но природа-то своего требовала все равно, не молчала природа! Ах, какие сны видел я иногда, какие волшебные сны! Светящееся, прекрасное тело девушки, женщины, округлые, нежные формы, неземные, бесплотные как будто, но страшно волнующие, неодолимо влекущие и... дающие порой во сне облегчение. Да, да. Мучительная – возвышающая, но и подавляющая, поработщающая красота, связанная, увы, с гормонами... Боже, Боже, как невыносимо притягательно это и как недоступно! Врут, врут ребята, которые грязно хвастаются, врут мерзкие фотокарточки и дрянные картинки, врут! Не может быть, чтобы это было так безобразно, так некрасиво, буднично, нелепо – ведь во сне-то,

во сне... Да, разрядка телесная, ну и что? Ведь – ошеломляющие улыбки девочек, их сияющие глаза, трепет божественный, восторг, волнение, стройность божественных тел под одеждой... Не может быть, не может быть, чтобы ЭТО было грязно и нехорошо, врут взрослые, врут! Но что же делать? Как совместить одно с другим, как наваждение преодолеть?

А еще, ко всему прочему, проблема одежды – бедный сиротка, живущий на иждивении сестры! – откуда было взять мне приличный костюм? А это казалось очень, очень важным! И даже на то, чтобы пойти куда-то в театр или на концерт у меня ведь тоже не было денег... А это унижительно, это считается стыдно... Да, все, все, словно сговорившись, пытались обмануть и унижить меня и таких, как я, всем почему-то нужно было, чтобы я – а желательно, чтобы и все другие – подчинялись, подчинялись, подчинялись...

Вот что нужно было тем старикам – ПОДЧИНЕНИЕ! Чтобы им, умирающим, разлагающимся уже, принадлежало НА ЭТОМ СВЕТЕ как можно больше, а желательно, чтобы вообще все, ВСЕ! А молодые красивые женщины – разумеется, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. В проповедях же своих нагло твердили – твердят и сейчас! – обратное. На Том Свете, мол, будет Божий Суд, и что касается женщин, тем более молодых и красивых – так это блуд! В них Дьявол сидит, особенно в ТОМ месте, так что бойтесь, рабы Божьи, того места, как Геенну огненную! И как-то стыдливо умалчивали – и умалчивают, – что из ТОГО места, между прочим, каждый из нас

и из них тоже когда-то на Свет Божий явился...

О, как же рад я, что рано поверил чувствам своим, данным природой, а не тому, о чем твердили ему трусливые, лживые «взрослые»! И понимал, что главное – это преодолеть свое ничтожество, беспомощность свою, обязательно, во что бы то ни стало преодолеть. И – САМОМУ УЗНАТЬ! О, эти волшебные сны... Лучшие сны, пожалуй, в жизни! Но просыпаясь, я опять тонул в тусклости и печали, несчастный, слабый, запеленутый в серую липкую паутину...

И уже порой начинало казаться, что и на самом деле все в этом противно, низменно, грязно, и лгут сны, лгут картины художников, лгут стихи, книги... В реальности такого, наверное, нет... Пот, грязь, туалет, запахи... Разве что вот только искусство. И особенно музыка... Но она ведь нечто потустороннее, не от мира сего, а вокруг... Да, общественный туалет и отвратительные картинки – вот символ бытия человеческого! Вонь и смрад коммунальной кухни, ругань, дебилские пьяные песни и вранье дикторов по радио и по телевидению, тупые, напыщенные речи вождей, стрелялки и мордобой, войны, разборки... А близость, соитие с женщинами – сплошные муки, трусость, ложь, грязь, болезни, «последствия». Скользкие, липкие выделения... Действительно – пол! По которому ходим, на который сорим, плюем...

И все же. Хотелось, хотелось ЭТОГО, и девочки нравились все равно!

И вот, наконец, это сбылось, свершилось – наконец-то, да!

...Она была ровесница мне, но далеко не ровня, она-то все знала, как мне стало ясно потом, и знала очень даже неплохо, но ее знание – это, как я понял, был ее КАПИТАЛ. Она, видимо, считала его капиталом... Ясно, что ее научили этому, и она – поддалась...

Больше-то ей нечего было мне предложить – во всяком случае, она, очевидно, глупая, так считала, – и она решила свой капитал мне подороже продать.

Поняв, убедившись, что я *знанием* не обладаю, она и решила сыграть. Ведь она была «иногородняя», то есть «сни-мала угол» в Москве, а я был неженатым, и у меня была какая-никакая комната. Пусть всего-навсего в коммуналке, но комната все же. И прописка.

Неприятно вспоминать и думать об этом, но так, видимо, получилось, что охотничий азарт проснулся в ней, когда она в первую же нашу ночь поняла... Поняла, какой я неопытный, чувствительный, целомудренный, несмотря на свой уже давно мужской возраст, какой я наивный, трепетный, порядочный, честный...

Одним словом – лох.

Да-да, она осталась у меня в первую же ночь после знакомства, она очень понравилась мне. Ну, и конечно, я вол-

новался страшно, я ведь вообще не знал, как это делается, был ужасно скован, стыдно было мне показать свое незнание, стыдно сказать об этом, даже показать это, а она... Да, она, очевидно, быстренько поняла и тотчас сориентировалась, она ловко ускользала в нужный момент, не давая проникнуть в святая святых и делая это так, что я не понимал ничего, стыдился. И рукой даже боялся дотронуться...

И так было не только в самую первую нашу ночь, но и потом еще несколько раз... Как-то она сказала даже, что, мол, ничего-ничего, если я женюсь на ней, она быстро меня научит и... вылечит! Да, так и сказала: **ВЫЛЕЧИТ!** Как будто я и на самом деле был нездоров.

Господи, что ж теперь удивляться!

Но вот...

Уже прошло самое большое сердцебиение, «пиковый момент», уже растратил я, выплеснул, как всегда не по назначению, свою силу, святую жидкость, так и не проникнув в «святая святых», в недра таинственной божественной колыбели – безобразно заросшей, правда, и неопрятной, – выплеснул то ли на живот ее, то ли просто на простыню, и лишь по инерции продолжал еще копошиться, в растерянности и неуверенности – больной ведь, больной...

Но тут почему-то всегда напряженные ноги ее вдруг расслабились – она решила, видимо, что окончательно все, я готов, и можно ей отдохнуть. А я... В тот раз я не скатился с нее сразу, не улегся беспомощный, рядом, а почему-то про-

должал как бы пытаться. И орган мой несчастный еще не совсем поник, а был отчасти все еще в силе, а у нее теперь было все смазано. И вдруг внезапно, как бы само собой, неожиданно и для нее, и для меня самого, я – проник...

Да, я сразу понял тогда, что это ТО САМОЕ. Неожиданно произошло, но я – ПРОНИК... То ли она бдительность потеряла, решив, что я уже не опасен и выдохся, то ли просто-напросто устала, но...

Это было нежно, как поцелуй, как легкая материнская ласка. Это был акт природы, добрая ее улыбка, внезапный подарок мне. Долгожданное и такое простое проникновение! Как солнечный зайчик, легко погладивший, ласкающий кожу. Живая, нежная бездна приняла чувствительнейшую часть моего тела в свои таинственные теплые недра...

Господи, и всего-то? Так просто? Без геройской натуги, мучительного преодоления... Цветок, нежный теплый цветок...

Но – СВЕРШИЛОСЬ! И когда это произошло, она и во все расслабилась. Но не любовным расслаблением это было, я четко это почувствовал. Радости не было в ней, а было... Чувство проигрыша было в ней, вот что я ощутил! А я, как никак, победил. Для меня был важен сам факт. Колдовство распалось! А она проиграла...

Вот так и состоялось мое «боевое крещение».

Она потом пыталась шантажировать меня, принесла справку о беременности, но я не верил. И так совпало, что

однажды нас с ней увидел один мой приятель. Он узнал ее, поздоровался, а потом сказал мне, что был с ней близок – в то же самое время, – и знал других, с которыми она была близка тоже. В то же самое время, когда и со мной.

Разумеется, мы очень скоро расстались.

Достигнутое с таким трудом знание, конечно, не сделало меня знающим. Вопрос остался почти открытым, и моя вторая женщина была из тех, кого я любил еще в ранней юности. Сначала у меня с ней тоже не очень-то получалось – воспоминание о первой долго не оставляло, – но... До тех пор, пока я всерьез не осознал, что **НАДО ЖЕ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ!** В конце концов я понял главное: в **ЭТОМ** нет абсолютно ничего «греховного», «низменного», «постыдного» и так далее. Ровно наоборот! **ЭТОМУ** надо **НАУЧИТЬСЯ** – точно так же, как и всему другому. И надо решительно, окончательно и бесповоротно стряхнуть с себя всю мерзкую ложь, которой наградили меня «заботливые учителя». Надо – ровно наоборот! – полюбить это, уважать это, ценить и не «разряжаться», а превращать в радость и праздник для обоих! Я взял себя в руки и – ринулся. Словно в бой... Бой вовсе не с очаровательными своими партнершами, бой с «учителями», а главное – с самим собой!

– Кто это тебя научил? – живо спросила моя «вторая», когда, наконец, свершилось у нас, так, как надо.

Минут двадцать длился счастливый процесс – и она изменилась, как по волшебству! Она стала радостной, нежной,

довольной и ласковой, она зауважала меня, исчезло ее первоначальное легкое презрение, холодность, ах, какая добрая она стала, какая хорошая! Она-то и пришла тогда на другой же день, сама пришла, чего раньше никогда не бывало, пришла без звонка!

Хорошо? Да, хорошо. Но...

Так вот же в чем дело, оказывается, с грустью тогда уже стал думать я. Неужели и правда лишь в ЭТОМ?

Другого же, честно говоря, я в своей «второй» не видел. А с Лорой... Вернулось, вернулось давнее прошлое почему-то. Потому, может быть, что очень уж подействовала на меня наша встреча.

15

...И вот тогда в ночь с субботы на воскресенье, после Ленинской библиотеки и чтения «Семьи Тибо» Дю Гара, я не видел во сне никого, ничего не видел конкретно, сны были сумбурны, мучительны, я ничего не мог вспомнить наутро. И чувствовал только, что опять происходит старое – из юности, из того печального, мрачного времени «ДО». Опять и опять, до сумасшествия, до дрожи и спазмов в горле хотел Лору. Да, да, да... Не только в этом дело, да, но и в этом тоже, и еще как! Тем более, что я понимал – это важно и для нее. И то, чем стала уже для меня Лора, совмещало все лучшее, что было в женщинах из моих представлений и снов. Да, да,

из снов тоже. Все – связано! Весь этот хаос вечеринки, Антон и Костя, пьяные поцелуи и ночь втроем – все это было не главное, а главное – ее глаза! ее слова! ее нежные губы и руки! ее божественно прекрасное тело! Да, да, тело... У меня в глазах темнело, когда думал о ней, периодически вздрагивал, и горло сжималось от стыдного, но и святого, мучительного, сжигающего желания. Проникнуть, да, да, проникнуть в бездну, по-настоящему, чтобы и она по-настоящему, чтобы был общий праздник, настоящий праздник, могучий и радостный, свободный. Чтобы заодно – вместе!

Утро и день я провел в кошмаре, белом дневном кошмаре, сам себе временами казался марионеткой и говорил, и двигался без воли, как заведенный, потому что говорят и двигаются все. Я даже брался за свою неоконченную повесть, в которой нужно было сделать пустяк, написать конец, однако не мог написать ни строчки и знал, что даже гимнастика не поможет сегодня.

Опять ездил в библиотеку, в читальный зал, опять брал что-то, читал, не воспринимая, и у меня заболела шея, потому что постоянно оглядывался по сторонам, всматриваясь в женские лица, фигуры, и чуть в обморок не упал, когда мимо прошла девушка, от которой пахнуло теми же духами, что и у Лоры. Так наверное сходят с ума, думал я. Но не мог ничего поделать с собой, потому что не было ничего определенного, я не знал ПРАВДЫ, ведь все теперь зависело от нее, от того, как она, лгала она мне тогда ночью или не лгала.

Есть у нее ко мне хоть что-то или действительно прав Антон... Неопределенность – самое страшное, потому что если знаешь, что бесполезно, нет шансов, и ты ошибся, то легче, к этому я привык, к этому все привыкают, это каждому не впервой. Отказаться, смириться, задушить в себе ростки, отрезать намертво, окоченеть, замереть, потому что надежды нет – этому тоже приходится научиться, жизнь учит, но – это-то в нас и воспитывают старательно! И если *это* – самое дорогое, жизнь сама, ее тепло, ее краски, дыхание, а ты отказываешься, то тем самым ты предаешь и себя, и другого – других! – особенно если тебе доверились, поверили, а ты... Нет, нет, нельзя просто так отказаться, нельзя! Это будет измена, предательство, поражение... Выдержать, выдержать до тех пор, пока не буду знать правду, я должен, должен, должен держаться...

И все же не раз появлялась малодушная мысль – поверить Антону! Ведь во многом он прав! Слабенько выгляжу я рядом с ней да и все ей прощаю! А с женщинами так нельзя. С ними нужно тверже! Они не понимают такого, считая за слабость, они привыкли подчиняться силе, а не уговорам, – хозяину! – а не тому, кто поклоняется им, уважает их человеческую, а не только женскую суть! Пусть грубо, но – по-хозяйски, беря всю ответственность на себя, а им оставляя лишь подчинение – вот к чему привыкли они, пусть не все, но многие, слишком многие из них, их к этому приучают! К подчинению деспоту и тирану и к поклонению им! *«Идя к*

женщине, не забудь захватить с собой плетку»...

Неужели, неужели, неужели...

Да, я знал это, знал, увы, но не мог, не хотел принять! Передышку, передышку хотя бы... Разрядку, разрядку... Нет, нет, надо держаться, держаться изо всех сил, быть верным себе, не подчиняться и природе даже! – алчущему, сгорающему от неутоленного желания телу...

Да, тяжело было тогда. Тяжело. Не даром, не даром потом проходил свои «сексуальные университеты» упорно. Сам проходил – на собственный страх и риск, никто не помогал, никто, спасибо, что хоть не мешали...

Когда же пришел тогда вечером к Сашке, соседу, спасаюсь – хоть с кем-то поговорить! поделиться хоть с кем-то! – с трудом ходил в его комнате, как под водой на большой глубине, как под землей, казалось, на меня давил потолок, он придавливал к полу, нелегко было даже просто вздохнуть – Сашка живет в полуподвале, и вся масса дома, казалось, навалилась на мои плечи, – мне хотелось выйти в окно, но окно у них зарешечено, и там темень... Я говорил что-то Сашке сумбурно, не переставая, объяснял что-то, даже невозможно вспомнить, что именно, сумбур какой-то, задыхаясь говорил и бессвязно. И страшно было, что Сашка не поймет меня – а он и не понимал, – и еще казалось, что не выдержу этой тяжести дома и всего, всего! – но не мог остановиться – сумасшествие, истинное сумасшествие! – и слова лились неудержимым потоком, и ушел я от Сашки за полночь, совершен-

но раздавленный, стыдящийся самого себя, ненормальный. А ложась спать, устроил «сеанс телепатии».

Лора, Лора, твердил я, словно в бреду, Лора, я люблю тебя, позвони, позвони сейчас же, ну, ну, ну, я жду, слышишь, пожалуйста, ты же помнишь мой телефон, он у тебя записан, ну, ну, встань, иди к автомату, опускай монету, ну!... Я жду, Лора, пожалуйста, я же люблю тебя... Ну не получилось по-настоящему сразу, но ведь получится, получится еще как. Нельзя же ведь так...

Глупости, да, понимаю. Но кто может похвастаться, что... Засыпая, как об избавлении мечтал я о сне – пусть животном, пусть стыдном – любом! любом! – лишь бы разрешившимся чем-то, облегчившим, – но опять спал в кошмаре, сны были болезненны, неопределенны, беспокойны, и они не решились ничем.

Встал утром с больной головой, с тяжестью во всем теле, обрезал и отвез карточки в сад, совершая перед самим собой подвиг, а в столовой с трудом мог есть: руки дрожали.

Был понедельник, рабочий день, и в середине дня я позвонил ей.

Голос ее, родной голос причинил новую боль – мягкий, бархатный, невыносимо женственный, но и новый какой-то опять. Не суровый, но независимый. Отстраненный. Чужой.

Она сказала, что сейчас не может, а когда сможет, позвонит лучше сама, на что я ответил, что меня, будто бы, трудно застать – с ужасом представил, как ждал бы ее звонка! – и

лучше я будут звонить сам. Если, конечно, она хочет.

– Да, – сказала она с легкостью. – Звони, конечно. У меня ангина сейчас, горло болит. Ты позвони послезавтра, ладно?

Она не сказала ничего такого, что могло бы обидеть, оскорбить или обрадовать меня. Опять ничего определенно-го! Ангина... Но она же работает, где же ангина? И в то же время...

Я пообещал позвонить в среду. Сказал «до свиданья».

И все-таки стало легче. Видимо, потому, что услышал ее голос, который как-то приземлил мечту, сделал ее по крайней мере реальной, в моем сумасшествии наступил кризис. Я по-старому думал, что отказываясь, сдерживая себя, не давая воли чувствам, теряю что-то. Но главное как будто бы перегорело, отчасти поникло. И природа временно отступила.

Поступок! Этим звонком ей я совершил поступок. И стало легче.

16

Творческий семинар в Литературном институте начался с торжественного прихода руководительницы. С ее «материнского» прихода. Она возникла в дверях аудитории, деловая, собранная, красивая и спокойная...

– Здравствуйте, товарищи. Кто у нас сегодня читает? Вы, Зайцев? Ну, пожалуйста. У Вас, что, рассказы? Короткие

рассказы. Сколько? Три. Ну, пожалуйста. Только не торопитесь и громче, пожалуйста. А вы, товарищи, делайте пометки, чтобы выступления ваши были доказательны. Где-то я положила свою авторучку? А, вот она. Ну, пожалуйста, товарищ Зайцев.

– Так. Гм-гм. Гмм! Кха. Так. Первый рассказ. Называется: «В день получки». У газетного киоска, недалеко от проходной завода остановились трое рабочих. Один из них был маленький, в потрепанной рабочей куртке, с рыжими густыми волосами и простым лицом, на котором блестели голубые глаза. Брови его...

– Минуточку, товарищ Зайцев. Погромче, пожалуйста. И не торопитесь так. Вы же сами себе вредите. Я, например, никак не могу за Вами поспеть.

– Гмм. Кха. Брови его густые и светлые были лохматые дайте мне пожалуйста «Правду» попросил он а затем опустил руку в карман и попытался нащупать мелочь но мелочи у него не было да возьмите так сказал ему киоскер старичок с добрым лицом нет как же у меня была мелочь смущенно сказал рыжий рабочий продолжая рыться в карманах вот у меня есть мелочь сказал вдруг другой рабочий который стоял рядом и протянул киоскеру монету я за него плачу спасибо тихо и благодарно сказал ему рыжий и жадно развернул пахнущие типографской краской страницы...

Дурь, опять дурь, примитив несусветный... Писатель! Тоска просто дикая – а ведь уже 3-й курс! – как перетерпеть

пару этих часов? Ведь нужно хотя бы сделать вид, что слушаешь, а потом нужно будет еще и комментировать, высказывать «добрые пожелания».

...По столу ползла толстая сонная муха. Она еще не успела стряхнуть с себя пыль с тех пор, как выкарабкалась из щели в стене около пола, где провела несколько долгих зимних месяцев. Все эти месяцы она беспробудно спала, но недавно, с неделю назад, ноги ее сами собой стали потихонечку шевелиться, муха изредка принялась вздыхать, в голове ее постепенно, очень медленно прояснялось; а сегодня утром она вдруг неожиданно для себя самой заворочалась в своем маленьком логове, завертела головой, передние ноги сами собой поднялись и долго, медленно терли огромные мухины глаза до тех пор, пока они не стали различать свет в щели – сначала совсем смутно, без всяких подробностей, а потом, наконец, мохнатые от пыли ее края, спичку, что как большое граненое бревно лежала у самого выхода, и, наконец, уже каждую пылинку, каждый волосок в ее уютном теплом логове. Свет в щели, перед которым барьером лежала спичка, притягивал муху неудержимо, ей стало неуютно на своем обжитом за столько дней месте, и она, сама не замечая как, подползла к спичке, уперлась в нее все еще тяжелой от сна головой, и, так как ноги продолжали шевелиться, толкать вперед, она почувствовала, что спичка сдвинулась со своего места, и она, муха, очутилась на полу комнаты, куда так счастливо занесло ее в тоскливый октябрьский день

прошлого года. Некоторое время она просидела так, отдыхая. В голове, наконец, прояснилось, и она уже могла пошевелить измятыми крылышками, но какая-то сила все гнала и гнала муху вперед, заставляя переступать ножками, ползти. Муха поползла по полу, а, очутившись перед преградой, которая стеной уходила вертикально вверх, нашла в себе силы приподняться, уцепиться передними ножками за шершавую коричневую поверхность, подтянулась, заработала всеми шестью конечностями и полезла вверх, автоматически, не думая о том, как это у нее получается. Проползла даже немножко вверх ногами по некрашеному дереву, обогнула край столовой доски и выбралась на обширное, обитое коричневым дерматином поле, остро ощущая его приторный химический запах. Она ползла и видела над собой огромную живую массу человека, чувствовала лицо его, дышащее теплом.

Этот человек – я. Так интересно смотреть на лохматое, пыльное, крылатое существо. Весна! Просыпаются мухи...

– На пожалуйста спасибо тебе большое с чувством сказал рыжий рабочий возвращая монету человеку который его выручил сегодня утром раньше они были совсем не знакомы... Гм! Кха, гм... Второй рассказ называется стенная газета...

Взлетит или не взлетит? Интересно, а если ее потрогать? Нет, не взлетит. Не проснулась толком. Какого черта притащилась сюда? Хоть бы от пыли отряхнулась сначала. Противная до предела. Фу.

– Пожалуйста, помедленнее, товарищ Зайцев. Вы опять разогнались. Не волнуйтесь так.

– Кха. Нет сказал он и отошел неужели так и не выйдет этот номер газеты подумал петров ведь праздничный номер годовщина...

Огромный шестигранный пластмассовый стержень опускается на муху сверху, но он не убивает, не прижимает ее, он медленно и упорно давит ее в бок, толкает, сбивает с пути, муха даже не осознает, какой опасности подвергается, она только изо всех своих еще слабых сил цепляется ножками за шершавую поверхность дерматина, но коготки ее не выдерживают напора, скрежещут, она оказывается в стороне от своего пути. И все же она не сброшена, не раздавлена, только бок и левое крыло слегка помяты. Муха совсем не чувствует боли. Стержень удаляется, исчезает в пространстве, и муха, передохнув, ползет опять, смешно переставляя непослушные ноги. Вдруг она ощущает нечто подобное землетрясению: стол вздрагивает, вокруг что-то с грохотом двигается, мгновенно появившийся опять сверху стержень сбрасывает муху со стола – она летит в неведомое, падает на пол, вокруг становится шумно.

– Минут пятнадцать курите, не больше, товарищи, чтобы нам не затягивать.

Коридор. Зайцев нервничает, папироса мечется у него в губах, он с опаской поглядывает на всех. Но никто нарочно не говорит ничего о рассказах – как будто это не их будут

сейчас обсуждать, говорят о погоде, о новостях, о том, что неплохо бы поехать на рыбную ловлю по последнему льду или во время паводка. Кто-то собирается на охоту, меня приглашают Круглов и Тапкин. Мы все смеемся, говорим какую-то чепуху, сдерживаемся, делаем вид.

– Нет-нет, я не курю, спасибо...

Боже, Боже... Бедный я, бедный, все мы бедные – примитивщину эту, писанину досужую еще и обсуждать...

Я стою в коридоре, все мое существо рвется на волю – на улицу, домой, домой, но я же студент – да еще 3-го курса уже! – я вынужден, а то ведь...

Опять, опять потерял день, господи, кому это нужно, зачем все это, думаю с досадой, зачем ты пишешь такое, Зайцев, неужели ты веришь, что кому-то это действительно нужно, твои микрорассказы, микромораль, ты, что, на самом деле веришь в эту чудовищную чепуху, скуловоротную скуку, сам ты живешь неужели этим, ведь это же глупость, не нужная никому жалкая ложь, на кой черт ты делаешь это, Зайцев? Ведь тоже, небось секс-проблема не решена – я вижу, какой ты робкий, – да и не только это, какие сны ты видишь, Зайцев? О чем ты думаешь наедине с собой, чем мучаешься – неужели этим? Неужели тем, как один рабочий дал или не дал другому рабочему две копейки взаймы на газету? Ты же представитель, ты же наследник великой русской литературы, ты же совесть эпохи, Зайцев, как и все мы – ну если бы не получалось, ладно, это бы простительно, но пробовать-то,

но пытаться-то мы ведь должны, иначе зачем же, зачем же все... О, господи, мы все грешны этим, что же это за жизнь...

Из тебя, Зайцев, из нас... Из большинства – да, да, сделают редакторов, которые будут гробить других, потому что сами не понимают, не слышат, не могут, не хотят, боятся, ах, Зайцев, ты, может быть, и неплохой человек, но зачем же ты лезешь, тебе что, деньги нужны, да? деньги? За лживую исповедь – деньги? За дешевку – деньги? А, извини, ты, может быть, от души хочешь помочь человечеству, на горло собственной песне наступаешь, «как Маяковский» – ты хочешь проповедовать великие наши идеи – так, да? Партия велела? Пишешь не о том, что думаешь, а – что нужно, да? А кому нужно, ты не задумывался, Зайцев? Две копейки взаймы – это проповедь идеи, да? Праздничный номер стенной газеты, где будет написано неизвестно что – скорее всего, прописная мораль и холуйство перед властями – это борьба? А как с тем, чтобы женщины, да и мужчины, не продавали себя, чтоб преступлений не было, войн не было, чтоб люди лучше стали – как с этим, Зайцев, что ты думаешь по этому поводу? А, минутку, минутку... Может быть ты... Может быть, ты и на самом деле так думаешь – как пишешь? Может быть, ты на самом деле такой, искренне? Ты хороший, ты безобидный, ты спокойный, ты «толерантный», как теперь говорят, у тебя нет претензий ни к кому, ни к чему, все хорошо, тебя не надо трогать, ты – «за»... Но я-то, но я-то почему должен слушать, а потом еще и высказываться об этой муре, мне скуч-

но, ну тебя к черту, я домой хочу, о, боже мой, домой, домой, скорее...

И вот результат. Рассказы студента Литературного института – Зайцева. В них нет суффиксов «вша» и «щий» (так рекомендовал М.Горький), нет «сумбура» (так указывали очень многие наши учителя, чтоб было ясно все, конечно, народу), нет просторечных выражений и профессиональных терминов (очень многие редакторы возражают), нет длинных периодов и бесконечных «чтобы» и «потому что» (как у «архаичного» Л.Толстого), нет «телеграфного стиля» (Хэмингуэй), нет длинной и утомительной «необработанности» (Ф.Достоевский), нет «заумности» (Фолкнер), нет темы лагерей, нет секса, нет идейных ошибок и заблуждений, нет... нет... нет...

Они лаконичны. Правильны. Идеино выдержаны. Они – есть!

– Ну, товарищи, кто хочет высказаться? – тяжело вздохнув, спрашивает руководительница.

Зайцев сидит красный, потупившись. Он ждет. Он мучился, создавая свои шедевры, может быть, не спал ночей. Шутка ли: добиться того, чтобы в рассказах не было ни того, другого, третьего, пятого, десятого... И чтобы в то же самое время они все-таки были. Адова работа. И теперь Зайцев ждет решения своей судьбы. Она в наших руках.

Ксения Владимировна привыкла к пассивности «семинаристов», и она вызывает нас по очереди. Как в школе.

– Товарищ Чашкин, – обрушивается на первую жертву указующий перст. – Ваше мнение?

«Что говорить? Как оценить?» – лихорадочно думает Чашкин, и это прямо-таки читается на его мгновенно покрасневшем лице. Он быстро двигает перед собой ручку, листки с записями, встает...

Чашкин, Герой Советского Союза, второкурсник. Сорок лет с гаком. После войны провел несколько лет в лагерях. Реабилитирован и награжден. В невропатологической практике есть такая операция: лоботомия. Через глазницу, стараясь не повредить глаз, вводят скальпель в лобный отдел мозга и наугад отсекают лобные доли – вместилище интеллекта – от полушарий. Человек после этого становится очень спокойным. Безобидным. Чашкину не делали лоботомию. Его просто подержали в лагерях. За анекдот. Или за то, что, проявляя героизм, вышел из немецкого окружения на войне. Скорее – второе, конечно, – за анекдот теперь бы не наградили. Надо отдать ему должное – Чашкин не пессимист. Он любит пошутить, посмеяться. Он очень добрый. И рассказы его оптимистические и добрые. На пользу. Не о лагерях, конечно. И не о чем-нибудь этаким. Просто оптимистические. Как у Зайцева. Как у многих из нас. О нашей счастливой, безоблачной жизни. Где все люди такие хорошие, такие добрые, отзывчивые. Где навсегда ликвидирован антагонизм классов, где нет никакой почвы для преступлений, где все главные проблемы решены надолго вперед, где – «стабиль-

ность»... Лицо Чашкина – большое, отечное, доброе, с расплывшимся носом и маленькими красными глазками, очень похожее на голову большой старой мыши. Жалко его, конечно, жалко, но зачем же он... Да, он не рвется читать на семинаре свои рассказы – чувство реальности у него все же осталось... – но сейчас ему все равно нужно выступить, необходимо. Таков порядок. Так положено, и если не будешь выступать, можешь не получить зачет. А зачеты всем нужны, потому что все хотят закончить институт и иметь диплом о высшем образовании. Чтобы работать в редакции, например. И сейчас Чашкину нужно выступить, необходимо. И высказать свое мнение. Свое. Он выступает первым, и сослаться не на кого. Хорошо тем, кто после. Можно так сказать: здесь уже обо всем говорили, я присоединяюсь к мнению предыдущих товарищей... Но Чашкин первый, и ему некуда деться. Выбор преподавателя – пал!

Выступает товарищ Чашкин!

– В рассказе... В первом рассказе автор показал, как у рабочих пробуждается рабочая совесть... – мямлит Герой Советского Союза. – На примере... На том примере из жизни, как они получают газету у киоска. Это маленькая новелла, набросок. В языке, правда, есть неточности, но, в общем, рассказ хорош. Добрый рассказ, полезный... Другой рассказ...

Постепенно Чашкин воодушевляется тем, что он говорит и тем, что никто не перебивает его, он уже как бы входит

в роль – это ведь только начать трудно, потом легче гораздо, как во всем... Но когда Чашкин кончает, то роль как бы сходит с него, и, красный, распаренный, чувствующий себя, судя по выражению его лица, ужасно, он робко поглядывает на нас, следующих: «Что, может быть, я не так сказал? Поправьте меня... Я не хотел. Что делать, ребята. Но я старался говорить то, что думал, честно, я ведь не сказал ничего такого, чтобы...»

А ведь звание Героя не присуждают зря. Тем более реабилитированным. Какой же подвиг совершил он когда-то? И что произошло с ним теперь? И что же – о, господи! – что же происходит со всеми нами, думаю я опять с горечью...

– У вас все, товарищ Чашкин? – вздыхая и с искренним сочувствием глядя на Чашкина, спрашивает руководительница.

– Да, у меня все, как будто... – растерянно мямлит Герой и садится.

– Кто еще хочет высказаться, товарищи? – привычно, стараясь вложить бодрость в свой вопрос, обращается ко всем Ксения Владимировна. – Ну, тогда Вы, товарищ Тапкин.

Медленно поднимается со своего места Тапкин – высокий бородатый чуваш.

– Нуу... В этих вот рассказах, эта... Автор хотел показать... Сказать о рабочей совести, так? Мне – эта – понятна идея рассказов, верно? Но вот как она, эта, выражена... Тут не всегда все...

Ему тоже под сорок. Пишет он хорошо, гораздо лучше, чем говорит – хороший стиль, хорошие описания природы, есть образы, настроение. Был на фронте, многое знает. И довольно неглуп. Но тоже пишет «оптимистически». Вынужден. Иначе в редакциях не возьмут.

...В пустыне идет караван верблюдов, и мимо устало шагающего путника тянется однообразная волнистая равнина. Кричи, сколько хочешь – голос твой, тусклый и слабый в этой жаре, проглотят сухие пески, разве только верблюды поднимут свои печальные головы, но тут же вновь опустят их. Жара, как хочется пить, боже. Искупаться бы. Завтра среда. Позвонить Лоре? Часов в двенадцать?... Нет, после обеда лучше. Да, часа в два, в три.

– В языке очень много неточностей. Я сначала пытался записывать, но потом просто устал. Мне кажется, Зайцеву нужно еще как следует поработать над этими рассказами.

«Рассказами», господи! Это – Круглов. Не по существу, но хоть не хвалит. Хороший парень Круглов. И на том спасибо. Огромное. Но что я скажу? Что? Зайцев – маленький, сжавшийся в комочек, сидит, как затравленный зверь. Зверек. Зайцев.

Ты, Россия моя, великомученица! – по ходу дела сочиняю я, чтобы хоть чем-то отвлечься. – В имени светлом твоём грезится-чудится... Что-то холодное, что-то русалочье, странно-красивое, сказочное... Ты, Россия, Россия моя, женщины сильные...

Мы все были в положении Зайцева. И я, разумеется, тоже. На первом же курсе, на втором, кажется, «обсуждении» читали мои рассказы. О природе, о рыбной ловле, о девушках, о красоте. Они не были опубликованы – из журналов их мне возвращали, говоря, что они якобы «ни о чем», – но именно за них – в рукописи – меня приняли в Литинститут. Хотя творческий конкурс был – 40 человек на место. Весьма одобрил их завкафедрой творчества, который вскоре умер, и один из преподавателей, но он вел другой семинар. На «обсуждении» же мои рассказы раздраконили под чистую, совершенно так же, как журнальные редакторы, утверждая, что они «ни о чем», что красота природы и девушек – это несерьезно. Я настолько был ошарашен, что на самом деле хотел из института уйти. Но потом решил, что нужно наращивать носорожью кожу и рискнул все же послать на кафедру творчества одну свою повесть – для «зачета по творчеству». Хотя повесть тоже была о рыбной ловле и красоте. Зачет мне поставили, и я стал наращивать кожу. Теперь же я написал повесть о заводской жизни – разумеется, тоже по-своему, – но ее здесь пока что не обсуждали.

– Ну, а Вы, товарищ Серов? Ваше мнение? – Голос преподавательницы настиг и меня.

Внимание!

– Мне рассказы Зайцева не понравились. Очень мелко все. Неинтересно. Но здесь, собственно, все уже сказали. Я думаю, не стоит повторяться. Дело в том, что все это не се-

рьезно. Мне кажется, о таком писать не стоит.

Уфф. Я сажусь. Я выпалил свои слова в несколько секунд. Зайцев теперь будет ненавидеть меня несколько месяцев. Как минимум. Впрочем, это настолько не имеет значения, что... В имени светлом твоём грезится-чудится... Грезится-чудится... Ну, ну. Ну же. Хватит. И колышется яркое знамя...

– Вы хотите что-то сказать, Соловко?

– Да я, собственно, несколько наблюдений. По существу рассказы хорошие, но вот язык...

В имени светлом твоём... Ну же, ну. Хватит, господи боже мой, из последних сил про себя твержу я..

– Я согласен с выступавшими, да, – мямлит Зайцев, и краска постепенно сходит с его лица. – Надо еще поработать над этими рассказами, я понял. Я недавно написал эти рассказы... Буду над ними работать...

«Рассказы»! О, господи. Он все-таки честный. Он признает критику. Он продолжит работу. Он не боится трудностей. Он продолжит нелегкий литературный труд. Простой рабочий парень, трудолюбивый и талантливый. Милый парнишка. Биография проста и чиста. Как и голова.

– А что, случаи такие были? Вы описали то, что было, из жизни? – спрашивает Ксения Владимировна.

Да, при всем, при всем у нас еще одно непреложное правило: надо, чтобы все описанное было «из жизни».

– Да, – чуть-чуть светлея лицом, говорит Зайцев, – это все

было на самом деле, я видел... Из жизни.

В имени светлом твоём. В имени светлом твоём. Люблю, когда в садах Лицея... Нет, не так. В те дни, когда в садах Лицея... Друзья, прекрасен наш союз... Синь в окне. Темнеет. Синь в окне. Синее небо. А за окном синее небо, накрапывает, и вот-вот... «А за окном желтеет глина, накрапывает, и вот-вот»... Хватит же, черт побери! Хватит. «Меня попутная машина сигналом долгим позовет». «Но мой товарищ, заугрюмев, коробку – видно свет не мил! – тупым ножом сломал в раздумье, и чайке – крылья перебил... И все. А были годы, годы. Все звонкие, как на подбор»... Это – стихи поэта Соколова, я их помнил...

– Слушай, Веретенников, ну хватит же, некогда ведь всем...

То костры Революции...

– Так, товарищи. Мне только приходится суммировать сказанное вами. Рассказы Зайцева очень сыры...

Мы шли под грохот канонады... Мы смерти смотрели в лицо... Ну, хватит же. Сколько можно? Ну. Ну же. Сидят, не решается никто. И я сижу. Сейчас если опять Веретенников... Ну, хоть бы встали все разом. То костры Революции... Баррикады. Ветреные солнечные баррикады... О, Господи, как же им всем не стыдно, думаю с болью я, будущий писатель и журналист Олег Серов...

– На следующее занятие... Кто у нас читает следующий? Вы, товарищ Яруллин? Не готово? А как у Вас, товарищ Се-

ров?

– Пожалуйста.

– Ну, пожалуйста. Значит, Вы. У Вас что, рассказ?

– Нет, повесть. Если успею. Постараюсь успеть. Мне допечатать немного осталось.

– Да? Тогда, может быть, Вы через раз, а на следующий вторник Вы, товарищ Соловко?

– У меня, Ксения Владимировна, есть один рассказ. Я, пожалуйста, его принесу...

– Хорошо. Так мы и наметим. Читает в следующий раз Соловко. А Вы, товарищ Серов, через вторник, да?

– Да.

– Ну так. До свиданья, товарищи.

– До свиданья, Ксения Владимировна!

Аминь.

В коридоре Литинститута – заметка:

«С октября официально открыты Литературные курсы. Не было проведено пока ни одного занятия. А существуют уже занятые должности с окладами:

Проректор_____500 руб.

Зав. кафедрой творчества__450 руб.

Нач. уч. части_____150 руб.

Комитет содействия партгосконтролю».

– Алло, Гребневу Ларису, будьте любезны.

Тишина.

– *Я слушаю.*

– Лора, ты? Здравствуй. Олег говорит.

– *Здравствуй.*

– Ну, как ты поживаешь?

– *Так. Ничего.*

– Я хочу тебя видеть.

– *Неужели?*

– Конечно, хочу. Ей-богу. Очень хочу. Соскучился, понимаешь.

– *И я.*

– Это правда? Так когда же мы встретимся, Лора? Когда ты сможешь? Я...

– *Завтра хочешь?*

– Завтра? Слушай, извини. Какая неудача! Понимаешь, у меня завтра собрание Актива... Ну, собрание по борьбе... Понимаешь, я тебе не говорил. Я же журналист отчасти, и... Короче, мне поручили очерк. О преступности несовершеннолетних. В журнале. И сейчас как раз вот... Очень важное собрание. Завтра на Ленинских горах. Обязательно нужно быть.

– *Понимаю, понимаю, какое собрание.*

– Да нет, правда же. На самом деле. Давай в другой день какой-нибудь? Любой! Хорошо? Ну, хоть послезавтра в пят-

ницу. Или в субботу... Я правда очень хочу тебя видеть...

– *В субботу я точно не смогу. А в пятницу ты позвони.*

Попробуем.

– Конечно, обязательно позвоню. Как твоя ангина?

– *Ничего, проходит.*

– Слава богу.

– *Ну, пока, да?*

– Пока, Лор, до свиданья. Мне очень жаль, что завтра я тебя не увижу. Очень.

– *Конечно, конечно, раз собрание.*

Глупости какие-то. Но все-таки.

Да, конечно, я понимал. И не такой уж «мышкой» я был. И не Робертом Коном. И даже Антона я в какой-то степени понимал. И «семинаристов» наших литинститутских. Они своему воспринимали жизнь, и они не хотели «биться лбом в стену», понятно! Но я хотел ЖИТЬ! Жить, а не подчиняться на каждом шагу «обстоятельствам», которые жить по-настоящему не давали. Я верил в жизнь и видел, точнее – чувствовал, что жизнь может быть гораздо лучше, чем порой кажется. «Мы сами строим свои тюрьмы» – так называется одна из картин Святослава Рериха. И я с этим согласен!

Я верил. Верил! Верил! Несмотря ни на что.

Лора? Но ведь она откликнулась мне. Симпатия наша – пусть даже и не любовь – взаимна! Даже Антон не поверил, что она была у меня. Это я виноват, что не смог показать ей пусть не высший, но все же класс. Ведь бывало у меня... Ан-

тон несправедлив к ней, он вообще очень разочаровал меня в последнее время, но он прав в том, что я действительно не такой уж для нее подарок. Денег нет, машины нет, комната в коммуналке и далеко не блеск, в ресторан не могу – и не хочу! – вести. А она ведь на самом деле красивая, отличная женщина. Если бы хоть настоящий секс от меня... Так что понятна ее холодность. Однако...

Все будет хорошо! Я напишу очерк, его напечатают в журнале, а там, глядишь, и рассказы пойдут, повести, и еще очерки и статьи. И дело, конечно, не только в Лоре, а в жизни вообще. Вот завтра и на самом деле большое собрание на Ленинских горах, во Дворце пионеров. «Актив» на тему борьбы с преступностью несовершеннолетних. Алик Амелин сказал, что там будет много известных людей. Будут у меня знакомства, будут материалы не только для очерков. Я верю, верю в себя!

18

«Актив». Великолепный новый Дворец Пионеров, огромный красивый зал...

Всеобщее возбуждение, несмотря на невеселую тему собрания, здесь многие, оказывается, друг друга знают – разговоры, приветствия, смех... Да и я ведь не просто на птичьих правах, а – корреспондент журнала, вхожий в Горком, с билетом не каким-нибудь, а №006, лично знакомый с Амели-

ным, который здесь явно один из заправил, от которого зависело, кого приглашать, кого нет... И действительно пришли уважаемые, известные люди, солидные пожилые мужчины и дамы – «Общественность»: Прокурор Москвы, Начальник МУРа, известные педагоги, артисты, спортсмены, генералы милиции в формах и военные генералы, но в основном все же молодежь, парни и девушки, комсомольцы-шефы, девушки есть симпатичные, одетые как на праздник – улыбки, блестящие глаза, и в зале даже песни стихийно...

Да, верю я, верю! Стараются они, на самом деле стараются. Есть ради чего!

И какая же это радость – убедиться, что ты не один, что так много хороших людей думают о том же, заботятся о том же, мы все, выходит, – одна семья, ну, уж теперь-то мы конечно, возьмемся как следует... Вот в чем преимущество нашего строя, социалистического – вот так, все вместе, в одном строю! Это не какой-то там капитализм, где человек человеку волк. *«Мир, труд, свобода, равенство, братство и счастье всех людей»* Всех!

И я оглядывался по сторонам в искреннем воодушевлении и радости: как хорошо здесь оказывается, как празднично, дружно и добро! Вместе! Одна семья...

Уселись – зал полон, – прозвенел звонок. Как в театре... Свет погас, раздвинулся занавес, и стал виден экран, а на нем титры фильма. Публицистический, документальный фильм, и называется он так – «Замки». То есть, запоры. С киноап-

паратом по городу.

Большой замок крупным планом. Это – замок на воротах парка. Детского парка. Рядом – сгучающие ребята. Еще замок, поменьше – у входа на карусель в парке... Сразу два замка, большой и маленький, камера отъезжает, поднимается выше, и видна вывеска: «Клуб». То есть «замкнутый» клуб. Огромный амбарный замок на воротах стадиона. Замки, замки. Запреты...

А в зале аплодисменты. Правда! Это действительно – правда! Все лучшее – под замком...

Опять детский парк, открытый. У входа – ларек «Пиво – воды». Толпа веселых мужчин. Среди них пробираются озабоченный мальчик и серьезная девочка лет семи...

Во дворе мужики лихо забивают «козла». Рядом на лавочке – внимательные дети... Так взрослые «воспитывают» детей.

Танцы в парке, весьма темпераментные. Над площадкой часы: без пяти одиннадцать вечера. Спать пора, а среди танцующих снуют ребяташки лет семи-десяти – пришли с родителями, которым хочется потанцевать...

Аплодисменты, аплодисменты и негодующий, взволнованный шепот в зале. Невеселые картины, печальные! Но – правда...

Магазин. Малыш в большой кепке тянется к вершине стеклянного прилавка. В руке у него – пустая бутылка и деньги. Какой-то взрослый помогает ему. Довольный ма-

лыш, прижимая поллитровку, торопится домой... К папе? Или к маме?

Экран погас, вспыхнул свет в зале, и грянули аплодисменты.

Все еще раз вспомнили, зачем здесь собрались, и в сознании важности дела и собственной значимости, переглядывались оживленно: «Хороший фильм, верно? Действительно, безобразие! Но мы возьмемся!»

Я сидел в одном из первых рядов, держа в руках наготове тетрадь и авторучку, воодушевленный, в сознании важности, нужности происходящего. И своего деятельного участия в нем. В передних рядах сидели еще журналисты.

Конечно, личные мои проблемы не ушли, конечно и тут ни на миг не оставляла все та же и та же боль, Лора, но... Как не ощутить тут причастность свою к всеобщему благородному делу, во имя которого собралось столько хороших людей! Да, мы – вместе, и мы – возьмемся...

На трибуне, около длинного стола президиума появился Алик Амелин. В этой обстановке он выглядел неэффектно: слегка сутулящийся, лысеющий, скромный. Хотя и не робкий. Он принялся медленно читать список президиума, приглашая его членов на сцену.

Большой и грузный начальник Московского Уголовного Розыска, знаменитого МУРа, при общем внимании и осторожных хлопках занял место за длинным столом одним из первых. Трехкратная чемпионка мира по конькам... Воспи-

тательница, «комсомольский шеф» – рыжеволосая полная девушка, Лида Грушина, с которой предстояла мне встреча (о ней восторженно отзывался Алик Амелин)... Живой персонаж «Педагогической поэмы» Макаренко – крепкий крупный мужчина, теперь директор детского дома...

Почти без перерыва звучали аплодисменты, атмосфера в зале становилась все более оживленной.

Начались выступления, и первым зачитал что-то секретарь Московского Городского комитета комсомола. Он сказал, что фильм о замках, который мы только что видели, «закрытый» и не будет выпущен на экраны города. Это вызвало общий досадный вздох и множество возгласов: «Почему?! Почему?!» Секретарь только усмехнулся, но не ответил. А потом зачитал некоторые цифры о преступлениях несовершеннолетних. Невеселая картина...

И появился на трибуне начальник МУРа. Большой, уверенный в себе, в форме полковника.

Зал затих.

– Я, товарищи, много говорить не буду. Вот, значит, коротенькая справка. Секретарь назвал вам некоторые цифры, а я добавлю. Среди всех случаев преступлений подросткам принадлежит одна треть. Убийства, грабежи, драки с увечьями, изнасилования, угоны автомашин, наркомания...

В праздничном свете люстр все это звучало не очень серьезно, как на спектакле или в детективном романе, но в то же время чувствовалось: слушают его, затаив дыхание, с

острым, щекочущим интересом. «Марихуана... план... морфий... сожительство девочек со взрослыми мужчинами...» Стояла напряженная тишина. Полковник чувствовал интерес зала. На трибуне большого и красивого собрания он держался, пожалуй, слишком раскованно, чуть ли не развязно.

Он закончил речь и сел под бурные аплодисменты – с облегчением переводя дыхание, аплодировали ему люди. И показалось мне, что тень брезгливости появилась вдруг на усталом его лице. Или лишь показалось?

Следом за полковником на трибуну поднялся второй секретарь одного из райкомов комсомола города, невысокий черненький паренек. Он взволнованно заговорил о том, как они в своем районе «нашли главный принцип работы».

– Пять ножевых ранений девушке нанес восемнадцатилетний парень, – возбужденно говорил черненький. – Девушка умерла. Мы расследовали этот случай. Совершенно ясно: можно было предотвратить. Ничего не стоило вмешаться – парень давно уже был на грани. Проглядели просто, вовремя не поинтересовались его судьбой, не помогли...

Он говорил о «детском приемнике», где держат подследственных несовершеннолетних, о том, как шефы-комсомольцы посетили этот «приемник», увидели ребят, остриженных наголо, бледных... Именно тогда поняли, как важна их работа. «Нам формализм мешает» – с горечью говорил выступающий.

Только на миг оторвался я от своей тетради. Огляделся.

Проняло ведь, наверное, каждого – это не просто эффектные цифры, это – дело...

И тут...

С удивлением увидел я, что капитан милиции в форме рядом со мной снисходительно улыбается, насмешливо поглядывая на взволнованного выступающего. Два соседа впереди о чем-то беседуют вполголоса, с соседних рядов тоже слышался говорок, кто-то подал возмущенную реплику... В чем дело? Ах, ну да. Паренек критиковал «комсомольских шефов» за формализм и показуху, а в зале как раз много комсомольских «шефов»...

– Да, шефство себя не оправдывает, мы это хорошо поняли, – волнуясь, говорил паренек. – Задумано оно, может быть, и правильно, а вот с выполнением никак не получается, «галочки» только ставим. Заинтересованности истинной нет, на одной сознательности далеко не уедешь. А главное: оно не решает проблему, шефы занимаются частностями. А проблема, товарищи, очень серьезна! Но мы нашли принцип... Тут много можно говорить, но я коротко. Клубы нужно строить по месту жительства, много клубов. Ребятам вечером некуда пойти, нечем заняться, негде себя проявить – вот и отираются по подворотням. А вот если бы такой клуб, куда каждый может прийти...

Верно! Верно! – чуть не закричал я. Конечно, немедленно вспомнил Штейнберга – «Клуб Витьки Иванова», и «Суд над равнодушием» вспомнился, и идиотский РОМ с Рахимом и

Шамилем во главе, и визит в редакцию к Алексееву... Дело говорит этот парень, дело! Обязательно встретиться с ним, вот же еще он, настоящий единомышленник!

– Строительство спортплощадок... Деньги нужно разрешить собирать с жильцов... Контакт с милицией...

Однако когда парень закончил и сходил с трибуны, аплодисменты были до неприличия жидкими.

– Выступает студент факультета Журналистики МГУ, внештатный корреспондент газеты, Геннадий Голиков! – объявил председатель, и из первых рядов партера выскочил молодой человек лет двадцати пяти. Легко, по-спортивному он взбежал по ступенькам на сцену, и его бледное храброе лицо показалось над трибуной.

– Извините, но я хочу рассказать про себя, потому что... Чтобы такое не повторялось!

Голос паренька прозвучал так взволнованно, лицо его было так искренне, что зал вздохнул с симпатией и облегчением. Интересно, о чем он?

– Я... Моя мать посмертно реабилитирована, – очень волнуясь заговорил парнишка. – Отец... Отца не помню. Когда началась война, мы эвакуировались из Москвы с теткой. Провинциальный город, в школе – скучища зеленая, тоска, рядом – улица. Конечно, теперь-то я понимаю, они – трусы! Воровская романтика – лживая! А тогда... Братство, товарищество, удадь лихих пацанов! Полет ангела при лунном свете, так мне тогда казалось...

Полет ангела? Интересно... Геннадий Голиков проглатывал слова, сбивался, но зал слушал с сочувствием и внимательно.

– В первый раз дали год за кражу. Я даже обрадовался – новые впечатления. 16 лет, романтика... Попал в воровскую колонию. «Воры в законе», не работали... Покатился по наклонной дорожке. Вышел через год и тут же опять попал – двух месяцев не прошло. С карманных краж перешел на квартирные – квалификацию повысил! Интересно... Поймали, десять лет дали опять... Работники МУРа убеждали, говорили: придешь к нам еще за советом. Не верил... А в лагере мы работали! На лесоповале, в тайге! Трудно – мошка, гнус. Уставали до смерти. Это ведь я впервые в жизни работал! Романтика труда – как у Джека Лондона! По настоящему работали. Я по две с половиной нормы выдавал, понял, что такое труд. Впервые в жизни ведь понял! Нужно искать работу, настоящую, свою... Труд – вот чего мне не хватало! Воровская жизнь – это не полет ангела при лунном свете, как мне казалось. Это – ложь! Я понял, наконец... Товарищи, неужели восемь лет жизни нужно выкинуть, чтобы это понять?! Со своей стороны я готов приложить все силы, я сделаю все, чтобы такие биографии не повторялись...

Вот уж тут – шквал аплодисментов. Полное единодушие зала! Романтика!

Объявили выступление девушки, комсомольского шефа – это ее роль, выходит, отвергал черненький? Но вот она идет

выступать, пробирается между рядами, милостивая, очень женственная, стройная фигурка, да еще и мини-юбка, длинные ноги... Лет двадцать, не больше. Очаровательная, она поднимается на трибуну в своей тесной короткой юбочке, в белой блузке, под которой вздрагивают при каждом шаге высокие полные груди, а густые золотистые волосы ее уложены в кокетливую прическу. Это она – шеф? Как приятно...

Я смотрел внимательно по сторонам, видел оживленные глаза своего соседа, капитана милиции, улыбки других, кто поблизости. Ну да, ну да, как приятно – молодая, привлекательная девушка – и вдруг комсомольский шеф. Красота и женственность действуют безотказно!

Девушка заговорила грудным взволнованным голосом, искренне:

– Вот у нас был Саша Локтюшин, семнадцать лет... Вернулся из колонии, на работу не берут. Некоторым нравится ничего не делать, а ему работать необходимо, потому что...

Нежный, искренний, очень женственный голос звучал, как музыка, и люди, слушая, улыбались, хотя говорила она очень невеселые вещи.

Аплодисменты, аплодисменты...

Следующим, очень эффектным номером было выступление персонажа «Педагогической поэмы» Макаренко, бывшего беспризорника, а теперь вполне «перековавшегося», ставшего даже директором детского дома. Невысокий, бодрый мужчина моментально овладел аудиторией.

– Макаренко отдал время, здоровье, жизнь отдал он своей работе! Личную жизнь – тоже! У нас же учителя не пользуются всеми возможностями. Отработал «от» и «до» и ушел. Макаренко говорил: «я не дожил до такого разврата, чтобы пользоваться отпусками». Не дожил до такого разврата! Он ни разу не бывал в отпуске! А наши учителя как?

Бурно аплодировал ему зал...

Правда, он ни словом не обмолвился о том, какую зарплату учителя получают за свой труд и есть ли у них возможность «пользоваться всеми возможностями», и почему, собственно, идти в законный отпуск – разврат? Есть ли, кстати, учителя среди тех, кто в зале? – думал я уже с ощущением грусти. За что они так хлопают ему? Что конкретного, дельного он предложил? И почему так не хлопали черненькому пареньку? Неужели и тут – показуха? Как-то все уж очень театрально...

И тут произошло неожиданное.

– Выступает завсектором ЦК комсомола по пионерской работе товарищ Шишко! – объявил председатель.

Коренастый, энергичный человек, уверенно, по-хозяйски вышел на сцену и вдруг... начал браниться! Нет, он не произносил откровенно бранных слов, но тон его выступления был настолько безапелляционным, самоуверенным, не терпящим никаких возражений, хозяйским, рассерженным, что зал в недоумении замер. Зачем это он? За что? Портит праздник...

Послышались несогласные возгласы, и Шишко слегка сбавил тон. Но все же его выступление сильно отличалось от предыдущих. Было даже такое впечатление, что на сцену вышел персонаж «неперековавшийся» – только что из зоны, из лагеря. Поначалу даже трудно было понять, чего он хочет, казалось, он просто ругается, отводит душу, браня всех, сидящих в зале.

– Куда это годится?! – возмущался невысокий человек, голова которого едва была видна над трибуной. – Дали клич на целину – поехали дружно! На стройки коммунизма тоже отправились, работают хорошо! А вот с преступностью до сих пор никак не покончим! Почему же это? Ведь все условия для возникновения преступности у нас давно ликвидированы, так? А преступность – не хочется даже говорить – растет! Почему, спрашивается?! Плохо, очень плохо работаем, товарищи комсомольцы, вот что я вам скажу! Головоотяпство, бездушие, формализм в нашей работе пока процветают. Да!

Самое интересное, что на самом деле этот человек был, конечно же, прав. Но вот тон и тембр его голоса настолько противоречили всему, что было на празднике до сих пор, что и действительно думалось: за что? Почему он издевается над благонамеренным собранием?

– Критиканство! Дача нарядов, а не самостоятельное выполнение – вот чем мы занимаемся с вами! – продолжал тем временем выступающий. – Боимся школу, как черт ладана!

На миг он замолчал но так, видно, понравилось ему ска-

занное, что, запнувшись, он повторил со вкусом:

– Как черт ладана!

Хотя в зале послышались уже и негодующие возгласы.

– Вот у меня в руках, – продолжал он тем не менее, ничуть не смутившись, – результаты обследования одного из районов города. – И он выразительно потряс стопкой листков, которые словно по волшебству появились у него в руке. – Результат невеселый, я вам прямо скажу. Очень невеселый результат!

Он так произнес последние слова и так еще раз потряс листками, что было ясно: именно всех сидящих в зале, он считает главными виновниками того безобразия, которое происходит, и ему-то очень даже понятно, почему преступность, несмотря на ликвидацию причин, неуклонно растет! Зал негодующе шумел, а я ощутил некоторое удовлетворение даже. Хотя бы и под конец, но все же нелепый этот праздник был отчасти нарушен.

Тем не менее, приняли громкую, трескучую резолюцию – разумеется, единогласно! – а потом еще и «Обращение ко всем комсомольцам города» с призывом «усилить, пересмотреть, углубить»...

А когда выходили на улицу, над нами распахнулось такое ясное ночное небо со звездами, люди вдохнули такой свежий, прохладный весенний воздух, льдинки так звонко похрупывали под ногами – апрель, скоро настоящая весна!

И бодро шагали к метро парами, группами – вместе! Еди-

номышленники, хорошие люди, занятые благородным, полезным делом! Новое здание Дворца Пионеров было таким красивым, и вокруг него тоже все так ухожено, чисто!

Неподалеку, правда, начинались обыкновенные дома, полутемные улицы вечернего города, редкие озабоченные прохожие, хмурые пассажиры в метро. Тускловата выглядела обычная жизнь после праздника...

Когда же я пришел домой, открыл свою комнату, увидел увеличитель и ванночки на столе, вспомнил все – и Штейнберга с его «клубом Витьки Иванова», которому, скорее всего, я так и не смогу помочь, гранки у Алексеева, возмутившие меня своей ложью, РОМ на общественных началах с Рахимом и Шамилем, девушку, у которой отняли ее дневники, Лору...

Ощущение безысходности, полного отчаяния, горечи вдруг прямо-таки навалилось. Ложь, все ложь! Праздник там был, во Дворце, нелепый праздник. Ясно же – показуха...

Боже, ну зачем они так упоенно, так дружно врут? Зачем этот пафос, театральность? От утренней бодрости не осталось и следа.

И все же взял себя в руки. Во-первых, тот черненький паренек – Силин. Я подошел к нему в перерыве и даже записал телефон, чтобы встретиться... Во-вторых, Алик познакомил меня с Лидой Грушиной, той самой «комсомольской шефиной», которая, по словам Алика, «воспитала парня, который родился в тюрьме». И, в-третьих, я решил обязательно по-

бывать в ЦК у Шишко и попросить результат обследования района – те самые листки, которыми он тряс. Все это может пригодиться для очерка.

Очерк! – взбадривал себя я, несмотря ни на что. Не киснуть надо, а дело делать! Вот напишу, а там видно будет. Держись, дружище!

19

Лоре звонил на следующее утро, говорил спокойно и просто, и приятно удивил меня ее добрый тон, и все вечерние переживания показались не такими уж и серьезными. Что это я на самом-то деле?

– Олег, я не могу сегодня. Работа, понимаешь... – сказала она на предложение о встрече, но на этот раз ее отказ меня ничуть не обидел и даже не огорчил.

На самом деле, как я могу обижаться? На что? Разве я сам не занят? Ведь столько работы – очерк, рассказ, повесть, новая курсовая, фотография в детских садах... Ого-го! Зачем же часто встречаться?

– Тогда, может быть, завтра? – спросил спокойно.

– Позвони завтра что-нибудь в середине дня, ладно? – ответила она мягко. – Я попробую.

– Хорошо, обязательно позвоню, – пообещал я. – А ты постарайся освободиться, да?

Однако завтра она не смогла тоже, и я как-то легко согла-

сился.

– А в субботу, послезавтра?

– Понимаешь, дома нужно убираться, Олежек...

Она говорила спокойно, добро, и я сказал, что можно ведь и в воскресенье, если она сможет. И был очень доволен хорошим тоном ее и собой – мужественным своим пониманием, доверием к ней, терпением. Своим спокойствием и уравновешенностью.

– Я сама тебе позвоню в воскресенье, ладно? – сказала она.

– Конечно, конечно, – ответил я с пониманием и заботой. – Я буду ждать. Часов в двенадцать, да?

– Ладно.

Погода совсем наладилась, каждый день теперь светило солнце, снег во дворе почти весь растаял. В воскресенье сидел над курсовой – подходил срок сдачи. Надо постепенно: сначала курсовая, а потом очерк и все остальное. Курсовая мне нравилась. Вот закончу, а с понедельника начну над очерком капитально.

Ждал звонка. Прождал часов до двух – выходил в коридор на каждый звонок – и понял в конце концов, что сегодня, видимо, у нее тоже дела. Оно и понятно: нельзя же вот так сразу на все рассчитывать, у нее ведь и до меня была жизнь. Мало ли что! Все наладится, все утрясется.

Хотя холод в груди уже появился.

Но я легко пережил в тот раз то, что она не позвонила

– ничего похожего на прежний невроз. Никакой тревоги! И хотя весь вечер все-таки сидел дома – вдруг?... – лег спать, однако, спокойным, зная, что завтра буду звонить ей на работу сам. Все выясню и, может быть... Вообще завтра нужно обязательно хотя бы поговорить. Внести ясность. Если не сможет она на весь вечер, то хотя бы после работы. Полчасика. Ведь две недели прошло... С ума сойти – две недели!

В груди рос айсберг.

Но в понедельник легко дозвонился, и она вдруг неожиданно согласилась.

– Только не надолго, ладно? Давай там же, на скверике, где тогда? В пять. Ну, можно даже без пятнадцати. Только в половине шестого мне надо будет уйти.

– Так рано?

– Ну, в шесть хотя бы...

Тихо, тихо. Спокойно. О, Господи, только не волноваться. Главное, чтобы пришла, а уж тогда... В первый раз не считается, а уж теперь... Тогда и посмотрим.

Пришел к той же самой будке Справочного бюро ровно ко времени, она, к моему удивлению, тоже не опоздала. Вошли на бульвар, сели на свободную скамейку.

И – как будто не было двух недель, как будто не было моего сумасшествия, словно вчера только расстались.

Я спросил:

– Скажи, как ты ко мне относишься, Лора? Ты что, не хочешь со мной встречаться, да? Скажи честно. Ведь две неде-

ли прошло, а мы ни разу не виделись. Неужели ты не могла выбрать вечер? Ты что, не хочешь меня видеть?

Она потупилась и слегка покраснела.

– Я очень хорошо отношусь к тебе, Олег, ты не понимаешь, – сказала тихо. – Но я ведь действительно была очень занята. Очень. И потом... До тебя ведь тоже была жизнь. Нелегко так сразу перестроиться.

Я слушал ее с тихой радостью – она сказала именно то, что я и сам думал. А значит, все в порядке? Объяснение есть, вот и хорошо.

Я был в странном трансе, тело казалось невесомым, я как будто висел в пустоте рядом с ней. Боялся дотронуться до нее, боялся что-то разрушить.

Но радостно было видеть и слышать ее, я чувствовал, что она действительно расположена ко мне. Как приятно на нее смотреть, на ее яркое красивое лицо! Она густо красила ресницы, но это шло ей, а волосы были аккуратно уложены, густые черные волосы с синевой. Лучистые, пронзительно голубые глаза были добры, они, казалось, просто лучились нежностью, аромат ее духов, очень тонкий и нежный, обволакивал и пьянил. Собственно говоря, я впервые ее по-настоящему рассмотрел. На самом деле красивая. Очень.

Одно беспокоило: она казалась очень усталой. Я не видел той живости, которая пленяла на вечеринке. Но, может быть, это и лучше? Зачем игривость, кокетливость? Зрелая женственность, покорность. И доброта.

Она трогательно говорила о своей работе, о том, что ей очень трудно, что сейчас там действительно приходится проводить много времени, много сверхурочных, и она мечтает о том, чтобы найти другое место, получше. Деньги нужно зарабатывать, с деньгами совсем плохо. Она работает копировщицей. Я подумал: эх, если бы можно было помочь ей с работой или просто деньгами! Увы, сейчас я никак, но вот скоро напишу очерк, его напечатают, дела пойдут в гору, и тогда...

Мы оба вдруг замолчали.

– Слушай, может быть, поедем ко мне? – вырвалось у меня.

Она вздрогнула. Но ничего не сказала.

– Там лучше поговорим, – продолжал я спокойно, хотя сердце уже сорвалось с привязи. – Что мы сидим здесь, как неприкаянные? – добавил хриплым каким-то голосом. – Поедем, а? Мы просто посидим и поговорим. Там же лучше. Чаю попьем...

Она как-то испуганно посмотрела на меня.

– Это не входило в мои планы... Меня будут ждать.

В ее глазах появилось что-то такое, отчего у меня уж и вовсе дыхание перехватило.

– П-поедем, Лор, – продолжал я с трудом, запинаясь. – Хоть ненадолго. Пусть подождут. Хотя бы на час. Когда тебя будут ждать, в семь? А сейчас половина шестого. Что мы сидим с тобой здесь как... как чужие. Мы там будем говорить

так же, как здесь, только...

Я уже почти не соображал, что говорю.

– Что «только»? – Она улыбнулась.

Я, кажется, покраснел. И опустил глаза. Сердце билось неистово.

– Ну, мало ли...

Она откинулась на спинку скамейки и устало посмотрела на меня.

– Знаешь, мне хочется поехать, если честно, – сказала спокойно.

– Вот и поедem, Лор, – обрадовался я и заторопился. – Поедem. Давай плюнем на все, а? У тебя что-нибудь серьезное?

– Муж, Олег, – сказала она просто. – Я ведь замужем, знаешь. Правда, мы с ним разводимся...

Этого я не ожидал. Муж? Антон говорил, правда, что она была замужем, но вроде бы развелась. Это удар, конечно. Но удар не сильный. Я был в таком состоянии, что даже и не почувствовал по-настоящему. Все это было далеким... Главное, что мы вместе. Это самое главное.

– А замужем давно? – спросил все-таки.

– Мы не живем с ним. Разводимся. Но как раз сегодня он должен приехать. – Она усмехнулась. – На переговоры. Надо же что-то решать. Его мамочка говорит, что я испортила ему всю жизнь. Надо решить что-то.

Она посмотрела на меня очень серьезно.

– Ты на меня не обижаешься?

– Нет, что ты. За что? Наоборот. Ты честно сказала.

Она улыбнулась.

– Поедем. Мне и самой хочется. Только в половине седьмого я уйду, хорошо?

– Хорошо.

Было около шести.

20

Того, что произошло в тот вечер и в ту ночь, я никогда не забуду. Хотя деталей, конечно, не помню. Просветление это было или, наоборот, затмение? Не знаю и теперь...

Никаких приготовлений не было. Войдя, мы тотчас бросились в объятия друг другу. Словно по волшебству, оказались без одежды. Ее тело сверкнуло своей белизной, а потом я уже не видел его – оно стало частью нашего общего тела. Мы расплавились, мы слились в один горячий сгусток. Наша кровь смешалась... Нас скрутил огненный вихрь, от счастья и муки мы задохались оба. Мои ладони ощущали фантастически гладкую кожу, казалось, я чуть ли не весь, целиком проник, влился в божественное чудо – в горячую нежную бездну тела ее. Губы мои искали и находили ее трепещущие влажные губы, ее глаза с пушистыми ресницами, ее волосы. Как ребенок, я ловил губами набухшие соски ее полной груди... Казалось, это сейчас самое важное в жизни, самое-самое главное! Она стонала, говорила ласковые слова, она кричала.

Да, мне казалось тогда, что это слишком, такое не может быть для меня. Это было что-то невысказанное, фантазия наяву, экстаз... На миг словно сверкнуло что-то – я вдруг понял, какой могла бы быть жизнь! Словно занавеска раздвинулась, и я глянул в окно. На ослепительный, залитый солнцем мир. С деревьями, птицами, голубым небом, чистым воздухом и травой – радостный, свободный мир. Только на миг... Занавеска сдвинулась и закрыла... Пыльная, серая занавеска. Я вдруг увидел свою убогую комнату и всю убогую, серую жизнь. Нашу жизнь. На миг, только на миг... Но тут же – ослепительная, восторженная вспышка, взрыв! А потом...

Да, я начал приходить в себя раньше... Я уже пластался без сил, а она была еще там, в вышине, где только что мы были оба. Я же словно отделился, покинул ее. Спланировал...

Медленно приходил я в себя, и медленно же в меня вползал ужас. Оставил ее, не смог за ней угнаться! Не смог... И, наверное, опять разочаровал... Все было хорошо, очень хорошо, но...

Моя беда нахлынула на меня с новой силой. Только что... такое! И вот... Сердце сжалось и словно остановилось.

«Слаб! Слаб!» – билось во мне кувалдой. Я позорно распластался на грешной земле, а она...

– Ну, что ты? Ну, что с тобой? – успокаивала она нежно, *сочувственно*. – Мне же было очень хорошо, очень! Это даже лучше, что не хватило чуть-чуть. Сердце могло не выдержать. У меня сердце слабое...

Она улыбнулась жалобно.

«Не хватило чуть-чуть»? Я услышал главным образом это. «Не хватило» все-таки? О, Господи, что же делать...

А она вдруг начала говорить. Рассказывать о себе. Это был какой-то поток. Жалостный, тоскливый и бурный... Словно вскрылся нарыв.

А я слушал.

С 17-ти лет она фактически осталась одна. Отец бросил их и сошелся с другой, а мать стала отчаянно пить. Она пила и при отце, пьянки устраивались, когда Лора лежала в детской кроватке за занавеской. И с 13-ти лет к ней уже приставали («Я рано сформировалась» – сказала она). А в 15 один мамин ухажёр ее изнасиловал. «Мне иногда кажется, что все мужчины скоты. К тебе это не относится, ты понимаешь, но вообще-то я не верю никому, ни одному человеку. Кругом одна ложь, я давно поняла. Есть только секс и деньги, больше ничего. Любви нет. Да и секса в сущности нет тоже. Свинство одно... Все ненавидят друг друга. А ты... Ты какой-то особенный, но...»

– Что «но»? – тотчас встревожился я, и сердце опять словно подпрыгнуло.

– Да нет, не то, что ты думаешь, глупый. А просто ты такой же, как я, понимаешь? Неприспособленный. Потому, наверное, ты мне и...

Это было странно сказано, я даже не понял тогда. Но не спрашивал. «Неприспособленный»? Что это значит?

– Я, наверное, другая, не такая, как все. Хочется по-человечески, а получается... По-моему, ты такой же.

Так говорила она, а у меня ком стоял в горле. «Неприспособленный»... А она продолжала.

На работе к ней без конца пристаёт начальник. Не Костя, нет. Другой. К сожалению, он очень противен ей как мужчина («Знаешь, он такой толстый, потный»), и она никак не может заставить себя переспать с ним. Хотя это вообще-то не помешало бы. Она так и сказала: «Не помешало бы». Потому что тогда ее, может быть, перевели бы на лучшую должность с приличной зарплатой. Он же ей обещал, если... Сейчас она получает восемьдесят – гроши. «У некоторых это запросто получается, а я никак...» – сказала она и вздохнула. «Злюсь на себя, а ничего не могу поделать. С кем другим еще куда бы ни шло, а с ним никак. Он открыто предлагает, понимаешь, хотя бы... ну, ты понимаешь... хотя бы в рот... а я... Ну, просто ничего не могу поделать с собой, противно...»

Ничего себе, думал я. А она продолжала...

Живут с матерью вдвоем в однокомнатной квартире – не так давно получили, а то жили и подавно в коммуналке, фактически в бараке. Мать по-прежнему пьет, «не просыхая», работает в магазине. С мужем не сложилось потому, что у него тоже есть мать, которая ее, Лору, невлюбила. «Женщины вообще меня плохо переносят», – сказала она и улыбнулась грустно.

– Я с тобой не такая, как с другими, – сказала еще.

– А ты веришь в передачу мыслей? – спросил я. – Веришь?

– Да, что-то есть, по-моему.

– Правда, у нас с тобой это бывает?

– Да, может быть. Бывает, наверное.

Стоило, не глядя на нее, подумать, позвать мысленно, как она вздрагивала и смотрела на меня тотчас. Я тоже кое-что рассказывал о себе. Мы все же немного выпили – то, что у меня было.

– Никуда я не пойду, – сказала она, когда стемнело. – Ты хочешь, чтобы я осталась?

– Еще бы...

Что-то произошло еще у нас, правда, не очень выразительно. А потом мы как-то оба уснули...

И наступило утро. Оно было пасмурным, это утро. Подморозило, шел снежок. В своем светло-зеленом плаще с заштопанной дыркой у пуговицы я провожал ее почти до самой работы. Опять подумал, что она выглядит как-то слишком эффектно. Чрезмерно ярко, пожалуй, особенно в это серое утро. Мы шли, и снег таял на наших лицах.

Она шла справа от меня, прижимая локтем к себе мою руку. На совершенно бледном лице четко рисовались черные брови, сияли небесно голубые глаза. Встречные мужчины живо поглядывали на нее, хотя и торопились с озабоченными лицами на работу. Она была как бы не от мира сего. Или мне так казалось? Я-то ведь тоже...

– Хочешь, сходим вместе куда-нибудь? – сказал я.

– Да, вообще надо куда-нибудь выбраться. Я с удовольствием. Может, в Цыганский ходим?

– В Цыганский театр? Я постараюсь, я достану билеты...

– Ну, ты больше не провожай меня, ладно? А то здесь уже нас могут увидеть. Это ни к чему. Пока. Я позвоню.

Это «нас могут увидеть» резануло меня, хотя и было понятно.

– Позвоню тебе завтра, а может быть еще и сегодня, хорошо? – сказал я.

– Хорошо. – Она кивнула. – Ну, пока?

– Пока.

21

А днем проглянуло солнце. К середине дня хмарь развеялась, лучи брызнули, и свежий снег ослепительно заискрился.

Все-таки она моя, – думал я, успокаивая себя. – Все-таки было у нас по-настоящему, состоялось! Почти... Вот только что же теперь?

Дальше открывалась бездна, и я старался не думать.

Очерк! Нужно писать очерк. Обязательно! Еще немного пособирать материал и – за работу. У меня будет хороший очерк, настоящий. Нужно пробиться наконец! Стать *состоятельным*, тогда и смогу ей помочь.

О гранках у Алексеева вспоминать не хотелось. У него же

не было той самой папки «Суда», он мог и не знать, как было на самом деле. И потом он ведь сам рекомендовал мне прочесть «Семью Тибо», а там ничего общего с гранками! Там – настоящее. Может быть, если напишу хорошо, очерк все же пройдет? Должны же они напечатать серьезный очерк в конце-то концов!

Вот так, уговорив себя, успокоив, я и поехал на очередной «объект» – в Детскую комнату одного из отделений милиции, где можно будет встретиться с Лидой Грушиной, «комсомольской шефиной», с которой познакомился на Активе. Оказывается, она воспитывала даже не одного, а двух парней, и Алик настоятельно рекомендовал написать именно о ней. Он дал телефон, я позвонил в Детскую комнату и договорился с инспектором Ваничкиной, к которой, собственно, и была «прикреплена» Лида.

Быстро нашел отделение милиции, едва вошел, как меня тут же взяла в оборот разговорчивая оживленная Ваничкина – пожилая, сухонькая, очень похожая на бойкую домашнюю хозяйку, озабоченную своими хлопотами. Она успела много хорошего рассказать о Лиде, пока ее ждали. Наконец, Лида пришла. Золотоволосая, полноватая, медлительная девушка, спокойная, с мягкой улыбкой, молчаливая – контраст с Ваничкиной.

С уверенным, бывалым видом я бодро записывал, обстоятельно расспрашивал их, они обстоятельно отвечали – главным образом, разумеется, Ваничкина, – и я чувствовал се-

бя нужным человеком, у дела. И это положительный материал вне всяких сомнений! Даже удивительно, как быстро мне повезло!

Лида занималась с двумя мальчиками, больше, правда, с одним, который постарше. Именно он и родился в тюрьме у женщины, которую посадили за воровство. Второй родился после. Мать несколько лет на свободе, но теперь постоянно меняет место работы – то ли сама уходит, то ли ее заставляют, пока не совсем ясно, да и не в этом суть. Нервная, невыдержанная, она в сердцах называет старшего сына «тюремщиком» в лицо, хотя очень жалеет его и конечно по-своему любит. Но сейчас, благодаря Лиде, все несравнимо лучше, чем раньше.

И обоим мальчикам нет еще и восемнадцати лет, что важно для Алексева. Пусть только попробует не согласиться!

Но на этом я не остановлюсь, естественно! Не могу же бросить других. Штейнберг, СУ-91, Актив, Амелин... И наверняка еще многое предстоит.

Обратно ехал совсем уж радостным, солнце светило, гармонируя с моим настроением, я почти уверен был, что все налаживается, скоро напишу очерк, и тогда... Это будет только первый очерк, а потом...

С Лорой тоже все будет хорошо теперь – наверняка! Да, у нее плохо сложилась жизнь, но теперь-то я смогу ей помочь. Теперь она не одна – я есть у нее! – и все будет хорошо. Ну, вот же, например, как получилось у Лиды? Приходила каж-

дый день, конфеты приносила, книжки вместе читали, в кино ходили... Просто! А результат налицо! Добро нужно, и все. Понимание и добро. И ведь получилось у нас с Лорой все-таки. Получилось.

Возбужденный, заряженный, тотчас же поехал я тогда в редакцию к Алексееву, чтобы посоветоваться насчет материала о Грушиной-Ваничкиной. И Алексей его одобрил в принципе. «Торопись, Олежек, – сказал он. – Попробуем в восьмой номер».

Ну, вот. Значит, я не ошибся.

Правда, там же, в редакции, меня ждали новости, которые произвели впечатление двойственное. Член редколлегии Гусельников прочитал, наконец, мои рассказы, переданные ему Алексеевым. Он начал с того, что наговорил комплиментов – таких, что я даже растерялся. «Язык, музыка, описания природы великолепные у вас!...»

Однако вывод его был странный: из того, что он прочитал, ничего нельзя напечатать в журнале. «Мало социальности, понимаете... И потом темы у вас... На производственную у вас ничего нет? Или о комсомоле? Боюсь, то, что вы дали, у начальства не пройдет. Актуальности маловато... Мне-то все, что вы дали, нравится. Даже очень! Это на самом деле талантливо. Но в журнал нужно другое сейчас, к сожалению» – так сказал он в итоге.

Я опять ничего не понимал. Ведь он же хвалит! И он член редколлегии! Если ему нравится, почему бы за это не побо-

роться?

Заметив мое недоумение, Гусельников тотчас добавил, что лично он не сомневается, что «когда-нибудь» я, конечно же, «удивлю всех». И он, Гусельников, был бы рад способствовать этому. Но вот как?

– Принесите еще что-нибудь, – сказал он напоследок. – Только поближе к сегодняшнему. И хорошо бы на производственную тему все-таки. И хорошо бы о комсомольцах. И как-то посветлее, что ли. Пооптимистичней...

«Что все это значит?», – думал я, уходя со своими рассказами в папке. Но быстро подавил растущую горечь. Очерк! У меня же очерк на повестке дня, это главное! А рассказы потом...

Лоре позвонил в пятницу, как и договорились. Утром.

– Здравствуй, – бодро сказал я.

– А, это ты... Здравствуй! – с неестественной какой-то веселостью ответила она.

– Сегодня ты как? – спросил я, почувствовав фальшь.

– А что мы будем делать? – кокетливо спросила она и засмеялась. – Опять пластинки слушать?

Несколько секунд я ошеломленно молчал.

– Ну, хотя бы, – сказал наконец. – А что, разве тебе не нравится?

– Да нет, нравится, почему же. – Она помолчала. – Ну, ладно! – засмеялась опять. – Давай!

– В то же время и там же? – спросил я, стараясь, чтобы

голос звучал бодро.

– Может быть, мне съездить домой, переодеться? – вопросом на вопрос ответила она.

– Зачем? Ведь это долго.

– А вдруг мы куда-то пойдем? Может, в кафе сходим? Или в ресторан какой-нибудь?

Я не знал, что сказать. Она помолчала немного, потом опять спросила:

– Нет, все-таки: что мы будем делать?

– Ну... – замялся я, но она перебила:

– Хорошо, ладно. Значит, в четверть шестого там же, да?

Пока.

22

Положив трубку – было около четырех, а ехать в пять, – я вернулся в комнату и сел на тахту. Опять ничего не понятно. Что-то странное опять происходит. Ей что, не нравится? «Пластинки слушать...»

Тахту, эту самую тахту, на которой я сейчас сидел, мне подарили соседи, когда делали у себя ремонт и покупали новую мебель. Ее обивка порвалась посередине, потому-то я и покрывал ее бархатной накидкой, которую тоже подарили соседи и в которой тоже была дыра. Важно было определенным образом уложить накидку, чтобы дыра была не видна. Но если сесть, то рано или поздно дыра появлялась...

«Опять пластинки слушать?» – спросила она. Что это все-таки значит? И вообще слишком странный какой-то тон... Кто-то рядом стоял? Нет, глупости! Наверное, я опять... Теперь-то ведь у нас все в порядке! После того, что было! Не с каждым же у нее так, она же сама говорила. Однако я опять был в раздрызге.

Вдруг вспомнилось: в прошлую ночь я заметил у нее синяк на плече. Она перехватила взгляд и тут же объяснила. Была в компании на днях, и там... «Несколько ребят захотели запереться в комнате с девушкой, а та была пьяная до бесчувствия. Ты понимаешь? Они хотели ее все поочередно...» И она, якобы, пошла на защиту, открыла дверь, но один парень схватил ее и выставил. При этом он с такой силой, якобы, сдавил плечо, что остался синяк... Так она объяснила. «А девушка?» – спросил я. «Там осталась, естественно... Э, да ты не знаешь... Если тебе все рассказать...».

До Академии она работала в каком-то НИИ. Еще – в торговле. Она так и сказала: «в торговле». Но не сказала кем, а я и не спрашивал. Ее подруга устроилась в варьете, в кордебалет и тем самым, якобы «предала» Лору, потому что устраивал мужчина, с которым Лора была близка. «Подруга стала моим врагом», – сказала она и усмехнулась.

Да, странновато было слушать ее. Даже не во все верилось. Рассказывая, она как бы застыла – словно окоченела от холода. И тело ее тогда, в те моменты, было напряженным, холодным.

«Я никому не рассказывала так. Некому было, Олежек. Кроме тебя у меня только одна подруга верная, единственный близкий мне человек. Единственный, кому я верю...» Сказав это, она ожила и повернулась ко мне, опять теплая, нежная. Пышные волосы ее щекотали мое лицо, от них шел головокружительный аромат, меня просто сотрясало от любви и от сочувствия к ней, хотелось ее защитить, согреть... А потом...

Пора однако. Половина пятого. Надо еще уложить накидку аккуратно. Подмести. Пол, конечно, грязный, помыть бы. Но некогда. Потом. Да, и денег-то совсем нет, а мало ли что...

– Лидия Самойловна, у вас не найдется рублей десять до вторника?

Это – к соседке в коридоре.

– Сейчас.

Черт побери, хорошая женщина. Хотя и соседка. Вот и преимущество коммунальной квартиры – есть, у кого занять.

Галстук что-то разучился завязывать. Вот, есть завязанный. Подойдет. Скорее бы теплело, чтобы не надевать плащ. Впрочем, костюм тоже не блеск. В рубашке бы. Но пока холодно.

Какое солнце на улице!

Так, не волноваться. Ну, встретимся. Не в последний ведь раз. Без двух минут четверть шестого. Ее еще нет, кажется? Что-то не видно. Осторожнее, машина. Так. Какое солнце!

Ни ветерка. Скоро за город можно. Летом – на водохранилище какое-нибудь, на речку. В лодке с ней вместе. Сколько раз мечтал!

Так, тихо, спокойно, не волноваться. Солнце, лодка... Она – рядом... Заводи, остров... Лес, трава, цветы... Господи, вот для нее будет праздник! В настоящем лесу-то была когда-нибудь, интересно?

Да, лес, река, она у реки на солнце – стройная, радостная у воды... О, господи, ведь толком так и не рассмотрел ее обнаженной. Она прекрасна, должно быть. Вот бы сфотографировать...

Сердце защемило от яркой этой картины.

А вообще нужно входить в форму. Сколько можно метаться и ныть? Спокойно! Так. Та-ра-ра. В кафе? Поэтому и хотела переодеться, наверное. Какая глупость! Да ведь просто по улицам походить – и то неплохо в такую погоду. Предложу, подумаешь. Но, сначала...

Часто ли бывает такое? Это божественно было. Ничего подобного никогда... Какое, к черту, кафе, глупости! Вон... Нет, не она. Минута прошла – шестнадцать шестого. Ну, конечно. Не может же уж так, минута в минуту. Мало ли что... Та-ра-ра. Так. Плащ поправить. Ничего, если скрыт шов. Где зашито. Только расстегивать нельзя. Жаль, скованность все-таки. Господи, какую я чепуху... Только не волноваться, только не волноваться.

Эх, если бы... Море, яхта. Где-то на спортивных, личных

самолетах уже летают. Дельтапланы появились. Когда-нибудь, ну хоть когда-нибудь такое будет у нас? В несчастной моей стране. Эх, Россия!... Фильм нужно посмотреть, о котором ребята говорили, как его? «Хеппенинг в белом». Там дельтапланы, серфинги, водные лыжи – праздник одним словом. Американский фильм, кажется. Или немецкий? ФРГ, конечно. Ладно, потом. Не киснуть! Лермонтов в этом возрасте... Стоп, хватит. Спокойно! Раз-два-три-четыре... Нет ее. Нет как нет! А пора бы. Восемнадцать минут, то есть три лишних уже. А вдруг опять? Нет, нет, не может быть. После того, что было. Вон, военные. Из ее Академии. Та-ра-ра. Так. Ну, к черту, еще волноваться. Спокойно. «Пластинки слушать». А что, ей не нравится? А что она хотела бы, интересно? Деятнадцать минут. Это еще ничего, можно подождать. Хотя что ей тут идти? Рядом. Спокойно...

Она это? Нет, не она. Не может быть... Она! С ней трое мужчин. В военной форме. Ну, Академия, понятно. Садятся в такси. И она тоже! Посмотрела, увидела меня. Что-то сказала им. Чуть-чуть не села в машину, между прочим, чуть-чуть. Теперь идет все же ко мне. Они ждут, смотрят, дверца машины открыта. Ждут.

– Здравствуй... – Покраснела.

– Здравствуй, Лора.

– Ты извини, Олег, я не могу сегодня. Видишь...

– Да, вижу, конечно. Я смотрю и не узнаю, понимаешь.

Она, думаю, или не она. Потом все-таки вижу: ты.

– Только не сердись, Олег...

– Что случилось? В чем дело? Мы же договорились, часа не прошло. Что-нибудь непредвиденное? Ведь всего сорок минут назад...

– Муж, понимаешь...

– Муж? Это – муж? Но ты же сказала, что не живешь с ним. Что вы поссорились. Что не любишь. Откуда же он вдруг взялся? За полчаса. И почему трое? Три мужа, да?

– Это его приятели просто. Они вместе. Мы вместе... Я не думала, понимаешь...

– Что не думала?

– Не сердись, Олег, прошу тебя...

– Послушай, послушай же! Ты ведь не любишь его! Так? Ты же сама сказала, ты ведь сама! Что разводишься... Вот и... Вот и не ходи с ним. Мы же договорились с тобой, верно?

– Не могу, Олег. Извини. Я тебе позвоню. Все не так просто. Извини.

Кольшащаяся площадь. Множество солнц. Серый асфальт. Черт с ними! Ступеньки бульвара. Талый снег. Как там... на озере, где только солнце и листья, и аромат, и лодка, и мелкая рябь от ветра, и тускло-желтое в глубине, и голубизна, когда вынырнешь, и можно ходить гольшом в зарослях, и розовость, и жар загара, и треск кузнечиков...

Долой, долой всю эту глупость, правильно говорили мудрецы всех времен – суета сует... Женщина, боже мой, женщина! Центр мироздания, основа мира! Ну что же, ну что

же делать... Мокрая земля пока еще. Голые деревья. Скоро, скоро... Тени, синие тени. Синь неба, синь глубокого неба, холодного неба, где, может быть... Автомобили – рычащие, мелькающие, зловонные. Как их много! Дома-коробки, безликие соты. Тюрьмы! Мы сами их строим во множестве, мы сами. Нам лишь бы подчинить, лишь бы занавеску задернуть. «Кафе»! Она даже представить не в состоянии, как это может быть там, на природе, у озера, в лесу, на солнце, в траве и цветах...

Кафе! Куда идти дальше? Улица. Глубокая и прохладная, словно река вечернего воздуха среди коробок каменных... Быстрее, вот так! Река, мост, ветер... Одиночество? Пусть так! Веселая дорога!... Боятся жизни, боятся самих себя, всего боятся... К черту! Праздник мышц! Быстрее. Живем, ребята, дышим грудью. Солнце! Вот чему можно верить. Озеро, летом на озеро обязательно. Только это не подведет, не обманет – деревья, листья, цветы, голубое небо... У них другая жизнь, и у нее тоже. Врала она, когда говорила, что мы похожи. Врала.

Кинотеатр. Фильм «Четыреста ударов» Трюффо. Смотрел когда-то – один из любимых. Как будто специально – совпадение, удача... Зайти?

Билеты в кассе, оказывается, есть...

– Один билет, пожалуйста...

...Напишите «заяц», говорит учитель. Смешной, маленький, строгий учитель. «Рассказ называется «Заяц»... А вот и

он, мальчик. Герой. Казалось, что он не такой, не совсем такой, в прошлый раз он показался другим. Неважно. Его ставят в угол. Он пишет... Бежит с портфелем. Теперь он дома. Ага, вот она, его мать. Такая, точно. Носатая истеричка! Худая, вечно недовольная, злая. Еще все впереди, четыреста ударов...

Нет, это удивительно все-таки, как похоже! Французский фильм, французский мальчик. И – то же самое.

...Бальзак. «Мой Бальзак». Портрет сгорел от свечки, эх... «Ты еще не вынес ведро!» – мать. Да, точно. Так оно и есть, так.

Без сентиментальности фильм, слава Богу. Почему-то помнилась сентиментальность. Нет ее! Это хорошо, что нет. Без соплей. Хотел поплакать – не выйдет! Как хорошо и просто. Так оно, пожалуй, и есть, так и должно быть – не нужно истерик. А вот и эта сцена. Его сажают в полицейскую машину – его и проститутку вместе, – закрывают дверь. Решетка. Трогается машина, его лицо сквозь решетку, и только на мгновение на повороте от света уличных фонарей отблеск на лице – слезы. Боже, как это хорошо, как точно! Он не рыдает, он даже не плачет, он очень спокойно сидит, и лишь мгновение – только одно мгновение, когда машина поворачивает, на его щеке блестят слезы. Он не предал. Его предали, а он не предал. Спасибо, режиссер... А теперь город сквозь решетку, уплывающий город. Скоро мальчик сюда не вернется – родители оставят его в колонии. Они попросят,

чтобы его там оставили. И вот единственное – его толстый, теплый, добротный свитер. И в круглую горловину этого свитера можно спрятать шею, подбородок – единственное, чему можно довериться, теплый шерстяной свитер. Он не обманет.

А вот опять она, беспомощная истеричка – мать. Тряпка-отец. Ничтожества и трусы – взрослые. Предатели. Обманутые... И обманщики.

Серый пейзаж, футбольное поле. Ребята из колонии играют в футбол. Они играют в футбол. Мальчик побежал за мячом. Кусты. Да, в кусты, в листья! И дальше, дальше. Вперед! Вперед! Вперед, мальчик, ведь там – море! Вперед. Они не догнали. Ты спасся. Мелькают деревья, кусты, беги, малыш, найди силы, вперед, малыш, вперед, ну их всех, пусть остаются, вперед, мальчик, беги, немного еще, деревья кончаются, пологая равнина, это же берег, берег, последнее усилие, малыш, ты сейчас взлетишь... Вот оно, море!

Видишь. Не надо плакать, мальчик. Это море. Это оно. Это свобода. Ты молодец, ты мужественный. Ты никого не предал, ты остался самим собой, ты победил. Море...

23

...Расшатанный старый письменный стол, стол-свидетель. Старая комната, здесь столько было всего! Здесь умирала бабушка на моих глазах... Никого больше не было из родствен-

ников, кроме двоюродной сестры – отец погиб, мать умерла очень давно, оставались бабушка и сестра. И вот – бабушка умерла тоже... Ничего, ничего, мы не сдаемся.

Зеркало, комод. Тетради... И тахта. И замок, который помогает в одиночестве в коммунальной квартире – закроешься, и пусть стучат, главное, не выдавать своего присутствия, не шуметь.

Они все врут, врут! Они... И она – тоже. Неужели все-таки прав Антон?

Музыка... Что может быть лучше музыки! Шестая симфония Чайковского... Когда-то не воспринимал ее, не понимал. Потом стала одной из самых любимых. Он, композитор, соотечественник, думал о том же, это же ясно. Музыка, отдушина-музыка... И вечно несчастная Россия. Почему? И все врут! Зачем? Вот и... Они не живут, они только делают вид. Пьют, едят, делают вид, подчиняются. Но не живут! Еще гадят, конечно, природу губят. И размножаются. Но – не живут. Выбирают наркотик! Водка-пиво, телевизор-кино. Шоу! Шоу-футбол, шоу-хоккей, шоу-роскошь, шоу-Актив. Шоу-дети... К которым относятся сплошь да рядом как к домашним животным и дрессируют на свой лад и манер. Дрессируют...

Или все-таки я не прав? Ведь действительно могло быть у нее что-то непредвиденное, и тогда я выгляжу как капризный ребенок, мальчишка глупый, а еще говорил, что Антон и Костя не понимают ничего, обвинял в черствости Антона...

Но вдруг он, Антон... и на самом деле... прав? Ведь она... Она ведь говорила, что... Да, верно, она измучена, обманута столько раз, но... А кто не обманут? Мы же все...

А то, что произошло – случайность? Не говорящая ни о чем таком, а я, глупец... и тоже хочу подчинить? Она ведь была так расстроена и все-таки отошла от них, хотя он, ее муж, видел все, и ей, конечно же, было не очень-то ей удобно, мало ли... Но ведь их трое! Трое мужчин по-хозяйски, уверенно так, спокойно сажали ее в машину – привычно! – и она не хотела оставить их и идти со мной, как договорились только что, часа не прошло! Предала. И себя предала тоже! Кафе, ресторан, выпивка... Ясно. Но что же раньше-то?

Нет! Неправда то, что она говорила! Лгала... Лгала! То, что она говорила – неправда! Она тоже лжет! Как все? Как все!

Лора, милая Лора, я же люблю тебя. Я не прав, я знаю. Но что же делать? Или прав?...

Сколько времени? Третий час ночи.

...Только за апрель? – спросила она в первую ночь. Ту первую ночь, когда...

...*Несчастный человек, понимаешь. Олег, милый мой. Я соскучилась по мужчине, понимаешь. Мне ведь тоже хочется иметь семью, как всем, я обыкновенная женщина. Ты такой хороший. Антон и Костя – дети, не понимают ничего. Хотя и играют в мужчин, мужиков. Придуриваются. Ты не обижайся, если что-то... Я никому еще так не рассказыва-*

ла. Кроме тебя у меня только одна подруга, близкий мне человек. Единственная, кому я верю. И тебе...

О, боже, но что же делать?

Нет, так нельзя. Нельзя так. Как я хотел уснуть! Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь... Сосредоточиться и ни о чем не думать. Вот так! Чернота. Вот так.

...Муж, понимаешь. Я тебе позвоню, не надо так. Пожалуйста, не сердись...

Ее лицо, ее красивое бледное лицо с голубыми глазами в окружении черных ресниц. И прекрасное тело. Она тоже обманута, она страдает, ждет, ее надо спасти!... Как ту девушку из сна, что ли? Они умирают внутри... Из-за меня – еще хуже? Поверила, и... Я – такой же?

Светает. Сколько?... Пять без пяти. Через три с половиной часа можно звонить. Нет, через четыре с половиной. Когда она уже точно будет.

Все смешалось...

Нет, лучше пойти! Встать, пойти прогуляться. Да, скорее, скорее! Так лучше! Предал, предал ее, как Антон... Мы все предаем друг друга, не верим. Но почему, почему, почему...

Улица. Светло уже. Торопятся люди. Идут, заспанные. Работа! Чуть ли не строем идут. И я среди них. Мы идем. Серым утренним строем, разорванным. Мы – идем. На работу! Мы строим Светлое Будущее! Чье? Где оно? Мы строим... Строим... Светлое Будущее... Для Всего Человечества! Россия, милая Россия, как грустно нам... Стоп, стоп! Не надо

об этом, не надо. Слаб, слишком слаб я. Что-то, наверное, не то делаю, что-то не то...

Хорошо, что прохладно, здесь, на улице, легче. Воздух! Скоро солнце взойдет, вон, на востоке уже... Осторожно с машинами! Так нельзя все-таки. Сейчас нужно следить за собой. *Смотреть за собой*. Если все так, то... Россия, милая Россия... Стоп.

Половина девятого, наконец-то... Все же рано! Хорошо бы час еще. Выдержать... И тогда уж звонить.

Без пяти девять. Немного еще. Вдруг я и на самом деле *не прав*? Мало ли... Знать бы! Не побоялся бы ничего. Извинился бы тотчас. А если прав?...

Пора, пожалуй. Девять двадцать. С Богом.

– Ларису Гребневу, будьте любезны...

– Алло.

– Здравствуй.

– Здравствуй.

КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО...

– Извини, но... Что у тебя вчера случилось?

– Я просто не могла. Я же тебе сказала.

Строгость. Совсем, совсем другой голос.

– Но мы же договорились. Что же ты раньше?

– Я совсем забыла. Мы давно собирались идти на вечеринку, я просто забыла. Мы с тобой поговорили, а тут он пришел. У его приятеля дипломный проект приняли, нужно было отметить.

Даже рассерженный голос, с оттенком досады. Как будто виноват я, а не она.

– Ну, что ж, пока. Как-нибудь позвоню. Извини, что побеспокоил сегодня. Пока.

Молчит. Не вешает трубку. Наконец, говорит:

– Пока.

И тут уж частые гудки. Все. Повесила. Финиш, как говорится. Конец. О, Господи, мир погас. Свет погас в мире. Все.

А – вечером – телефонный звонок. Подходить, нет? Все же я подошел. Нет, не она.

– Привет, Олег!

Виталий. Давний друг, с которым года два уж не виделись. Вместе учились в университете когда-то – не в Литературном, а раньше, я ведь в МГУ раньше учился. Почувствовал он, что ли? Ну, да, ведь договаривались тогда, что: если кому-то из нас будет плохо, то другой придет обязательно! И поможет. Вот он и звонит. Телепатия?

– Привет, Виталий. Давно не слышал тебя. Рад.

– Текучка, Олег. Сдал «диссер», защищаюсь скоро. Ну, как ты?

– По-разному. Сейчас, честно говоря, плоховато. Ты словно почувствовал.

– Вот как? Ну, что ж. Тем более. Не рассказывай сейчас – у меня предложение: поедем завтра за город? Погода-то какая! Там все и расскажешь.

– За город? А куда?

– Тут, рядом со мной. Не за город даже, а в парк. У нас парк отличный – как лес. Пойдем? Возьми с собой кого-нибудь, если хочешь. Девушку какую-нибудь.

– Да нет у меня сейчас...

– Давай один!

– А ты один будешь?

– Я с девушкой буду. Она нам не помешает, Олег. Она... как бы это сказать... понимает некоторые вещи. Хорошая девушка, правда. Я первый у нее, между прочим. Ну, договорились?

Спасибо, Виталий...

24

...Синяя вельветовая куртка висит у меня на плече. Я стою у выхода из метро. Отчаянное солнце!

Рядом – рюкзаки свалены в кучу, три девушки и парень ждут, гитара... Значит, песни, грустные туристические песни, деревья, дым костра, теплая влажная земля, угли, печеная картошка, усталость, сон... А в последнее время я как-то от этого отошел... Зря.

Какое горячее солнце! А вот и он, Виталий, – улыбается, почти и не изменился, только давно не стриг виски – пушистые виски. И веселые, добрые глаза:

– Привет, старрик! – старая его привычка грассировать «р»..

Оба мы рады, только Виталий держится проще, раскованней, а я смущен и зачем-то делаю грубоватый вид, чтоб не казаться сентиментальным. Ведь когда-то Виталий был одним из самых близких моих друзей.

– А где же она? – спрашиваю.

– Она здесь живет недалеко. Я обещал, что мы за ней зайдем. Пошли?

– Конечно. А давно вы с ней?

– С прошлого года, с ноября. Познакомился в магазине. Вместе лыжи покупали.

– Смотри, сколько же мы не виделись!...

– Я тебе звонил несколько раз. До тебя дозвониться – как до министра.

– Да нет, просто квартира коммунальная, много желающих. Ну, а... Ты действительно влюбился?

– Не знаю, Олег. Она мне нравится. Даже очень. Тонко понимает некоторые вещи. И без комплексов. Я у нее первый, но она просто умница. Современная в лучшем смысле, естественная. Ну да ты посмотришь.

– А лет сколько?

– Восемнадцать. Ну, а как у тебя?

Мы идем по солнечной площади, деревья уже начали зеленеть – легкая зеленоватая дымка...

Белая кофточка, темная короткая юбка, движущиеся ноги обрисовывают плавные линии – встречающая девушка улыбается, темно-каштановые волосы поблескивают на солнце,

с ней подруга в джинсах, обе так и светятся, и когда они минуют нас, мы оборачиваемся, глядя им вслед, и ловим друг друга на этом. Смеемся. И девушки оборачиваются! Вот же, вот жизнь!

– Я тоже влюбился, Витальк, но у меня как-то странно, сложно, «нетривиально», как ты говоришь. Я даже рассказывать сейчас не буду. Это долго. И не нужно, наверное.

– Правильно. Не надо сейчас, если долго. У нас еще будет время. Да, слушай, я хотел тебя спросить: ты что собираешься делать на праздник?

– На Первое Мая? Знаешь, я как-то еще не думал. Не до этого, ей-богу. Хотя ведь скоро. А ты что думаешь?

– Поедем на рыбалку, а? У меня палатка есть, спальник. Я знаю отличное место, спиннинг возьмем, удочки, донки...

О, боже, боже! Зачем преступность, зачем Лора... Зачем эти все сложности... Вот же она, ЖИЗНЬ!

Идем по бульвару, и здесь деревья тоже оделись в зеленую дымку, а вон в той закуской я бывал когда-то с Антоном, еще в то давнее время, когда началась наша дружба. Антон был тогда как свежий источник, да и я, наверное, был немножко другим.

Достоинство Виталия: умеет не только говорить, но и слушать. И спрашивает действительно с интересом.

– Что у меня? – переспрашиваю. – В журнале поручили очерк о малолетних преступниках – неплохо, да? Ездил уже в несколько мест... Лучше тему для меня трудно придумать,

ты же понимаешь! Интересно...

– Но это же здорово! А как насчет других вещей? Ты говорил, что у тебя, будто бы рассказ где-то приняли?

– Нет, с тем рассказом пока туго, а вот с очерком...

А вот и она. Ее зовут Жанна. Молоденькая, худенькая, живая, чуть-чуть небрежная с Виталием, что сразу бросилось в глаза, смелая. В легком платице, с кофточкой в руках. И какой-то удивительно открытый взгляд. Очаровательная. Свободная, молодая...

У меня в руках волейбольный мяч и сумка – их мне доверила Жанна, – и я рассказываю своим спутникам об интересной маленькой книжечке, что прочитал недавно в библиотеке: «Психология народов и рас». Любопытная книжечка! Там есть, например, такие слова: «Народ, измученный свободой...» Очень интересное выражение, правда?

– Люди хуже, чем ты о них думаешь, они похожи на червей, – говорит вдруг Виталий. – Ты никогда не задумывался над тем, что люди похожи на червей?

Такие крайности всегда не нравились мне. Ведь все не так просто, и люди разны... Легче всего обвинять! Выход же надо искать, выход! Но не хотелось спорить сейчас. А Виталий уже говорил о дельфинах, какие они умные – умнее многих людей, – и о том, что сейчас наконец-то начали исследовать загадочное в человеческой психологии. Кое-что по этой части есть и в его диссертации – он психолог и кибернетик, он, в отличие от меня, МГУ закончил.

– Новую поговорку слышал? – спрашивает он, смеясь, и продолжает: – «Чем больше я узнаю людей, тем крепче начинаю любить собак». Неплохо, да? Тебе трудно жить, потому что ты ошибаешься в людях! Ты хочешь больше, чем они могут. Всегда будешь лоб себе разбивать. Человека не переделаешь. Это ошибка, Олег. Кстати, если ты опустишься до фантастики, то мы с тобой можем вместе написать повесть. Хочешь? У меня есть классный сюжет, а ты сделаешь то, что не получится у меня – эмоций добавишь. Нужна точная мысль, и можно вывести многое на чистую воду. Через фантастику. Ты, кстати, последнюю речь нашего горячо любимого Генерального читал?

С радостью слушал я своего давнего друга. Мысли бурлят! Приятно было смотреть на него, видно было, что и Жанна внимательно слушает, хотя и не вмешивается в разговор. Мне и это нравится, я завидую своему другу. Какая милая девушка!

– Читал речь, читал, – отвечаю. – Вот только чего никак не пойму. Так модно стало обвинять предшествующих во всех смертных грехах, особенно самого главного, Сталина то есть. Как будто он лично арестовывал, допрашивал, расстреливал, гноил в тюрьмах сотни тысяч, а то и миллионы людей! А теперешних, наоборот, на все лады принято славить, хотя пока они еще ничего хорошего не сделали. Холопская какая-то психология, ты не находишь? Ничего не меняется! Чего ж удивляться преступности и чему угодно, правда?

Это было удивительно, однако Виталий тотчас же изменился в лице и оглянулся. Никого поблизости не было, мы шли втроем, но машинально и я оглянулся тоже.

– Зачем так громко? – сказал Виталий. – Ты что, забыл, где находишься? – И он криво улыбнулся. – Хочешь, новый анекдот? Слушай. Жил-был царь. Дважды два – шесть, говорил этот царь. А тех, кто с ним не соглашался, он казнил. Потом этот царь умер, и пришел новый царь. Дважды два пять, заявил новый царь. Люди обрадовались, но самые умные пришли к царю и сказали: «Ваше величество! Но ведь дважды два – четыре!» «Дважды два пять, – повторил царь. – А если вы будете сеять смуту, то опять будет шесть!»

И тут он громко захохотал.

– Хватит, мальчики, – впервые вмешивается в наш диалог Жанна. – Смотрите, какое солнце, совсем как летом, правда! И птички поют. Виталька, мы скоро придем?

Да, Жанна просто очаровательная девушка – свободная, легкая. Идет, слегка пританцовывая, размахивая руками. Кажется: еще чуть-чуть – и она взлетит. Радуетса жизни! Я даже представить не могу Лору сейчас рядом с нами, хотя, казалось бы, почему нет?

– Да, послушай, ты же обещал рассказать про свое, – словно угадывая мои мысли, вспоминает Виталий. – Расскажи, только коротко. Жанну не стесняйся, она все понимает. Правда, Жан? Расскажи, Олег! Так ведь даже лучше – как бы между прочим. Может быть, сам что-то увидишь новое,

со стороны.

И я решаюсь. Действительно: почему бы и нет? И начинаю рассказывать. Что была вечеринка, что остались вдвоем, что могло, но не состоялось – из-за меня... И что при этом имел глупость влюбиться. Потом встречались, но...

Поначалу все же неловко перед Жанной, но я вижу, что она хорошо слушает. И на самом деле: что ж тут плохого? Молодая девчонка – тем более. Интересно, что она обо всем таком думает? И я продолжаю. Встречались два раза, и все вроде бы хорошо, но... И про последний инцидент рассказал, с несостоявшейся встречей – «Черная пятница». Главное же в том, сказал я, что прошлое очень непростое у Лоры. Да и настоящее тоже. И о том добавил, что параллельно, в то же самое время – вот совпадение! – с очерком хожу, о «маленьких преступниках». И чувствую, что общее есть! Да, впервые отчетливо именно тогда понял – есть общее!

И жутковато вдруг стало. *Общее* – что?...

Все же коротко удалось рассказать, я контролировал себя и даже на часы поглядывал, чтоб не затянуть. Но тускло выглядел этот рассказ при ярком весеннем солнце! И неуместно. Однако Виталий, и Жанна хорошо слушали.

– Олег, а вы правда любите ее? – серьезно спросила вдруг Жанна.

– Если честно, сам не знаю, – ответил я. – Да ведь что такое любовь? Всегда ли мы понимаем...

– Знаете, мне почему-то кажется, что вы ее любите, – ска-

зала Жанна. И добавила: – Давайте вместе отмечать праздник! Виталька хочет уехать на рыбалку, но я его все равно не пущу, помогите мне. И давайте вместе! Ее позовете... Вчетвером...

– Хорошо, – сказал я. – Давайте. Если, конечно, она согласится.

Мне вдруг смешно стало: так нереально было представить Лору сейчас вместе с нами.

– Я постараюсь, – сказал все-таки.

Дошли, наконец, до каких-то ветхих домиков на окраине. В одном из них жил Виталькин приятель, которого он хотел позвать с нами.

Пока Виталий разговаривал с ним, мы с Жанной играли в волейбол. Мяч попал в большую лужу, вымок, потом извалялся в песке. Песок летел в глаза при каждом ударе, ладони стали черными и набрякли, но мы играли упорно и весело. Ай да Жанна!

– Подожди минуточку, Жанна, – говорю. – У меня по горсти в каждом глазу... Ты не устала?

– Нет, мне очень нравится.

Очаровательная девчушка – живая, веселая! Интересно, а Лора ударила когда-нибудь хоть раз по мячу? – подумал я вдруг. Но смешно почему-то уже не было.

И не стало мне легче после моей исповеди, увы. Скорее, даже наоборот.

Весенний солнечный, прозрачный лес. Деревья и кусты

еще голые, только почки набухли и лопнули кое-где – оттого легкий зеленоватый налет. Мокрая земля, прошлогодние бурые листья, лужи. Виталькин приятель с нами не пошел – не пустила жена. И хорошо! Я как-то механически, в каком-то странном запале улыбаюсь без передышки, шучу как-то отчаянно. Бывает, что смешным становится чуть ли не каждое слово и подшучивать можно над чем угодно, и никому не обидно, а просто весело и смешно. Мы с Виталием изощраемся поочереды, оба вошли во вкус.

– Уф, подождите, не могу, – говорит Жанна, – никогда в жизни так не смеялась!

Она и правда держится за живот от смеха.

Солнце высоко, жарко, погода наредкость. Скамейка среди деревьев, длинная скамейка – три столбика и узкая доска.

– Давайте отдохнем, – говорит Жанна, – я не могу больше, устала, уфф!

Мы с Виталием разделись по пояс, чтобы загорать.

– Олег гимнастику йогов делает, скажи, похож он на йога? – спрашивает Виталий у Жанны.

– Вы оба хорошо сложены, – дипломатично отвечает Жанна.

Виталий садится верхом на скамью и ложится на спину. Перед ним, спиной к нему садится Жанна, откидывается и кладет голову ему на живот. Головой к Жанниним ногам ложусь я. Но доски не хватает, ее конец упирается мне в поясницу, а ноги приходится согнуть и поставить на землю.

– Олег, двигайтесь ко мне, вам ведь неудобно, – говорит Жанна. – Кладите голову вот сюда.

Она широко раздвигает ноги, опускает их по обе стороны скамейки и показывает на свой детский живот.

– Двигайтесь же, – повторяет она. – Ложитесь так же, как я, знаете, как удобно.

Она сказала это очень просто, и я подвинулся. И осторожно опустил голову. И мой затылок лег на теплое и упругое, плечи коснулись ее раздвинутых бедер, а шея... Сердце заколотилось слишком сильно, и перехватило дыхание. Я сел. Но потом снова лег осторожно.

– Скажите, а правда ведь может быть так, чтобы женщине жить с двоими мужчинами? И чтобы они не ссорились... – вдруг говорит Жанна.

– В принципе это, конечно, возможно, – соглашается Виталий и смеется. – Ты как считаешь, Олег?

Понятно, что они помнят мой рассказ. Но мне не весело. И вдруг вспоминаю...

– Жанна, а ведь мы как-то договорились с Виталием, знаешь, о чем? Что ему будет иногда принадлежать моя жена, а мне – его. Виталий, помнишь?

Я говорю это и сам удивляюсь той легкости, с какой говорю. Мы и действительно когда-то так фантазировали – когда студентами были.

– Конечно, помню, – подхватывает Виталий. – Шутки шутками, а ведь такое возможно. Жан, ты как считаешь?

Жанна хмыкает и молчит. Но я чувствую, что она думает об этом. Как просто, оказывается, можно говорить обо всем!

Я вдыхаю полной грудью весенний воздух. Пахнет мокрой землей и корой берез, теплые лучи гладят кожу. Мне хорошо и уютно. Мои плечи на бедрах Жанны, а шея и голова...

– Ребята, а вы вина с собой никакого не взяли? – спрашивает вдруг Жанна.

– Вот это идея! – Виталька хлопает себя по лбу и садится. – Ну, ты молодец, Жан. Мне почему-то в голову не пришло. Ах, я дурак! Но я даже могу сходить, тут недалеко магазинчик. У тебя деньги есть, Олег?

Слава богу, кое-что есть, я даю, и Виталий уходит, а вернее почти убегает, даже и не оглядываясь.

Мы с Жанной остаемся вдвоем. Я молчу. Жанна излучает тепло и ласку, и мне хорошо с ней рядом. Женщина... Господи, как это много значит – женщина... Свет, тепло, ласка... Магия...

Она садится надо мной и дотрагивается до редких завитков на моей груди.

– У вас здесь даже больше, чем у Витальки, – говорит она и проводит рукой.

Детские пальцы ее прохладны и нежны.

Я вижу снизу ее милое молоденькое личико, растянутые в улыбке губы, веселые очаровательные глаза, кругленький беленький подбородок. Все это – на фоне чистейшего весеннего неба...

– А что ты думаешь по поводу моего рассказа, Жан? – спрашиваю все-таки. – Прав я или не прав? И стоит ли продолжать...

Она исчезает из поля моего зрения, ложится. Некоторое время молчит. Потом говорит медленно:

– Не знаю. Плохо ей, наверное. Если с такой матерью, и вообще... И с мужем разводится. Наверное, снова замуж хотела бы. Я ее понимаю вообще-то. Но вы же жениться не будете...

Вздохнув, она замолкает.

Даже жарко на солнце. Птицы просто ошалели от счастья. Ни о чем не хочется думать, а просто смотреть на небо и слушать птиц.

Оба молчим.

– А вы уверены, что сейчас она только с вами? – спрашивает вдруг Жанна.

– Разумеется, не уверен, – отвечаю. – Я даже думаю, что... Что наоборот. Главным образом не со мной. Да, скорее всего именно так.

Жанна молчит. Медленно плывет время. Оба смотрим в весеннюю голубизну.

Шорох, чавканье поспешных шагов по грязи.

– Все в порядке! – кричит Виталий и весело улыбается.

В руках у него целых четыре бутылки.

– Донес! – победно произносит он и со стуком выстраивает добычу на скамейке.

– Урра... – тихонечко кричит Жанна.

– Из чего будем пить? – наивно спрашиваю.

– Слышишь, Жан, Олег не знает, из чего пить, – говорит Виталий и хохочет. – У нас три сухого и одна портвейн. Ты какое себе выбираешь, Жан?

– Сухое, конечно.

– Ну, давайте всем по сухому, а портвейн вкруговую. С него и начнем. Идет?

Я пью после Жанны – из горлышка, – солнце насквозь просвечивает бутылку, портвейн золотится и слегка обжигает рот. Мы словно пьем пряный, душистый солнечный свет, тепло теперь идет изнутри – мы все трое пронизаны солнцем, нам весело и хорошо!

– Один парень сказал, что губы Жанны созданы для поцелуев, – говорит Виталий, целует Жанну и, смеясь, смотрит на меня. – Ты согласен, Олег?

– Похоже, – соглашаюсь я. – Но ведь одно дело просто видеть, а совсем другое...

– Витальк, можно Олег меня поцелует? – капризно и как-то по-детски перебивает меня Жанна. – Ты разрешаешь?

– Конечно, об чем речь! Только чтобы он не очень увлекался, ладно?

И в веселом порыве я целую Жанну, и мне кажется, что ее губы пахнут не портвейном, а березовым соком. И я вдруг чувствую, что она доверчиво приникает ко мне, чувствую ее грудь...

– Моя очередь, – тотчас деловито заявляет Виталий и целует Жанну теперь с удвоенным пылом.

И тут словно что-то толкает меня в грудь, сердце колотится, и ощущаю вдруг, что на глаза вот-вот навернутся слезы...

Но мы уже пьем теперь сухое вино, каждый из своей бутылки. А Виталий опять принимается целовать Жанну.

– Я еще хочу поцеловать Олега. Виталька, ты эгоист! – капризно говорит Жанна и отталкивает его.

– Пожалуйста! – весело соглашается Виталий, но улыбка его все же не совсем такая, как раньше. Или мне кажется?

Жанна смотрит на меня, ждет. А я...

– Ты правда разрешаешь, да, Виталь? – спрашиваю почему-то серьезно, хотя уже презираю себя за серьезность. Ну и дурак же я все-таки...

– Конечно! – кричит Виталий и начинает смеяться. – Все ясно с тобой, Олег! Впрочем, я тебя понимаю, ладно. Ты всегда был слишком идеалист. Давай лучше я тебя еще поцелую, Жанна. Скажи, только честно, кто лучше целуется, он или я?

Смеясь, он смотрит то на Жанну, то на меня, но смех его мне не нравится.

– Ты – хорошо, а как он, я пока еще не поняла, – отвечает Жанна и лукаво смотрит на меня, капризно надув губки.

А я не знаю, что делать, я готов провалиться сквозь землю, но не могу почему-то целовать Жанну, хотя она мне очень нравится, и я по-хорошему завидую Витальке. Но, черт побери, мне почему-то становится плохо, и ничего не могу по-

делать с собой.

Виталий целует Жанну уже и с каким-то чмоканьем даже, а я смотрю на березы и птиц. Я опять все порчу, я понимаю. Но ничего не могу поделать с собой...

Потом мы все спокойно потягиваем сухое вино, и голова у меня идет кругом – пьянею.

– Я хочу писать, пусти, Виталька, – неожиданно говорит Жанна. И, глядя на меня добавляет: – Олег, пойдете со мной, я Витальке не доверяю, ну его!

Ничего себе... Я послушно встаю, и мы с Жанной отходим в сторону, в чащу молодых березок.

– Олег, отвернитесь пожалуйста, – просит Жанна.

Она присаживается под кустик, и я слышу звук бьющей в мокрую землю струйки. Ребенок, очаровательный, милый ребенок!

Она встает, я поворачиваюсь. Жанна смотрит на меня с улыбкой и детской какой-то беззащитностью. А я почему-то напряжен и скован. Я ненавижу себя!

Вскоре мы все уходим из леса и отправляемся по домам...

– Олег, звоните мне, если хотите. Виталька даст вам мой телефон, – говорит на прощанье Жанна. – И не забудьте о праздниках. Договорились вместе, ведь так?

– Обязательно!

Отличный солнечный день, молодец Виталий, очаровательная девчушка Жанна! Но ком стоит в горле у меня все равно. И лицо как маска. Все-таки я ненормальный ка-

кой-то... Ненавижу себя.

25

Да, вот что спасало меня всегда – фотография! Сначала – в детских садах. На природе и с девушками – потом. Спасибо, спасибо детям! И воспитателям...

Первый по порядку «майский праздник», 26-го апреля, намечался в самом большом из «объектов», я называл его «№1» или, по-другому, «Б.П.», что означало инициалы педагога Брониславы Павловны, милейшей пожилой женщины, которая была в курсе моих дел и относилась ко мне почти по-матерински.

– Мы ждем вас, Олежек, очень хорошо, что вы позвонили, а то я уже начала беспокоиться: праздники скоро, а наш Олег не звонит, – весело и бодро, как всегда, говорила по телефону неунывающая Бронислава Павловна, несмотря на то, что, как мне по секрету сказали, не так давно у нее был первый инфаркт. – Как ваши дела? Что-нибудь идет в журналах? Мы за вас все тут болеем...

Тут же дозвонился еще в несколько садов и договорился с заведующими. Звонил, конечно, не из коридора квартиры, а из уличного автомата. Никуда не денешься – конспирация.

Потом вернулся домой, раскрыл свой блокнот и позвонил Лианозовой, заведующей детской комнатой одного из отделений милиции. Туда-то уж смело можно было звонить из

квартиры, даже для соседей очень хорошо – в воспитательных целях.

– Это отделение милиции? Здравствуйте. С вами говорит корреспондент журнала...

О Лианозовой очень хорошо отзывался Алик Амелин, рекомендовал как одну из возможных героинь очерка. Я застал ее на месте, передал привет «от Амелина из Горкома» и тут же получил приглашение. Договорились на 12 часов, прямо сегодня. Была не была: позвонил Алику и попросил устроить посещение тюрьмы, как тот обещал однажды. И Амелин заверил, что буквально на днях. Везло в то утро!

Вот любопытно: о журнале я уже почти и не думал. Мне было – интересно! На самом деле интересовала ПРОБЛЕМА. Люди, ребята, судьбы, жизнь... Я ведь действительно хотел написать ПРОБЛЕМНЫЙ очерк. Хотя возникло уже подозрение: чем лучше, чем серьезней я напишу, тем меньше шансов, что очерк будет напечатан в журнале. Однако не стоит об этом думать сейчас.

В двенадцать был у Лианозовой.

После маленькой простенькой Ваничкиной, бойкой и разговорчивой, Маргарита Ивановна Лианозова выглядела важной и представительной дамой, место которой, конечно же, не в милиции, а на каком-нибудь высоком представительном форуме или даже в конгрессе. Красивое лицо, эффектная прическа – такая золотистая башня на голове, – строгий, слегка высокомерный взгляд, прямая осанка, легкий аромат

дорогих духов. Императрица! Оцениваяще посмотрела она на меня, потом осведомилась:

– Как там поживает Амелин? Он мне уже давно не звонил.

– Он часто вспоминал о вас и очень хорошо отзывался, – находчиво сказал я.

Маргарита Ивановна удовлетворенно потупилась.

– Ну, что ж, – произнесла она со значительностью после некоторого молчания. – Вы занялись благородным делом. Я только хочу предостеречь вас от поверхностности. Наше с вами занятие очень серьезное, а многие журналисты, к сожалению не понимают этого. Пишут что-нибудь легкое, с кондачка. Вы пришли вовремя. Как раз только что мы раскрыли одно дело, которое может вас заинтересовать.

– Какое же дело? – спросил я с готовностью.

– Но я советую вам не торопиться, – еще раз спокойно сказала она, не отвечая на мой вопрос. – Походите к нам, присмотритесь, не бойтесь потратить время. Только тогда вы сможете хоть что-то понять... А теперь пойдете, – она встала. – Я познакомлю вас с нашим начальником по уголовному розыску.

И пошла впереди, не оглядываясь, строгая, стройная, благоухающая, в элегантном сером костюме.

Вошли в какой-то кабинет.

– Вот человек от горкома комсомола, журналист, студент Литинститута. Его Амелин прислал, – сказала Маргарита Ивановна мужчине, сидевшему за столом.

Начальник уголовного розыска встал и пожал мне руку. Он был крупный, крепкий, с густыми курчавыми волосами, и рука его была широкая, сильная.

– Урнов, – представился он.

– Григорий Иванович Урнов – наш начальник по уголовному розыску, – со значительностью произнесла Маргарита Ивановна. – Я советую вам держать контакт с ним, вы узнаете много интересного.

И она улыбнулась Урнову.

В этот момент открылась дверь, и в кабинет вошли два человека с ношей: у одного из них было по магнитофону в каждой руке, у другого – стопка магнитофонных лент на касетах и настольный вентилятор. Они молча сложили все это в углу кабинета и вышли.

– Это по вашей части, – сказала Маргарита Ивановна и посмотрела на меня.

– А что такое? – спросил я.

– Ребята ограбили Красный уголок в техникуме, а приходили директор техникума и завуч. Вещественные доказательства принесли, – объяснил Григорий Иванович.

– Я думаю, можно познакомить его со следователем, Григорий? – спросила Маргарита Ивановна.

– Да-да, конечно, – согласился начальник уголовного розыска.

– Пойдемте, – повелела Маргарита Ивановна и, опять не оглядываясь, пошла вперед.

Проследовали через длинный коридор к маленькой двери в самом его конце. На дощечке было написано: «Следователь Р.В. Семенова».

– Раиса Вениаминовна, это к вам, – сказала Маргарита Ивановна, открыв дверь без стука. – Он вам все объяснит. А вы, – обратилась она ко мне, – приступайте к работе. Заходите ко мне, если что понадобится.

И вышла.

Раиса Вениаминовна – среднего роста худенькая женщина лет тридцати пяти. С первого взгляда на нее я почувствовал симпатию. Большие серьезные, внимательные и спокойные, но совсем не равнодушные глаза. Следователей я представлял себе совершенно иначе...

Тихим, мелодичным голосом Раиса Вениаминовна поведала о том, как несколько подростков в течение полутора лет украли четыре магнитофона – в школе и в техникуме. Один из парней уже успел побывать в колонии раньше, остальные новички. Младшему – одиннадцать лет. Поймать любителей музыки помогла случайность.

– Какая же случайность? – спросил я.

– Это все Маргарита Ивановна. Ее находчивость... Но она просила никому не говорить...

– О, что вы, что вы, я не настаиваю, я понимаю.

– Завтра я могу вызвать их на допрос, если хотите, – продолжала Раиса Вениаминовна. – А потом на завтра я уже вызвала дедушку того самого парня, который побывал в коло-

нии, его фамилия Корабельников. Знаете, у этого Корабельникова, Васи, нет матери. С отцом он не ладит, живет больше у дедушки, дедушка его страшно любит, я даже не знаю, как ему сказать. Он ведь не знает, что внук арестован, он думает, что тот у отца.

– А что с отцом?

– Пьет, чего же еще? У него, правда, новая семья есть, другая жена. Сына Васю он бил когда-то нещадно, выгнал из дома, даже проклял, как будто бы, потом простил – тоже не разбери-пойми. Младший, Саша Корабельников, с ним живет, его он, вроде бы, даже любит, но вот, видите, он тоже попал в историю...

– А за что он первый раз судился, старший?

– За драку. Подрались ребята на улице, все убежали, а Василий остался, на него и шишки. Два года колонии. Теперь с ним труднее всех будет: повторное. Меньше, чем пятью, не отделается...

– Пять лет?!

– Пять лет, а что вы думаете. Второй раз... А парень в общем-то неплохой.

Пять лет тюрьмы или пусть даже колонии молодому парню всего-то за какой-то магнитофон? Я был ошеломлен. Понимает ли сам судья, что это такое – пять лет, вычеркнутые из обычной жизни? «Пятилетка» воровской школы, как говорил Амелин...

– А другим? – спросил я, стараясь быть сдержанным.

– Другим не знаю. Это как судья посмотрит, прокурор... Младшему-то наверняка условное, а вот другим... Ну, знаете, главарь их, Гаврилов – прохвост тот еще. Не то, что Вася. Гаврилову и надо бы всыпать как следует. Вы сами его завтра посмотрите. Но он сын какого-то деятеля, его, скорее всего, отмажут. А вот один из них очень хороший парень – его больше всех жалко. Гуцулов. Гуцулов Олег. Живет вдвоем с матерью, мать – санитарка в больнице, что она там получает? Больная вся. А помогать некому. Олег по дому все делает, даже белье стирает. Но – нигде не работает. Не берут, мал еще, шестнадцать лет только, и квалификации нет. А раз не работает – понимаете?

– Но ведь только шестнадцать... Да он и учится, наверное?

– Учился в техникуме. Выгнали за что-то, об этом надо будет еще с директором поговорить, он здесь как раз. Тот самый, у которого магнитофоны украли. Теперь-то, сами понимаете, хуже дело. Допустим, уговорим директора, восстановят Олега. А толку? Учиться он не сможет – с матерью им денег на жизнь не хватит, мать что-то рублей шестьдесят-семьдесят получает. И родственников никаких нет. А парень неиспорченный, сразу видно. С друзьями «из благородства» связь поддерживал, это у них так называется. Попробуем устроить на работу, если получится. Может, тогда условное... Правда, трудно устроить, времени мало, суд скоро, да ведь могут и не взять на работу-то, если узнают. Вот так. Ну, на какой час их вызвать, вам как удобнее?

Длинный, длинный был день... Когда вышел от Семеновой, было еще только двенадцать дня. Светило солнце, жарко, а небо понемногу заволакивалось светлой дымкой... Я шел медленно и думал о том, что можно еще сделать сегодня. Ведь уже 22-е апреля. До 26-го осталось так мало, а 26-го первый праздник в детском саду. И – начнется... Не до походов тогда.

Полистав блокнот, я подумал, что при удаче могу еще успеть в райком к Силину, черненькому парню, который хорошо выступал на Активе. Почему бы и не попробовать дозвониться?

Везло в тот понедельник! С первого раза дозвонился из автомата до Силина, попросил разрешения приехать сегодня. Он согласился! Условились на пять часов вечера.

Оставалось четыре часа. Можно поехать по магазинам за фотобумагой. Нужна «Бромпортрет» картон, а она есть далеко не везде...

Объездил несколько магазинов, и только в одном, слава богу, достал, успел отвезти домой.

Ровно в пять стучал в одну из дверей райкома комсомола – с трудом отыскал его в огромном старинном здании, где глухо и жутковато отдавались шаги в пустынных каменных коридорах.

Трудно понять, что было в этом здании раньше, но оно казалось мертвым, как гигантский окаменевший скелет доисторического животного. Непонятно назначение бесконечных каменных проходов, коридорчиков, тупиков. В одном из таких тупиков и оказалось помещение райкома комсомола...

– Сейчас заседание, – сказала бойкая встрепанная девчонка, которая высунулась на стук. – Подождите, погуляйте пока.

Прошел утомительный час. Я листал свой блокнот, прикидывал, как лучше использовать время, оставшееся до 26-го. Три дня. Написать очерк о Грушиной все равно не успеть. Да и не очень хочется почему-то. Частный это случай, проблему никак не решает. А проблема весьма серьезная. Тут ведь не только о «маленьких преступниках», тут вообще. И узнать кое-что еще можно, пока «мандат» у меня есть. Хорошо бы Алик договорился насчет тюрьмы... Что еще? В ЦК, к секретарю, что выступал на Активе – Шишко. Да, туда обязательно! А завтра к Раисе Вениаминовне... Набирается материал, набирается, но все равно не надо торопиться, нужно понять, понять. После детсадовских праздников и засяду. Тут не один только очерк, тут...

И все-таки поразительно! – вспомнил я вдруг про Алексева. Ведь хороший, как будто бы, человек. И тема на самом деле острая, нужная. И он сам поручил мне очерк. Проблемный! И ему мои рассказы понравились, хотя в печать не пошли... Но тогда почему же? Почему «Клуб Витьки Ива-

нова» со Штейнбергом он с порога отверг? А «Суд над равнодушием», написанный какой-то женщиной по-идиотски – одобрил! Теперь ясно мне, что «не пройдет» и «Собрание в СУ-91», и «РОМ на общественных началах» с Рахимом, Амарантовым и Володиной. И «Актив» не пройдет, если напишу по-своему! Хотя Алик Амелин, как и я, именно эти сюжеты считает важными. А ведь Алик не кто-нибудь, а завсектором Горкома комсомола! В чем же дело? Чего же он, Алексеев, хочет? «С кондачка», как сказала Лианозова, так что ли?

И неприятная, жутковатая мысль опалила меня: ведь они все *ждут!* Те, с кем я встречался, разговаривал, записывал их слова... Они же все искренне говорили, от души... Они *надеются!* Алик Амелин, Штейнберг, Грушина-Ваничкина... Лианозова, следователь Семенова... А та девушка с дневниками, Володина, – я же ведь и ее просто обязан защитить! Какой бы она ни была – разве можно дневники изымать, читать, другим предлагать? Ведь как фашисты эти Рахим, Шамиль... Но что, что я могу? Если даже Алексеев...

Наконец, дверь отворилась, в клубях табачного дыма появилось несколько возбужденных молодых людей, они уходили. Силина среди них не было, и я рискнул войти.

В большой комнате с высоченным потолком сидели двое: Силин и еще один человек, постарше, лет тридцати двух. Одет он был так: грубая рубашка с расстегнутым воротом и кожаная куртка нараспашку. Видно было, что оба – и Силин,

и этот второй здорово устали.

– Вы из журнала? – догадался черноволосый внимательный Силин. – Садитесь, пожалуйста, мы сейчас. Извините, что задержали. У нас тут собрание только что... Едва упрямились.

Он опять показался мне симпатичным, живым.

Они убрали со стола какие-то бумажки, человек в кожаной куртке вывалил в ведро гору окурков из пепельницы, выпил воды, налив ее в стакан из графина, потер лицо ладонями и с улыбкой посмотрел на меня.

– Ну, что вы от нас хотели? – спросил приветливо.

– Это – первый секретарь райкома Варфоломеев, – сказал Силин, кивая на говорившего. – А я второй секретарь, вы знаете.

– Да-да, очень приятно, – пробормотал я. – Понимаете, журнал поручил мне очерк... Я слышал ваше выступление на Активе 11-го, мне понравилось. И хотелось бы поподробнее. Мне показалось, что у вас правильный подход.

Варфоломеев с ласковой и чуть снисходительной улыбкой смотрел на меня.

Черноволосый Силин оживился тотчас:

– Вам понравилось выступление? Там не поняли, понимаете... – и он выжидающе посмотрел на Варфоломеева. Варфоломеев кивнул:

– Да, не поняли. Вялая реакция была, прямо скажем.

– Я тоже заметил, что не поняли, – сказал я. – Понимаете,

вы после Начальника МУРа выступали, люди настроились на эффекты, а вы говорили о деле, практически. Да еще шефы, которых вы критиковали, в зале сидели...

– Вот именно! – Силин еще более оживился. – Я, конечно, сумбурно выступал, – продолжал он с воодушевлением, – но, по-моему, дело в существе, верно? Понимаете, мы долго думали над этим с Сашей, – он кивнул на Варфоломеева. – Сначала так было: шефов набрали аж семьдесят человек. Армия, целый полк! А как до дела дошло, осталось двадцать, да и те... Трудно ведь это – перевоспитывать, да и, честно говоря, с какой стати? И потом: что значит перевоспитывать? И как? Нам тоже не очень-то хотелось с шефством возиться, не верилось в успех совершенно! До того случая. Помнишь, Саш?

– Да, конечно, – подтвердил Варфоломеев, все еще улыбаясь.

– Я ведь говорил на Активе, – горячо продолжал Силин. – Понимаете, мы вот с чего начали: посетили детский приемник так называемый, то есть попросту тюрьму, где ребят держат до суда под следствием и после суда, перед отправкой в колонию. Посмотрели на них... Остриженные, бледные. Несчастные! Им всего-то лет по шестнадцать, а кому и того меньше. И девочки ведь там тоже! Противоестественно, понимаете. Им бы в футбол на улице играть, учиться – жизнь только начинается, – а они... Какие ж это преступники? Про родителей, конечно, и говорить нечего! Многие из них вино-

ваты, да, но теперь-то чего ж. Сплошное горе. У них у самих ведь тоже... Ну, короче говоря, тут-то мы и загорелись. В беде ребята! Этим, которые попали, уже вряд ли поможешь, но другим-то, другим, так называемым «трудным», кто – на пороге... Заранее надо, заранее! Мы вообще считаем, что это наша находка была – вот так в детский приемник прийти, на ребят арестованных посмотреть. Психологический момент, понимаете! Ведь одно дело, когда в рабочем порядке назначают, поручение дают: воспитывай! И совсем другое – когда видишь ребят... Стриженные, бледные. Во сне вижу их, горемык.

– Да, – сказал Варфоломеев, перестав улыбаться. – Впечатляюще было. С этого и надо начинать. Молодец, Валерий, это ведь твоя идея была.

– Да ладно, какая разница, чья, – продолжал Силин, волнуясь. – Главное, что по-настоящему принялись думать – что, как... И, знаете, к какому выводу пришли? Шефство себя не оправдывает! Да, да, надо это честно и открыто признать! Не оправдывает! Конечно, для отчета, для «галочки» хорошо. Вот, мол, у нас столько-то шефов, к стольким-то прикреплены... А на деле? Глупости! Не то! Можно даже сказать: кощунство это! Ну как можно человека вот так, между делом, перевоспитать, подумайте! И с какой стати? Два-три раза в неделю, да и то по обязанности... Смешно! А если тебя к нему прикрепил, а он тебе не нравится? Что ж хорошего от такого «шефства»? Лицемерие, только и всего!

Ну, зашел к парню, поговорил. «Не хорошо, мол, не надо!» А дальше что? У всех у «шефов», своих хлопот под завязку, а ведь парень-то, глядишь, и поверит. Привыкнет... А потом? Жизнь-то его от твоих душеспасительных бесед изменится, что ли? Потому я и говорю, что кощунство. Помните, как в «Дон Кихоте»? Благородный Дон помог мальчику, которого бил хозяин, а потом что было? Дон уехал, а мальчик-то ведь с хозяином остался... Ну, да ясно, чего там! На Активе меня не поняли потому, что обиделись. Вы правы: в зале столько шефов сидело! Благородные люди, видите ли... Миссионеры! По идее-то благородно. А на деле?

Я слушал, и чувства мои кипели опять. Он прав, он прав, Силин, он очень прав! – думал я, и радость вспыхнула сначала – как тогда, в первый день у Амелина. Вот тебе и комсомольские вожди, оказывается! А сколько уже насмешек было над «Ленинским Комсомолом», да и в СУ-91 каких комсомольцев я видел?! Но тут...

Увы, скепсис во мне появился. Это ведь только одна часть, одна сторона... Ведь правды боятся в журналах, газетах. Ведь насмешливыми стали слова из песни: «Если кто-то кое-где у нас порой...»? И преступления, между прочим, растут...

– Добро бескорыстным должно быть, – тем временем вставил Варфоломеев в бурный монолог Силина. – И быстрого отчета за проделанное добро требовать нельзя. И вообще формально относиться к серьезнейшей проблеме безнрав-

ственно. А мы что делаем?

– Именно! – все больше волнуясь, продолжал Силин. – У нас уже искренность, сочувствие, сострадание хотят в процентах измерить и в план внести! Глупость же! Нельзя из людей сознательность, как сок, выжимать! А с шефством этим что получается? *Планируем перевоспитание* – вот до чего дошло! *Отчета* требуем! А легко ли это – другому человеку помочь? В душу его влезть? Да еще если у него жизнь ни к черту сложилась. Родители никуда не годные, к примеру, вечно пьяные...

– А то их и вовсе нет, – вставил Варфоломеев.

– Вот именно! Или жить просто-напросто не на что – мать-одиночка, к примеру, а то еще и с двумя! Доброе слово – это хорошо, конечно, но ведь его мало. Мало! И потом... Какой-то интерес должен быть все равно! С чего же это комсомольцам «прикрепляться» к кому-то? С какой стати? А, может, мне, например, этот парень непутевый или, допустим, даже девчонка разбитная не нравится? Почему это я их «воспитывать» должен? Ходить, что-то делать для них, время терять... С какой стати? Если нет интереса, заинтересованности какой-то, бесполезно «шефство»! Лицемерие это натужное, а никакое не добро! Ну, короче говоря, мы все-таки нашли принцип.

Силин перевел дух, глотнул воды из стакана.

– Да, нашли, наконец, принцип, – вдохновенно продолжал он. – Не на сознательность без конца давить, а конструктив-

ное сделать что-то, реальное! Правильно?

– Правильно, конечно, правильно! – не удержался я, слушающая все же с интересом растущим.

– Во-первых, ЖЭКи, так? – воскликнул Силин и посмотрел на Варфоломеева.

– Нет, погоди, сначала комиссия при райкоме, – поправил его Варфоломеев.

Силин воодушевлялся все больше. Он говорил о *конкретных* делах. И реальных! Вот же почему как-то вяло восприняли его выступление на Активе – все яснее понимал я. Силин предлагал действия, а большинству людей нужен театр! Показуха! Им бы собраться, поохать, пострадать, поговорить, попеть комсомольские песни... И – разойтись, как будто дело уже сделано! А Силин с Варфоломеевым призывали к ДЕЛУ.

– Почему в основном преступления? – говорил Силин, и черные глаза его вдохновенно сверкали. – Почему же? А вот почему. Заняться нечем – раз! Интересов нет ни к чему – не воспитали, не пробудили, не поддержали вовремя, а то и просто-напросто задавили – два! Почему? Да потому, что запреты сплошные – то нельзя, это нельзя, а того и вовсе никак не положено! И общаться-то друг с другом по-человечески, выходит, негде – это три! А природа-то ведь все равно... Не молчит природа, жизнь своего требует, а если возможности проявиться нет, выхода нет, то вот и получается перекосяк... Отношение к женщине возьмите, уважение к де-

вочкам у ребят... Жалуемся на грубость, невоспитанность, распущенность, а пытаемся их воспитывать разве? Всерьез говорим об этом с ребятами? Врем и мозги крутим, только и всего...

И опять я почувствовал вдруг, что ком подкатил к горлу. То же самое! То, что и я думал, собирая свой материал! Что «клуб Витьки Иванова», что Штейнберг и все другое, что рассказы мои на «этакие» темы... Лицемерие, показуха и запреты, запреты, запреты! Весь день, весь этот «везучий» понедельник я держался – удалось переключиться и слегка притушить самое больное – свои проблемы, Лору, – а сейчас, слушая этого черноволосого парня и видя, как поддерживает его другой, старший, как он разделяет мысли Силина, согласно кивает, и, похоже, что оба они и на самом деле думают то, о чем говорят, я ощутил – горечь! Да, да, все они говорили о том, о чем я столько раз думал, о чем мечтал и что проклинал в бессилии. Одиночество каждого среди многих, противоестественная, дикая разделенность! Но – почему?! Ведь все мы, каждый из нас! – все мы хотим, как лучше, все думаем очень похоже, и согласны, что «величайшее счастье – счастье человеческого общения», что «человек один не может», что «человек человеку – друг и брат» – сколько умных, добрых людей повторяли это! И повторяют вот! Но... Разумеется, дело не только в клубах, ЖЭКах, помощи милиции – дело в подходе! Правильно сказал Силин – *в подходе!* И в честности. Меньше говорить пустых краси-

вых слов, а вот так, конкретно – делать. А у нас что? Ложь, ложь, ложь кругом...

Да, слушая Силина с Варфоломеевым, я только головой кивал утвердительно. Они НЕ ЛГАЛИ, чувствовал я... Они думали о ДЕЛЕ, а не о том, чтобы отчитаться перед кем-то и устроить себе самим спокойную жизнь. Они ДЕЙСТВОВАЛИ! По крайней мере пытались действовать... Я им верил. Им. Но...

– А теперь о реальной стороне, Валерий, – тихо напомнил Варфоломеев, словно прочитав мои мысли, и улыбнулся как-то странно.

И Силин замолк. Стих сразу. Даже изменился в лице. И в комнате как будто бы что-то изменилось. Будничный, прокуренный кабинет, обшарпанный стол, пепельница... Только что словно сияло что-то, но вот... Что такое? Тихие слова Варфоломеева произвели неожиданно сильный эффект...

– Да, – с трудом проговорил Силин. – Реальность. С неба на землю, Саша.

Он улыбнулся и посмотрел на меня виновато.

– Расфантазировался я, понимаю.

И замолчал. А я почувствовал неловкость. Словно расфантазировался не он, а я. Странно... Да, что-то странное вдруг возникло в помещении нашем. Словно чье-то присутствие...

Силин перевел дух, вздохнул тяжело. Варфоломеев постукивал пальцами по столу и совсем перестал улыбаться.

– Понимаете, нужны представители власти. Обязательно! – помолчав, продолжал Силин. – А с этим как раз и проблема. Надо, необходимо просто, чтобы был представитель власти! А власть...

Он посмотрел на меня, и я увидел, как в живых черных глазах его опять словно бы загорается что-то.

– Обязательно нужен представитель власти! Иначе же все останется на словах, правда же?

– Про бульдозер, Валерий, – перебил его Варфоломеев тихо.

И Силин сник. Растерянная улыбка блуждала на раскрасневшемся его лице.

– Да-да, бульдозер, – согласился Силин. – Я сказал, что мы спортгородок решили построить в районе? Ну, вот. Конкретное дело, полезное. И место ведь нашли! Свободное место – строй за милую душу! Пустырь никому не нужный. Но там – неровности, чистить надо, ровнять, понимаете? Бульдозер нужен, короче. А не дают! Не дают, и все. Бульдозер простаивает, а нам его не дают. Мы уж и за деньги просили – с Сашей, с ребятами из райкома скинулись. С бульдозеристом договорились! Чего же еще, кажется? А нет, не дают. Почему? Что, думаете, они нам говорят? «Левая работа, не положено!». Какая же это левая?! Пошлите его своей властью, по наряду – ведь общее же дело, можно сказать, государственное! И всего-то на два дня. А нет. Нет, и все. Не положено. Указания сверху нет! Вот вам инициатива... Указа-

ние сверху нужно, а его пока нет!

– Неужели вы, райком комсомола, неужели вы своей властью ничего сделать не можете? – проговорил я. – Вы же... Зачем же тогда вы вообще?

– Фью! – свистнул Варфоломеев. – В том-то и дело! О какой власти речь? Выговор вклеить можем, это пожалуй-ста. Из комсомола выгнать – с дорогой душой. Проработать кого-то, на доску «Не проходите мимо» вывесить – сколько угодно. А вот сделать что-то реальное, положительное – тут ни-ни. Помочь, выручить нам гораздо труднее, чем наказать. Вот, смотрите, я первый секретарь райкома, в районе у нас комсомольцев десятки тысяч – армия! А что я могу? Если по существу – ничего. Карать-наказывать тех, кто, образно выражаясь, под нами – можно. А вот вверх... И не заикнись ни о чем серьезном! В одну сторону у нас как-то все направлено. Партия у нас рулевой, а не мы сами. Есть у нас в райкоме партии один товарищ, Кузин Вадим Евгеньевич. Не угодили мы ему с Валерием, не так сказали что-то однажды, вот и все дела. Не любит он нас. А на нем все замыкается. И ничего сделать нельзя, так-то вот... Только вы об этом не пишете, а то нам и вовсе жить не дадут...

Вот так.

Вышел я из райкома в десятом часу вечера. Варфоломеев и Силин еще остались.

О, эти сны... Порой они бывали почти наяву. В воображении. Под хорошую музыку, например. Или утром, когда проснешься, но можно не торопиться вставать. Или, наоборот, вечером, когда ляжешь и остаешься наедине... Путешествия «по странам и континентам»... Реки, моря, тропические леса... Полеты на планерах, прыжки с парашютом, плавание на кораблях, на яхтах... Ну, и естественно, девушки...

Несмотря ни на что, во мне всегда жила уверенность, что мечты могут стать реальностью и что нужно обязательно сделать так, чтобы стали. Человеку столько дано! Что же мешает?

Даже полеты во сне просто так, без планеров и парашютов, казались реальными! Я понимал, что сплю, и старался запомнить то усилие, которое необходимо, чтобы взлететь – где-то в спине, между лопатками... Напрягаешься, раскидываешь руки и... В небо, к облакам, над землей! Над убогостью, беспомощностью своей, над страхами и сомнениями летишь – к солнцу! Небольшое усилие всего лишь... Правда, какое-то особенное. Наяву не получалось никак! Хотя, просыпаясь, пробовал не раз. Однако... Едва открываешь глаза, тотчас и понимаешь, что ничего не получится...

А левитация йогов, кстати, – разве не то же самое? Ведь, говорят, она существует... У меня, правда, пока тоже не получалось...

И все же некоторые ощущения снов почти сбывались в

действительности. На поляне в лесу у костра, например – такое ощущение счастья возникало порой! Или на солнечном летнем лугу среди трав, цветов, бабочек... На берегу реки летним утром, когда солнце медленно поднимается, в небе тихий великий пожар, прохладно, мерзнет спина и руки, на коже мурашки, а потом теплые лучи, и птицы поют, и летают стрекозы... Или, наоборот, на закате, когда буйный, могучий разлив цвета и тишина, а потом теплый мрак и звезды... Или зимой в морозный солнечный день, особенно если неподалеку изба и печь с сухими березовыми дровами, а ты на лыжах в заснеженном лесу, и вокруг тишина...

А если рядом еще и любимая девушка...

А с Лорой? Ведь то, что произошло во вторую нашу встречу – наяву! – было ничуть не хуже любой мечты! Очень даже **БЫЛО**. В *реальности*! А в чем-то, может быть, даже и лучше, чем в мечтах, – о чем я до того момента даже и не подозревал! Роскошь! Огненный вихрь! Правда, тогда занавеска задвинулась вскоре, окончилось все довольно быстро... Но ведь могло быть и еще! И если бы...

«Это даже хорошо, что не до конца, а то сердце могло не выдержать» – сказала она тогда... Но если бы... Если бы смог удерживаться, владеть собой... Чтобы не только взлететь, но и парить с ней вместе, не падать на землю убогую раньше срока... Если бы научился... О, боже, так непросто все...

И все-таки, несмотря ни на что! Такие божественные фан-

тазии порой возникали в моем пылком воображении! И до Лоры, и во время, и после... Вот же она, молодая, красивая, безусловно любящая меня девушка, свободная, радостная, не страдающая от своей несчастной жизни... Разве не может такого быть? Да вот и Жанна, которая с Виталием, хотя бы... На берегу озера, моря или в лесу, в поле, среди трав, цветов, бабочек... Обнаженная... Словно светящаяся... Мы любим друг друга, нам весело, а не грустно, и я фотографирую ее, словно нимфу... Истинный Рай... Разве наяву не может быть такого?! Но что же мешает?

Долго, очень долго не мог я понять, почему люди так легко и быстро смиряются, поддаются, и когда оказываются предоставленными сами себе и вынуждены самостоятельно что-то решать – не хотят почему-то... Тяготеют свободой, ищут кого-нибудь, кто руководил бы, – вместо того, чтобы самим оглядеться, осмыслить, понять, и... Пробовать! Пытаться! Осуществить! Искать пути – **ДЕЙСТВОВАТЬ!** Увы... Напиваются или оглушают себя чем-нибудь при первом удобном случае, ленятся, ссорятся, издеваются друг над другом, завидуют, обижаются, пытаются обязательно подчинить себе того, кто слабее, или, хотя бы унижить, а перед сильным, наоборот, распластываются и егозят. И... умирают – умирают при жизни! Да, я это видел, видел постоянно! Да ведь и сам отчасти...

«Народ, измученный свободой...» Так мало сил, так мало веры... Готовы отдаться каждому, кто хоть на время заглу-

шит голод, тоску, а главное избавит от необходимости что-то решать... «Хлеба и зрелищ!» В глубине души, конечно, многие понимают, осознают, и... ненавидят сами себя. А заодно и всех других. Но кто же тогда виноват?

«Мы сами строим свои тюрьмы» – да, именно так называлась одна из картин Святослава Рериха, которую увидел однажды на выставке. И не столько поразила сама картина, сколько ее название. Да, МЫ САМИ... Много раз в своей жизни потом вспоминал я эту очевидную истину, и каждый раз неизменно вставал вопрос: ПОЧЕМУ? Да, я старался, старался. С детства возненавидел ложь. Старался не лгать, но ведь все равно приходится иногда. Преодолевал сиротство, материальную бедность, учился... Страх перед девушками – перед таинственным неизвестным... – пытался преодолеть. Чего-то все же достиг, но мало, мало...

И теперь вот проблема. Лора, очерк... И то, и то важно. Но как преодолеть то, что в журналах и, в частности, в молодежном, у Алексеева... Ведь если «не угожу», ничего не получится. А угождать не собираюсь. Ни в коем случае! Как и с Лорой. Разве я виноват перед ней в чем-то?

Да, с детства – с самого раннего детства, пожалуй, – ощущал я жестокую, холодную руку, которая сжимала сердце, мутила разум, сковывала тело. Рука и – серая, липкая паутина... Страх. Глубокий, так трудно преодолимый страх. Почему? Откуда? Как же преодолеть его?

...Огромный кабинет, большой стол в углу у окна, прекрасный паркет, кресла, в которых тонешь по горло, несколько новеньких телефонных аппаратов на столе... Центральный Комитет комсомола. Приемная «завсектором по пионерской работе» Шишко.

Шишко – невысокий коренастый, этакий округлый человек. Тот самый, который выступал на собрании актива 11-го. Он сразу начал со мной на «ты», как-то демонстративно подчеркивая деловую свою грубоватость. Хотя это удивительно контрастировало с роскошной обстановкой огромного кабинета.

Во время разговора он любовно поглаживал телефонные аппараты. Они и действительно были как хорошенькие игрушки – маленькие, оригинальной обтекаемой формы, разноцветные, новенькие. Импортные.

Разговор был довольно коротким. Завсектором ЦК испытующе разглядывал меня несколько секунд, игнорируя легкое мое смущение от непривычности обстановки, а также просьбу, с которой я к нему обратился. Просьба была о документах обследования района, о которых Шишко говорил на Активе. «Не могли бы вы мне их показать?» – так сформулировал я цель своего визита.

Поразглядывав и придя, как видно, к какому-то выводу, Шишко задал свой вопрос:

– Ты говоришь, тебя послал этот самый журнал, так? Ну, а скажи, как ты лично сам к нему относишься, к этому журналу? И к тому, что там печатают?

Я собирался сказать, что нужно печатать больше острых документальных материалов и не бояться ставить проблемы, потому что... Но, не дав мне и рта раскрыть, Шишко продолжал с уверенностью:

– Ведь плохой журнал, правда? Ты читал эту повесть?... – он назвал одну из нашумевших в последнее время повестей, опубликованную в этом журнале. Я повесть не читал, только собирался, но помнил, что ее хвалили уважаемые люди именно за остроту и правдивость. Однако и этого я не успел сказать. Шишко продолжал энергично:

– Скажи, ну разве это главное сейчас, а? То, что они печатают. Грязь, натурализм, чернуха... Не главное это! Главное сейчас – нацелить молодежь на самоотверженный труд, на борьбу с пережитками прошлого, верно? А они – об этих пережитках, наоборот... Грязное белье ворошат! Надо нацелить на борьбу с преступлениями, на положительных примерах учить! Вот в чем веление времени. А они...

Шишко посмотрел на меня очень внушительно. Потом махнул рукой, как-то неожиданно сделал кислое выражение лица и продолжал:

– Ни черта они там не делают в журнале, так мне кажется! Ты согласен? Ну, что они могут сказать молодому поколению, а? Как помочь? Э, ладно, мы с этим еще разберемся.

Разберемся! Так. Значит, хочешь очерк писать. – Теперь он посмотрел на меня испытующе. – Ну, а что ты думаешь вообще по этому поводу? А?

Он умолк, и я понял, что теперь пришло время сказать хоть что-то.

– По какому поводу? – спросил я.

– Как по какому поводу?! О чем ты собираешься очерк писать?

– О преступности несовершеннолетних.

– Ну, вот это я и спрашиваю. Что ты думаешь по этому поводу? Меня интересует в основном пионерский возраст. Но и постарше тоже – до 16 лет.

На миг он замолчал, как будто бы ожидая ответа. Но быстро и исчерпывающе ответить на столь риторический вопрос было непросто. Пока я собирался с мыслями, Шишко коротко и как-то разочарованно вздохнул, а потом, не обращая внимания на то, что я все-таки собирался ответить, продолжал:

– Так что тебе нужно было? Результат обследования? Ты это хотел?

– Да, – обрадовался я. – Вы говорили о нем на Активе 11-го, и я хотел бы... Понимаете, мне в Горкоме Амелин...

– Так-так, – опять перебил он. – Ну, а сам-то ты что делал, где побывал?

– Ну, я много где был, – заторопился я на этот раз. – В милициях, в детских комнатах, в Горкоме не один раз, у шефов

некоторых комсомольских, в клубе «Романтик». На Активе вот. Завтра в тюрьму иду, потом в колонию поеду...

– Ага, хорошо. Молодец! И давно ты занимаешься этим?

– Да уж месяц.

– Что? Месяц? Всего-то? – Шишко развел руками и разочарованно хмыкнул. – Месяц! Тебе надо как следует вникнуть в это дело, по-серьезному. Раз уж взялся. По-серьезному! А ты – месяц. Мы вон сколько времени этим занимаемся, а все никак не решим проблему. Условия для возникновения преступности у нас ведь давно ликвидированы, так? А преступность есть! И в последнее время выросла даже. Вот ведь какой фокус. А ты – месяц!

Он покачал головой, помолчал несколько секунд и опять хлопнул по столу крепкой ладонью.

– Так! Ну, что ж. – Он сосредоточился на миг и побарабанил пальцами по столу. – Я-то думал, что разговор у нас будет долгим, а он, оказывается, короткий, – подытожил он, наконец, снисходительно, но и ободряюще посмотрел на меня, улыбнулся и решительно остановил свою руку на одном из телефонных аппаратов.

– Так. Надо тебе еще посмотреть, поездить. Я тебя сейчас...

Он подумал, снял руку с красивого аппарата и перевел какой-то рычажок на небольшом изящном щитке, который я только сейчас заметил. Перед ним, оказывается был целый пульт управления. Как в самолете.

– Я сейчас вызову Седых, – энергично сказал Шишко. – Он у нас преступностью занимается. Сведу тебя с ним. Инструктор... Так ты, значит, в журнале не штатный? А работаешь где? Или учишься?

Теперь он говорил дружески, с некоторой теплотой даже.

– Учусь. В Литературном институте, – успел я ответить.

– Имени Горького? – брови Шишко поднялись.

– Да, – кивнул я.

– Прекрасно, – с восхищением сказал завсектором ЦК, и лицо его вдруг просияло. – Так ты, значит, можешь... Слушай, знаешь, что мне надо... – заговорил он совсем по-своему и впервые заинтересованно. – Вот что мне нужно... Ты там подбери ребят – есть у тебя ребята на примете? Хорошие ребята, надежные? Так вот, ты подбери ребят, мы с вами будем держать связь, понял. Через тебя. Нам тут кое-что понадобится...

Теперь он смотрел совсем по-другому, с заговорщицкой какой-то улыбкой, почти по-детски. И я вдруг увидел в нем обыкновенного человека, понял, кажется, какой он в обычной – неофициальной – жизни, каким парнем был совсем еще недавно. И с удивлением подумал, что бравада его напускная, что он, как и я, как все, испытывает обыкновеннейшее чувство неуверенности в себе, что он в общем-то маленький человек и в глубине души осознает это, но при том изо всех сил пытается сделать то, что должен делать, что от него тоже где-то там требуют, что он хочет и сам – искренне

хочет, – но вот на самом деле не знает, как. И, конечно, не верит, что кто-нибудь может знать.

– Знаешь, что нам нужно, – продолжал он тем временем доверительно, с интимной, дружеской интонацией. – Ну, вот о фильмах, хотя бы. Тут недавно вышел этот, как его... «Великолепная семерка». Смотрел?

С обезоруживающей ясной улыбкой он взгляделся в мои глаза.

– Смотрел, – только и успел я вставить.

– Так вот о нем написать надо как следует! – обрадовался Шишко. – Раздолбать во все корки, понял! Ишь, ковбои! После таких фильмов, знаешь, как у нас работы прибавилось! – Теперь он смотрел с детским недоумением. – Или еще такой вот, как его... – продолжал он и запнулся на секунду. – «Рокко и его братья»! Итальянский. После него ведь тоже... Там ведь изнасилование показывают во весь экран! Мерзость, грязь... А зачем, спрашивается? Чтобы подражали? Куда кинопрокат смотрит? У нас такие фильмы вот где сидят! – он похлопал себя по макушке.

В дверь тихо постучали, и в кабинет вошел высокий, сутулый, какой-то очень болезненный, с мешками под глазами, хотя, видимо, нестарый человек.

– Вызывали? – уныло спросил он, и в голосе его была тоска, а в глазах упрек.

– Да! – бодро сказал Шишко. – Вот, из Литературного института товарищ. – Он опять приветливо и ободряюще по-

смотрел на меня. – Занимается преступностью. Я ему сказал, чтобы он подобрал ребят. Насчет фильмов. Поговори с ним, введи в курс. А ты – обратился он ко мне, – держи со мной связь, звони, если что. Как ребят подберешь, звони. Договорились? Ну, хорошо. Желаю успеха.

Он привстал и, перегнувшись через стол, энергично потряс мою руку. А меня не покидало чувство, что я опять на каком-то странном спектакле.

Мы с Седых вышли из кабинета и направились в дальний конец коридора. Даже в полумраке коридора, даже со спины Седых производил удручающее впечатление. Казалось, его, тяжелобольного, подняли с постели, заставили ходить, что-то делать, и все это может печально закончиться. Особенно разителен был контраст с боевым, полным жизненных сил Шишко.

Кабинет Седых оказался неожиданно маленьким, с каким-то странным узким окном, мне почему-то пришла на ум тюремная камера. Одиночка, потому что здесь едва уместился стол. И два стула.

Мы оба сели, и Седых долго молчал – то ли собирался с мыслями, то ли приходил в себя после утомительного перехода. Надо было, однако же, что-то решать, и он, наконец, поднял на меня свои больные глаза.

– Да, ты еще мало знаешь... – сказал он скорбным голосом и замолк.

Потом собрался с силами и продолжал:

– У нас по Союзу... Это мы говорим, что у нас все в порядке, а на самом-то деле... Не тишь да гладь.

Он опять умолк, тяжело вздохнул, и я не смел нарушить тягостного молчания. Прошло минуты две. Я не знал, что делать, и чувствовал себя неудобно.

– Да, так вот. Знаешь, что надо? – Седых опять тяжело вздохнул, потом достал из стола сигареты и закурил. – Надо бы нам статью, – сказал он, мечтательно глядя в окно и жадно затягиваясь. – Статью нам надо. Или очерк. О фильмах. Вот, например, этот фильм...

– «Великолепная семерка»? – угадал я.

– Точно. О ковбоях который.

Седых кивнул, продолжая смотреть в окно и втягивая в себя дым даже с каким-то свистом.

– И другие, – продолжил он, собравшись с силами. – Другие тоже. Итальянские, например. Этот, как его...

– «Рокко и его братья»? – опять подсказал я.

– Точно. Да и другие в сущности тоже.

Так он курил с минуту, задумчиво глядя в окно. Что он видел там? – стал думать я почему-то. Может быть, перед ним проносились кадры из итальянских фильмов? Или подвиги американских ковбоев все же?

Наконец, Седых положил сигарету на край пепельницы и обратил на меня свой тихий печальный взор. В светлых глазах его было само страдание.

– Понимаешь, это же вредные фильмы. Очень вредные

фильмы...

Он тяжело вздохнул, покачал головой и опять задумался. Мне стало передаваться его настроение, я почувствовал, что тоже впадаю в тягостное оцепенение, в этакий транс. Так мы сидели минуты три. Ни один звук не доносился до нас. В огромном здании была полнейшая тишина.

– Напишешь? – спросил вдруг Седых, опять собравшись с силами, а я от неожиданности на этот раз вздрогнул. – Напишешь, а? – страдая, он смотрел мне в глаза. – После «Великолепной семерки» у нас... Преступность выросла, – продолжал он скорбно. – Ты еще не знаешь... Ты еще не знаешь...

И его взор опять погрузился в окно.

Я просто не знал, что делать. Ведь это могло длиться до бесконечности. Я кашлянул и, поерзав, скрипнул стулом. Этот звук вывел инструктора из задумчивости. Седых посмотрел на меня:

– Ну, что?

По глазам его было видно, что он не верит в то, что я соглашусь. Похоже было, что он вообще ни во что не верит, да и мысли его были сейчас неизвестно где.

– Нет, вы знаете, я боюсь, что... – сказал я как-то машинально, совершенно забыв в этот момент, о чем, собственно речь.

Но в глазах, которые смотрели на меня, появилось тотчас же столько отчаяния, столько безнадежной тоски, что в же-

лании хоть чем-то утешить этого человека я добавил:

– Но я поговорю с ребятами в институте. Может быть, кто-нибудь согласится... Обязательно поговорю! Конечно.

– Да? – Седых долго задумчиво смотрел на меня. – Ну, что ж, давай. Ладно. Большое дело сделаешь... Надо работать, надо работать.

Невыразимая грусть звучала в его словах. Стало так жаль его, что я едва удержался, чтобы не потрепать его по плечу и не сказать что-нибудь вроде: «Ничего-ничего, все будет хорошо, старик!» Но на это я, конечно же, не решился и только кивнул машинально и сказал:

– Да-да, обязательно. Постараюсь.

И неожиданно для самого себя повторил за ним автоматически:

– Надо, надо работать...

– Ну, так ты мой телефон запиши, – сказал Седых и посмотрел на меня явно в полной уверенности, что даже если я и запишу его телефон, то все равно не позвоню никогда.

– Вот... – Он взял чистый листок, черкнул на нем что-то и протянул мне. – Звони, если что. Заходи...

Затем он поднялся и протянул на прощанье руку. Она была сухая, холодная. Мельком глянул я на листок, который он дал, и обомлел: цифры невозможно было разобрать...

С тяжелым сердцем вышел я на шумную улицу. Ярко светило солнце, весело проносились автомобили, люди спешили по своим делам. Мимо прошла стайка девушек, они ожив-

ленно о чем-то спорили.

Кончался вторник, и я вспомнил, что это был день творческого семинара в институте. Я опять пропустил его – теперь из-за Шишко и Седых. Чье-то чтение назначили в прошлый раз... Но это казалось теперь и вовсе мелким... Правда, на следующий вторник как будто бы назначали чтение мое.

29

На другой день, в десять, как и договорились, я был у Раисы Вениаминовны.

Дедушка Корабельников – у него было редкое имя, Иона Ионович, – оказался высоким лысым стариком с бородкой клинышком и усами – очень похожий на поэта Некрасова. Он сидел на стуле напротив Раисы Вениаминовны – на том самом стуле, на котором вчера сидел я, – и плакал. Как-то странно было смотреть на сильного крупного старика, по щекам, по усам и бороде которого текли обильные слезы. Он всхлипывал, как ребенок.

– Я никогда в жизни так не плакал, ей-богу, – говорил он, оправдываясь, и слезы текли по его лицу. – Войну всю прошел, а не плакал ни разу. Я его любил больше всех на свете, у меня же нет никого больше, кроме него, я один, совсем один, как перст одинокий, – всхлипывал Иона Ионович. – Если бы вы знали, как он рисует, какие у него восхитительные рисунки, я вам могу показать, он же художник, он же

моя единственная любовь, гражданин следователь, пожалейте его, ведь у него нет никого, кроме меня, его отец не любит, а Вася отца ненавидит, только я один у него и есть, а он у меня...

Раиса Вениаминовна сидела молча и время от времени поднимала на меня печальные глаза. Наконец, когда дед немного успокоился, она начала задавать вопросы.

– Ну, хорошо, Иона Ионович, а вот ведь у вас в доме появлялись магнитофоны... Ведь появлялись?

– Какие магнитофоны? – старик немедленно выпрямился и переменялся в лице. – Какие магнитофоны?

– Ну, хорошо, пожалуйста, вот ведь сам же Вася ваш говорил, что два раза оставлял у вас магнитофоны – в феврале и в марте. Как же вы не обратили на это внимания? Вы ведь, наверное, даже и не спросили, откуда магнитофоны у вашего внука, у вас даже никаких мыслей на этот счет не было, так?

– Спрашивал! Как же, спрашивал! Я его спрашивал. Он мне сказал, что у товарища взял поиграть, а потом вернул, будто.

Старик недоумевающе выпрямился и вытер рукавом слезы.

– Ну, хорошо, – терпеливо продолжала Раиса Вениаминовна. – Первый он вернул. А второй? Второй ведь у вас до последнего дня стоял, до самого Васиного ареста. Почему же вы не расспросили его как следует? Ведь можно было бы раньше все прекратить, и тогда участь вашего Васи была бы

легче, и младший бы в эту компанию не попал. Ведь вы же знали, что Вася побывал раз в колонии, ведь вы же мне обещали присматривать за ним – помните наш разговор? Я вам поверила...

Иона Ионович смотрел с непонимающим видом. Он изо всех сил пытался взять в толк, куда это следователь клонит.

– Или вот в ту ночь, 15-го, ваш внук не ночевал дома, – спокойно и мягко продолжала Раиса Вениаминовна. – Вы мне даже сказали, что он всю неделю подряд у вас не ночевал, верно?

– Да, верно. – От мучительного напряжения дед застыл, на лбу его собрались многочисленные складки, рот приоткрылся.

– Ну, вот, про то я и говорю, – тихо продолжала Раиса Вениаминовна. – Всю неделю ваш внук не ночует дома, а у вас даже беспокойства нет...

– Гражданин следователь, но я ведь думал, что он у отца ночует, он ведь и раньше, бывало, у отца ночевал. Я и думал... – Заговорил старик в полном недоумении.

– Ну, хорошо, вы так думали. Но вы бы хоть побеспокоились, позвонили бы вашему сыну, узнали бы, у него Вася или нет. Как же так можно?

При словах «вашему сыну» дедушку передернуло.

– Я его, подлеца, и знать не хочу! – с неожиданной твердостью совсем уже выпрямившись, сказал он. – Это он во всем виноват, и в том, что в первый раз несчастье случилось,

это все его вина, он мне не сын, он и меня не уважает, отца родного. Не сын он мне! Это он Васю загубил, подлец. Подлец, негодяй, я его знать не хочу!

Устало вздохнув, Раиса Вениаминовна взглянула на меня. Потом продолжала.

– Ну, хорошо, Иона Ионович, сына своего вы знать не хотите, но о внуке-то своем вы должны были позаботиться, ведь так?

– Должен, – все так же недоумевая, произнес дедушка. И тут же вдруг опять надломился. – Так я... Так я, господи... – Лицо его опять сморщилось, и слезы обильно потекли по щекам. – Господи, какое несчастье, – запричитал он, – не верится, прямо не верится, гражданин следователь, вы простите меня, старого, что я вот тут, ведь я так его любил, так любил, господи, за что же мне наказание такое великое, господи, боже мой... Гражданин следователь, ну передачку-то, передачку-то я хоть смогу ему передать, хоть передачку-то, а? Я вот тут купил ему, может быть, вы передадите, а?

Светлые молящие глаза уставились на следователя, потом на меня, и, видимо, потому, что Раиса Вениаминовна не смотрела на него, писала протокол, а в моих глазах он все-таки прочитал сочувствие, дедушка умоляюще протянул сумку мне, и я просто не мог не взять ее – взял и, не зная, что с ней делать, положил на стол.

– Раиса Вениаминовна, как с этим? – в полной растерянности спросил я.

– Да-да, передадим, передадим, оставьте, – сказала она.

– Молодой человек, сынок! Спасибо! – вскинулся дед и схватил меня за рукав. – Спасибо, ради Христа! Спасибо, гражданин следователь! Хоть передачку-то, сахарку, маслица, господи, несчастье-то какое, какое несчастье, не верится, ну прямо не верится, господи...

– Вот, – сказала Раиса Вениаминовна, когда дедушка Корабельников вышел. – Вася второй раз уже. А дед за ним даже присмотреть не смог. Теперь плачет. А ведь как я его предупреждала, объясняла, как дважды два. Нет! И ведь на пенсии старик, чем он таким особенным занят, скажите? Футбол-хоккей смотреть по телевизору? Жалко, конечно, жалко... Думаете, нам интересно в колонию их запикивать? А ведь подумаешь – сами во всем виноваты. Вы обратили внимание, как он о своем сыне говорил, о Васином отце? Сразу горе побоку! Ненависть разыграла. Не знаю, что у них там с сыном произошло, Васиным отцом, но он просто ненормальный становится, как о нем заговоришь. Как можно с такой ненавистью в сердце жить? Да еще к сыну родному. Не понимаю... Ну, да ладно. А теперь еще на героев посмотрите. Братья-разбойники. Гонора невпроворот! Сейчас главаря вызову, Гаврилова. Фрукт. Такой герой, спасу нет. Дела он себе, видите ли, интересного не нашел, решил шайку сколотить. По музыке, бедный, исстрадался.

Вошел Гаврилов.

На вид ему можно было дать лет девятнадцать-двадцать,

хотя на самом деле, как я знал, не было и семнадцати. Высокий – на полголовы выше меня наверняка. Слегка кивнув, он небрежно уселся на стул, развалился, как в кресле, и, положив руку на стол, побарабанил пальцами.

«Ну как?» – взглядом спросила меня Раиса Вениаминовна.

«Ничего себе», – ответил я тоже взглядом.

– Ну, мы с вами, Гаврилов, уже говорили, надо только кое-что уточнить. А вот – товарищ из Горкома комсомола. – она кивнула в мою сторону. – Он хотел бы тоже кое о чем спросить.

Главарь шайки снисходительно посмотрел на меня.

– Тебя зовут как? – спросил я дружески, желая наладить контакт.

– Александр, – многозначительно произнес Гаврилов.

– Так вот, Саша. Зачем вам магнитофоны нужны были, ты объясни? – спросил я.

– Как зачем? Музыку слушать. Хорошую, а не барахло. Интересно.

Я доверительно наклонился к главарю шайки и сказал следующее:

– Понимаешь, в Горкоме думают, как вам помочь. На самом деле помочь. И с музыкой тоже. Ты в этом деле разбираешься. Скажи, что нужно сделать? Какие у тебя предложения? Что бы ты посоветовал?

Гаврилов, совершенно игнорируя меня, по-прежнему ба-

рабанил пальцами по столу и смотрел на следователя.

– Раиса Вениаминовна, когда суд, а? – решительно спросил он. – Надоело!

– Ты отвечай на вопросы, Гаврилов! – оборвала его Раиса Вениаминовна. – Отвечай, когда спрашивают!

– Стандартные вопросы, – бросил он небрежно, но все же обратил на меня свой взор.

– Ты чем-нибудь еще занимаешься, кроме учебы? – спросил я. – Увлекаешься чем-нибудь?

– Он футболист, – подсказала Раиса Вениаминовна.

– Да, футболом занимаюсь, – согласился Александр. – Иногда. Да бесполезно все это! – опять не выдержал он. – Разговоры одни!

– У вас еще есть вопросы? – вежливо спросила меня Раиса Вениаминовна.

– Так вот, Саша, – решил я попытаться еще раз. – Я на самом деле спрашиваю, серьезно. Что нужно сделать, чтобы вам магнитофоны не хотелось воровать? Может быть, клуб какой-нибудь? Спортплощадки? Как ты думаешь?

– Да что там клуб, клуб. Бесполезно это все. Пустые слова. Не верю я. Разговорчики у вас одни... Раиса Вениаминовна, ну так когда же суд, а?

Раиса Вениаминовна, не отвечая, выжидающе смотрела на меня.

– Ладно, – сказал я. – Тогда все.

– Суд скоро, Гаврилов, только, боюсь, он тебе радости не

много принесет, – с досадой сказала Раиса Вениаминовна. – Иди. Вызову, когда надо будет. Гуцулова позови.

– Ну, как? – спросила она, когда Гаврилов вышел, отвесив напоследок насмешливый церемонный поклон нам обоим. – Фрукт, правда? У него кличка есть – «Псих». Ребята его бо-ются до смерти. Говорят, он одного парня так избил, что тот едва выжил. А все же не выдал его, и никто не донес. Мы только сейчас узнали.

– А дома как у него?

– Отец районный деятель, крупный, я его несколько раз вызывала. Не явился пока. А мать, по-моему, сама своего сына боится... Вы спрашиваете, отчего преступления. Так он же ведь, Гаврилов этот, никого, кроме себя самого, «в упор не видит» – так они выражаются. И это при том, что в школе неплохим учеником считается. Разглагольствовать он умеет! Да и способности есть – от природы даны. Английский знает – папаша научил. А за душой ничего нет, вместо сердца – пустое место. Кому он нужен, его английский? Родители избаловали. Единственный сынок ненаглядный. «Сашенька, бери то, Сашенька, возьми это, Сашенька, чего ты еще хочешь?»... А про душу Сашенькину забыли. И теперь вот ненаглядный в тюрьме окажется. Догляделись! Думаете, такого жалко? Такому поработать – одно лекарство. Но он ведь, негодяй, и в колонии приспособится, да еще папаша поможет. Еще не знаю, будет ли колония – папаша-то из больно влиятельных. Грозил уже мне по телефону, вежливо,

так сказать, намекал. «А Вы, говорит, давно в этой должности работаете? А непосредственный начальник у Вас кто? А Вы, между прочим, учитываете, что у моего сына хорошие оценки в школе, что он в первый раз? Что же до материальной стороны, то я в дар школе японский магнитофон презентую...» «Материальной стороны!» Кроме этой стороны, он, похоже, ничего и не видит. Вот и сынок его такой же. Его – в тюрьму и по-настоящему надо! Чтобы прочувствовал. А еще лучше – в тайгу, на лесоповал. Вот и понял бы, почему фунт лиха... Сейчас Гуцулов придет, обратите внимание. Не ему чета. Земля и небо, совсем другой парень. Вот за кого обидно...

Вошел худенький темноволосый парнишка. На его лице застыло выражение тревожной внимательности. Он вежливо поздоровался и осторожно сел, когда Раиса Вениаминовна ему предложила.

– Вот, Олег, это товарищ из Горкома комсомола, он хотел бы с тобой поговорить, – сказала Раиса Вениаминовна, ободряюще глядя на него. – Расскажи, как было. Почему ты пошел с Гавриловым? Ведь ты сам сказал, что раскаивался потом и больше не ходил с ним ни разу – вы даже поссорились, по-моему, да? И почему ты не отнес магнитофон в милицию или обратно в Красный уголок – ведь он целую неделю лежал в сарае и ржавел? Ты же ведь все равно не взял его к себе домой.

– Это было бы предательством, – серьезно и тихо сказал

Гуцулов. – Я предателем никогда не буду.

– Ну какое же это предательство, дурачок? Ну, ладно, хорошо. А почему ты в первый раз пошел с Гавриловым, зачем тебе было нужно?

– Не мог не пойти. Мы дружили. Он мой товарищ был.

– Ну вот, видите, – вздохнув, сказала Раиса Вениаминовна, обращаясь ко мне. – Хорош товарищ!

– Олег, а ты вдвоем с мамой живешь? – спросил я своего тезку.

– Да. – Тот встрепенулся и всем телом повернулся ко мне. – А что?

– Почему ты не учишься?

– Учился...

– Ну, а тебе нравится эта специальность, по честному?

– По честному, нет.

– Он в Морское училище мечтал поступить, – вставила Раиса Вениаминовна.

– Ну, и что же? – спросил я.

– Так. Не получилось. – Он потупился. Руки его никак не оставались в покое.

– Значит, ты сейчас не работаешь и не учишься, так?

– Так.

– А ты пробовал устроиться на работу?

Гуцулов презрительно фыркнул:

– Сколько раз!

– Не берут?

– Не берут.

– А ты на самом деле хотел бы работать где-нибудь? Тебе это сейчас особенно нужно, ты ведь понимаешь.

– Да, Олег, – подтвердила Раиса Вениаминовна. – Тебе это обязательно нужно сейчас, до суда. А то ведь неизвестно, как повернется.

– Я знаю, Раиса Вениаминовна, – серьезно согласился Гуцулов.

– Слушай, я постараюсь тебе помочь, – сказал вдруг я, вспомнив о Варфоломееве и Силине. – У меня есть знакомые в райкоме комсомола, не знаю, конечно, в их ли это возможностях, но если в их – они сделают. Я им позвоню.

Раиса Вениаминовна просияла:

– Ну, вот видишь, Олег... Спасибо Вам большое. Жалко парня. Попробуйте, может, они сделают что-нибудь. У Вас, может быть, еще вопросы есть?

– Нет-нет, позвоню в райком, тогда уж и...

– Ну, иди, Олег, смотри только осторожнее, понял? Не натвори чего-нибудь...

Выходя, Гуцулов посмотрел на меня. Я тоже смотрел на него, на своего тезку. Он мне нравился. Ему нужна помощь. Необходима. Получится ли? Он, очевидно, видел уже во мне своего защитника.

Покинув кабинет Раисы Вениаминовны, я тотчас позвонил Силину. И попросил за Гуцулова.

– Он из какого района? – озабоченно спросил Силин.

И тут только я понял.

– Кажется, из другого, – сказал, уже все предвидя.

– Плохо, если так, – вздохнул Силин. – Мы попробуем, конечно, но твердо ничего обещать не могу. Варфоломеев придет, я ему расскажу. Позвоните вечером или завтра, ладно? Как фамилия этого паренька? Записываю...

Опять был яркий солнечный день. Просто великолепный. Я сел на лавочку у остановки автобуса. Что же, что же делать? Идут вокруг люди. Каждый со своим миром, со своей болью ...

Я сидел на лавочке и мучительно соображал, что могу сделать сегодня еще.

30

– Сейчас пройдем в комнату воспитателей, – сказал Сергей Сергеевич Мерцалов, – там и поговорим, они знают, что вы пришли, а потом я вызову вам, кого захотите. А хотите – прямо в камеры. В общем, смотрите сами. Хорошо, что вы пришли, мы уже давно говорили и писали, и – ничего. У нас уже лет двадцать не было ни одного корреспондента, а, может, и больше, я так вообще не помню. Вы от какого журнала? От молодежного? Ага, понятно. Знаете, жалко ребят. Вы думаете, нам самим приятно все это? Есть, конечно, отпетые, а так все несмышлениши, им лет по шестнадцать-семнадцать, а туда же... Два-три года в колонии – вот вам и шко-

ла, они сами так и говорят, что школу проходят: двухлетку, трехлетку, семилетку. А после уже все, дело дрянь... Ну, вы сейчас сами посмотрите. Вот, сюда заходите...

– Здравствуйте.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте!

– Садитесь, пожалуйста, вот, сюда можно, за этот стол...

Вот, товарищи, это журналист. Из журнала. И от Горкома комсомола тоже. Знакомьтесь.

– Ого, наконец-то! Спыхватились-таки. Мы уже вас столько лет ждем! Статью писать будете? Нет? Очерк? Ага, ну все равно. Наконец-то, побеспокоились...

– Слушай, брось ты трепотню. Знаете, вы о чем напишите? Напишите, во-первых, что больше надо присылать корреспондентов, не стесняться и не бояться писать больше. Чего мы боимся? Америки, что ль? Так у них же у самих...

– У них у самих черт знает что делается!

– Да, вот именно, у них у самих...

– Да и у нас тоже, будь здоров!

– Так тем более, черт с ней, с Америкой, сколько на нее оглядываться будем? Надо у себя порядок наводить, а то скрываем, молчим все, а толку что? Знаете, что преступность за последние годы выросла? Она падать должна, а она растет, порядок это, нет? А нас так даже никто не спросит, нам, вот, приказ по должности: воспитывай! Сначала доведут парня до того, что он набедокурит невпроворот, а потом:

воспитывай! Надо сразу воспитывать, с самого начала. Макаренко как говорил?...

Это был мой первый день в тюрьме, в так называемом «Детском приемнике» – для «несовершеннолетних правонарушителей».

Алик Амелин договорился с заместителем начальника тюрьмы подполковником Чириковым, и тот сказал, что я могу идти тотчас. «Захвати с собой паспорт и на всякий случай предупреди родных, понял? Ха-ха!» – весело подшучивал Алик.

Я позвонил Чирикову, и мы договорились.

Ах, какая же чудесная погода стояла в те дни конца апреля! Солнце всю хозяйничало на небе, снег окончательно стаял, улицы поливали каждую ночь, и пыли было мало, особенно по утрам. Я ехал в метро, потом на трамвае, вышел на улицу со странным названием «Матросская тишина», не сразу нашел тюрьму – все спрашивал, смущаясь: «Вы не скажете, где здесь тюрьма? Тюрьма где здесь?» И казалось, что и окрестные улицы, и люди, которые здесь живут, и просто прохожие обязательно носят отпечаток этого мрачного места.

Однако место оказалось совсем обычным на вид – обыкновенная улица. Правда, высокий кирпичный забор. И все же я подумал: вот если бы не знал о тюрьме, то, проходя случайно по этой улице, почувствовал бы?

Приближаясь к проходной – унылое серое здание и окна с

решетками, но, вообще-то говоря, ничего особенного, а тем более жуткого... – я встретил женщину с опухшим лицом и красными глазами. От слез? Но когда спросил у нее, сюда ли иду, где проходная тюрьмы, она как-то очень бойко и даже весело ответила, что да, мол, сюда я иду, правильно, а проходная – вон те двери. Она даже развеселилась как будто бы и добавила с сердечностью:

– Вон звоночек, видите? Звонить нужно, часовой и выйдет, – сказала так, как будто бы объясняла, как войти в магазин.

Я позвонил, часовой вышел не сразу, но все же вышел, спросил, что нужно. Я сказал, что к Чирикову, тот обещал выяснить и скрылся. Я остался у дверей снаружи.

Честно говоря, было как-то неловко стоять на улице у проходной тюрьмы – казалось, что прохожие с особенным интересом разглядывают меня и, конечно же, ищут на моем лице печать горя, и, может быть сочувственно думают: «Кто у него? отец? брат?» И потому я как-то невольно старался делать очень бодрый, независимый, свободный вид, словно подчеркивая, что я не на свиданье, нет, я журналист, мне очерк писать... Глупость, конечно, а ничего не поделаешь – тюрьма это тюрьма.

Наконец, часовой распахнул дверь, велел войти, сказал, что позвонит сейчас Чирикову, и я должен буду с ним говорить. Он набрал номер, потом передал трубку мне, я услышал знакомый уже, приветливый голос Чирикова, назвался,

он узнал меня и сказал, чтобы я подождал. Он придет за мной.

– Паспорт есть у вас? – строго спросил часовой.

Я протянул паспорт с внезапным ужасом от промелькнувшей нелепой мысли: ну как он спросит, где я работаю – ведь я «тунядец»? Хорошо, что хоть не сам созванивался с Чириковым, хорошо, что хоть Алик знает, вступится, если что...

В тесное помещение проходной вошла женщина в синем халате, очень похожем на халат институтского лаборанта. На ее лице был заметный шрам.

– Вы к Чирикову? – деловито обратилась она ко мне.

– Да.

– Пойдемте.

Мы вышли из проходной и зашагали по длинному коридору. Я оглядывался тайком, искал двери камер, решетки, но коридор был обычный, учрежденческий. Встретилось несколько совершенно обыкновенных людей в штатском. «Напоминает заводоуправление», – подумал я.

Раза два споткнулся, идя вслед за женщиной в синем халате, и даже здесь, в коридоре, по инерции делал свободный, независимый вид: я, мол, не заключенный, а журналист, я по своей воле, мне очерк писать... Но никто из проходящих, кажется, не обращал на меня внимания.

И тут я ощутил слабый, едва уловимый запах дезинфекции. Хлорки, или карболки. Хотя такой запах стоит во многих учрежденческих коридорах, но я счел это первым при-

знаком места, в котором находился впервые в жизни.

Миновали какую-то дверь, пошли по новому коридору. По стенам коридора тоже были все двери, одна из них приоткрыта. На ходу я заглянул в темную щель и вздрогнул, увидев в полутьме экран и стриженные головы. И догадался тотчас: ОНИ смотрят кино.

Наконец, перед нами – большая дверь-решетка из толстых железных прутьев. Провожатая спокойно вытащила из кармана огромный ключ, сунула его в замочную скважину и повернула. Дверь со скрежетом отворилась, мы оба шагнули вперед, женщина обернулась и заперла дверь. Теперь – за нами.

Каменный маленький дворик – как в церквях или в монастырях, – каменные серые стены с маленькими зарешеченными окнами со всех четырех сторон. Наверху – небо, но оно действительно далеко и даже какое-то ненастоящее, а солнечные лучи здесь, кажется, – не солнце, а просто ослепительный белый свет.

Миновали дворик, опять вошли в какую-то дверь, поднялись по лестнице.

Еще одна дверь – и оказались в кабинете подполковника Чирикова.

– Я вызову вас, Ангелина Степановна, – сказал Чириков, и провожатая вышла.

Константин Иванович Чириков был мужчина лет пятидесяти пяти, черноволосый, с легким проблеском седины, с до-

вольно интеллигентным лицом и доброжелательными светлыми глазами. У меня тотчас же возникла мысль: почему, по какой такой особенной причине он выбрал себе эту работу? Как он говорит о ней своим знакомым? Глупо, но я машинально искал на его улыбающемся добром лице следы жестокости, садистические наклонности. Ведь должно же быть что-то! Но не находил. Чириков улыбался на самом деле приветливо, его лицо было совершенно обычным.

И все же, так и не сумев преодолеть растерянности, я задал идиотский стандартный вопрос:

– Константин Иванович, скажите пожалуйста, что вы лично думаете о том, как можно бороться с преступностью несовершеннолетних? Какая работа, собственно, проводится в тюрьме в этом направлении?

Подполковник слегка изменился в лице – видимо не ожидал от журналиста такой глупости.

– Мы стараемся воспитывать уважение к закону, – слегка улыбаясь, заговорил он. – Агитируем, проводим беседы... Кинофильмы показываем. У нас есть мастерские...

Тут я отчасти опомнился, более или менее пришел в себя. Подполковник, слава богу, кажется, понял.

– Ну, а теперь я вызову воспитателя Мерцалова Сергей Сергеича, – с облегчением сказал он. – Мерцалов покажет вам все, что захотите.

– И в камеру тоже можно будет зайти? – спросил я, едва справляясь с волнением.

– Да, разумеется. Куда угодно. Действуйте. Хочу сказать, что вы занялись благородным делом. От души желаю вам успеха. Мы поможем всем, чем сможем. Сколько у вас времени? Весь день? Очень хорошо. Если не успеете сегодня, можно прийти еще. Только лучше после праздников, а то у нас сейчас трудное время... Ну, всего доброго. Желаю успеха.

И он крепко пожал мне руку.

Вошел Мерцалов, старший воспитатель, и мы отправились. Сергей Сергеич привел меня в комнату воспитателей, и тотчас на меня прямо-таки накнулись те, что были в комнате – собрались, видимо, в ожидании...

– Погодите, что вы все на него напали! Не все сразу. Дайте человеку в себя прийти, что надо, он и сам спросит... Вы уж на них не сердитесь, нагорело это все, мы же с этим каждый день сталкиваемся, насмотрелись. Извините нас.

Это говорил Мерцалов.

– Нет, что вы, что вы, наоборот. Я очень рад, что вы так... Я и хотел у вас об этом спросить, что вы сами думаете, что надо делать, чтобы... – В понятной растерянности, но искренне я отвечал.

– Вот! Правильно! Надо писать больше об этом, не скрывать. Первое и главное!

– А потом прежде всего надо спрашивать со взрослых. Слушайте меня. Вы меня послушайте! Мы вот все в газетах кричим, что школа. «Школа виновата, школа!» Да, школа,

правильно. Ну, а родители куда смотрели, а? Или вообще взрослые? Даже на улице: парень у него же прикурить просит, а он – ладно, как будто так и положено. «На, прикури-вай, малыш!» Водку ребятам продают...

– Отца и мать судить за детей надо!

– Правильно!

– Надо, конечно. А почему? А потому, что мы вот ребят судим, а если разобраться, то отец с матерью часто больше даже виноваты! Сами водку пьют или еще там что, шуры-муры, а за ребятами и не смотрят, что же мы с ребят-то хотим, что же с них требовать-то, если родители сами?

– Судить надо, и все! Раз-другой родителей осудить, как следует, присудить им за ребенка срок, тогда очухаются, поймут! Пойму-ут!

– Вот вы тут все родители! Родители! Да? Что ж, верно, родители. Семья. Правильно. А если мать работает весь день, приходит вечером, а отца, допустим, нет, или он есть, но тоже работает? Как тогда? Ребенок, что же, приходит из школы, дома – никого, он – на улицу. А улица, сами знаете, всякая бывает, и даже если, допустим, дружков никаких таких особенных нет, а все равно заняться чем-то нужно? Ну, хорошо, там, футбол-волейбол, секция, а если, допустим, секций нет и в футбол негде сыграть – есть же такое? Что же остается?

– Ну, послушай! Послушай ты... Причем тут!...

– Нет-нет, погоди, погоди. Дай мне сказать. Я не говорю,

что он должен, к примеру, машину угонять или, там, грабить-хулиганить. Но все же, смотри: если тебе делать нечего, на стенку полезешь, так? От скуки-то! А там еще рыцарство разное и другое. В разбойников играют, в индейцев. Он же парень, мальчик еще, верно? Надо же ему...

– Вот и должен комсомол...

– Во! То-то и оно! Тут вот вы, комсомольцы, и должны свое дело делать. Про то и речь!

– А, брось! Они и делают свое: шефство разное... А что с этого шефства, если шеф придет на полчаса и уйдет, а вечером папаша вдрезину домой вломится и мамашу по шее, по шее. А потом сына своего или дочь. Тут и шефство твое не поможет, понял?

– Вы их не слушайте, они вам такого наговорят...

– А что, неправду говорим, что ли?!

– Да нет, правду-то правду...

Голоса звучали для меня, как музыка, я упивался ими и нарочно не перебивал, ни о чем не спрашивал. «Вот же, вот люди! Это – люди!» – в очередной раз думал я. Поразительно что не где-нибудь, а в тюрьме, от тюремных воспитателей я слышу то, что так хотел слышать всегда – тревогу не за себя, а за других, сочувствие другим, понимание, что чужое горе – это горе твое, никуда не денешься от этого, бессмысленно и бесполезно затыкать уши и жмурить глаза! Мы все связаны, колокол чужой беды звонит все равно по тебе, как бы ты ни отворачивался и не защищался – правильно написал

Хемингуэй!

Да, в очередной раз я был потрясен. Настолько не было в их сумбурных монологах искусственности, позы, желания как-то себя показать! Наоборот! Забота и скрытая, привычная боль, искренность, поиск выхода! Сочувствие! Да, да, вот уж не ожидал! Я понимал, конечно, что совсем не обязательно они так же добры со своими «воспитанниками», однако сейчас видел перед собой людей, мучимых тем, что они изо дня в день наблюдают. Не было озлобленности, черствости, закоснелости. Наоборот! Неравнодушны они были и искренни, вот в чем дело!

Я вытащил свою тетрадь, пытаюсь набросать хоть что-то – и вид тетради и ручки ничуть не смутил их...

– Вон, давай-ка Брыксина ему позовем, покажем... Знаете, парню пятнадцать лет, два года колонии получил и уже второй раз, вторая судимость. И ни мамаша, ни папаша ни черта внимания не обращали, спохватились, когда уже поздно... А парень весь исколот, и такие слова... Умрете! Смех да и только. Я ему говорю: как же ты, Валерка, купаться-то с девушкой будешь? Как же ты в плавках ей покажешься? А ему все нипочем... Приведи Брыксина, Саш!

– Привести? Хотите посмотреть?

– Конечно. Если можно.

– Сейчас приведут. Пятнадцать лет парню, а уже вторая судимость, вот как. Два года колонии. Ничего не понимает, как чокнутый...

Привели Брыксина. Паренек растерянно улыбался.

– Вот он, герой! Давай, давай, иди сюда ближе, Валерка.

Покажи-ка свою красоту, вон человек посмотрит, полюбуется. Разденься-ка. Ты же этим сам хвалился. Чего же ты? Не стесняйся, давай-давай. Люди свои... Ну, что видели? Видели! Ха-ха! Ох-хо-хо, видали? Нет, вы прочтите, прочтите!... Да ты и штаны давай скидывай, ногу-то, ногу-то покажи, самое интересное... Давай-давай, не стесняйся, ты же ведь этим гордился, что же ты думал, когда делал-то, а? С девушкой купаться как пойдешь, а?

– А я один схожу, чего мне с девушкой...

– Давай, давай, скидывай, пусть человек полюбуется... О, видали?! Ха-ха-ха! Во, дает! Дурак ты глупый, зачем тебе эта красота-то нужна была, а? Видите, что понаписал! Умрешь со смеху. Додуматься надо! Эх, ты, Валерка, бить тебя некому... Ладно с девушкой, а как ты на уроки физкультуры-то в школе ходил, а? Или не ходил совсем?

– Ногу перевязывал, подумаешь. А здесь – майка с рукавами.

Брыксин по-прежнему улыбался. Он как будто бы понимал, что не со зла они это, не в насмешку. Что от досады они и от горечи. А разрисован он был и вправду смешно...

– О, пострел, видали?! Майка с рукавами! И смеется. Плакать тебе, дураку, надо, а ты смеешься. Ладно, одевайся, парень. За что первый-то раз попал, расскажи вон товарищу.

– По 117-й. Знаете.

– «По 117-й»!... Тебе, дураку, в четыре глаза мало было смотреть теперь, а ты в два не смотрел. Знаешь, ведь, что второй раз условным не отделаешься. Эх ты, Валерка, Валерка, друг ты мой ненормальный... Ну, вы спрашивать у него будете что-нибудь?

– Как у тебя в семье, Валерий? Ты с кем живешь?

– Да все у него есть – и отец, и мать! Не смотрят только ни черта за парнем. Вот вам родители! Их предупреждали, говорили, у сына условное было... А теперь плачут навзрыд, в истерике бьются. У матери инфаркт получился. Что, Валерк, а с матерью-то виделся?

– Виделся.

– И смеется! Во, дурак. Мать едва выжила, а ему все ни-почем. Ладно, пойдем, герой...

– Уткина ему приведи, Уткина... Сейчас еще один случай посмотрите. Тоже родители. Этот-то ладно, совсем дурак, пятнадцать лет, что вы хотите, а тот и постарше и парень хороший, сами увидите. По 117-й. И тоже во второй раз.

– Такие маленькие – и 117-я? Странно все же, – искренне недоумевал я.

– Что, маленькие! Уткину в первый раз и вовсе одиннадцать было! Попытка изнасилования. Но там, правда, не все-рьез – с большими в компанию затесался, хотел тоже попробовать, как это с девчонкой балуются... Условное. Всего-то как попытка, не успели они, зашухарили их, а то бы... А то все равно бы так не отделался. Правда, самому старшему

что-то лет шесть дали. За покушение...

Грустно все это было, грустно. Малые дети фактически. И в тюрьме... А «такие слова» на теле пятнадцатилетнего паренька казались мне тогда даже неким символом. Ну почему же мы без «таких слов» обойтись не можем никак, ко всему прочему, а? Россия – мать, любимая Родина...

31

В нашу «комнату воспитателей» вошел человек в форме.

– Здравствуйте, товарищи!

– Здравствуйте.

– Познакомьтесь, пожалуйста. Старший инструктор-воспитатель...

– Григорьев, Алексей Алексеевич. Подполковник. Очень приятно... Хорошо, хорошо, что вы пришли. Не надо бояться правды! И надо улучшить отношение к работникам тюрем. Нет у нас еще правильного отношения. Вы уже говорили с товарищем?

– Да, говорили.

– А про Марченкову рассказывали? Нет? Напрасно. Поучительно, поучительно... Ну, в мой кабинет, пожалуйста. Прошу. Сергей Сергеич, а вам в восемнадцатую надо зайти, там с Крюкиным что-то.

Мерцалов вышел. За ним и мы с подполковником.

– Вы далеко-то от меня не отходите. А то, знаете... Ча-

совые шутить не любят, – Алексей Алексеевич подмигнул и усмехнулся.

– Да-да, конечно. – я послушно шел за ним.

Наконец, вошли в какую-то комнату. Очевидно, это был его кабинет.

– Так вот про Марченкову, про Софью Марченкову. Садитесь... Но сначала хочу заявить следующее: вам нужно особенно подчеркнуть плохое отношение к тем, кто возвращается из колоний. Вы статью в «Новой жизни» читали? Прочтите. Она, конечно, довольно поверхностная, но отдельные мысли есть. И важен прецедент. Не надо бояться правды, надо больше писать! Ну, ладно... Так вот про Марченкову. Очень характерный случай. Девушка, 17 лет, была осуждена за кражу. Вышла досрочно – и правильно, хорошая девушка, по глупости оступилась. Ну, освободилась, приехала в город. И – ко мне. Алексей Алексеевич, говорит, так и так, не могу устроиться на работу. С судимостью не берут. 27 копеек осталось. Что, говорит, делать? Симпатичная такая девушка, скромная. С кражей, знаете ли, действительно как-то случайно вышло. Личико хорошенькое, а жили они с матерью очень бедно. Но тут случай представился. Затмение и нашло. Ну, ладно. Так вот пришла, значит, ко мне. На работу, говорит, не берут, куда деваться, что делать? Я звоню в Горком. К вам, значит. Так, мол, и так, помогите устроить на работу. Они туда-сюда. Не помогли. Что я мог сделать? Одному своему знакомому позвонил – тоже ничего не

вышло. Дал ей сколько-то денег... Деньги у нее скоро кончились. Тогда она пошла на вокзал и рассказала обо всем в милиции. Один милиционер ей посочувствовал, тоже денег дал, на работу устроил. А говорят – у нас милиция плохая... Ну, ладно. Несколько дней прошло, а она опять к тому милиционеру приходит. В чем дело? На работе аванс не дают, а ей буквально ходить не в чем. Где государство наше гуманное, а? Где государство? Ну, в общем, туда-сюда, с кем-то она в конце концов опять связалась, и – кража. Не смогли мы, оказывается. Опять тюрьма. Теперь уже больше дали – два с половиной. Сейчас в колонии. Конечно, в чем-то она и сама виновата, не без этого, а все-таки: что же это получается? Где государство?

– А что родители? – спросил я, внимательно слушая и стараясь все записать в тетрадь.

– Родителей у нее нет. Сначала с матерью жила, а как дочь в колонию попала – с матерью припадок. Скоро и умерла. Так одна и осталась в маленькой комнатухе. И парня хорошего не успела найти. Жизнь разбита. А девушка такая красивая, скромная. Хоть рыдай. Э, что там! бывает, что и мать есть, а детей – трое или четверо. А мать одна работает. Конечно, пособие, но... Ох-хо-хо! Копейки... Что нужно делать? Разные формы нужны! Главное – думать об этом надо, не забывать! И писать больше об этом! А если, допустим, в семье все в порядке – родителей привлекать обязательно! Привлекать к суду родителей, а не ребят! И еще – школа... Повысить зара-

боток учителей необходимо! Государство на них экономит, а потом эта экономия, знаете, как оборачивается? Мы здесь это и видим. Да, поздно. Откуда средства взять, скажете? А за счет высокооплачиваемых! Сколько у нас некоторые товарищи, особенно чиновники, получают? А! Вот за их счет и повесить учителям!

Когда подполковник рассказывал про Марченкову, я тотчас же, естественно, подумал о Лоре. Да я, собственно, почти все время думал о ней. Она не была здесь пока, но...

А когда Алексей Алексеевич спросил, куда бы мне хотелось теперь пойти, в какую камеру, и пояснил, что есть камеры сравнительно благополучных – тех, кто по первому разу, – есть средние, а есть одна камера «отпетых», я, конечно же, захотел к «отпетым». Может быть, мне только показалось, но желание мое не вызвало у подполковника особенного энтузиазма...

Проследовали опять по тюремному коридору, минуя обитые железом двери камер, встретили нескольких надзирателей – молодых парней в военной форме – и остановились, наконец, около одной из дверей. Надзиратель отомкнул замок, и мы с подполковником вошли.

Первое впечатление было такое, будто мы находимся в общепитии. Посреди небольшой узкой комнаты стоял длинный стол, накрытый довольно чистой клеенкой в голубую клетку. Я непроизвольно отметил, что очень похожая лежит на столе в моей комнате... На клеенке стояли шахматы – фи-

гуры были расставлены для игры, – и лежало несколько книг. Название одной я заметил: «Как закалялась сталь». Любопытно...

В комнате было семь молодых ребят. Двое или трое из них сидели за столом – они, по всей вероятности, приготовились играть в шахматы, – а остальные разместились на двухэтажных нарах, которые протянулись вдоль стен, справа и слева от двери. Один лежал на верхних нарах – видимо, спал, но когда мы вошли, тотчас поднялся и спрыгнул на пол, стукнув пятками. Маленькая узкая комната, небольшое окно – оно зарешечено и прикрыто щитком снаружи. И эти нары вдоль стен, похожие на вагонные полки, и вся обстановка делали помещение похожим на сравнительно большое купе поезда дальнего следования...

Как только мы вошли, все семеро тотчас встали, выстроились в ряд, вытянулись, и один из них, высокий и голубоглазый, бойко отрапортовал. Он, как и все другие, был острижен наголо.

– Вольно, – сказал Григорьев. – Садитесь. Садитесь, садитесь, рассаживайтесь. Вот, товарищ хочет с вами поговорить.

Все сели на лавки вдоль стола. Сели и мы с Григорьевым – с торца. Григорьев сказал:

– Это товарищ от Горкома комсомола. Он хочет вас кое о чем спросить.

И замолчал. Семь пар глаз уставились на меня.

Разные, совершенно разные – сероглазые, голубоглазые,

кареглазые, один черноглазый. Даже головы, обезображенные стрижкой, разной формы и разный оттенок кожи. И сидят по-разному – неодинаковые позы. Один паренек улыбался, как показалось, в смущении, другой хитро посматривал, на лицах двоих – напряженное и серьезное внимание, чьи-то серые глаза выражали испуг, кто-то смотрел с откровенной неприязнью, даже как будто бы со скрытой угрозой...

И я решил пойти по самому простому пути – расспрашивать каждого по порядку...

Дети... Большие, разные, играющие во взрослых... Да, натворившие безобразия. Угоны автомашин. Драки. Мелкое воровство. Все, кто сидел в этой камере, привлекались по второму разу. «Рецидивисты»... Не оставляла мысль: то, что они делали – и за что оказались здесь, – имело *причины*. Надо их наказывать? Надо. Но наказание, которое они получают – и будут получать еще долго... – явно выглядело чрезмерно жестоким, а потому бессмысленным. Обыкновенные молодые ребята...

Одного черноглазого паренька я отметил особенно, когда еще только вошли. Умный, понимающий взгляд, ироничный даже. Когда он заговорил, все внимательно слушали его – чувствовалось уважение, которым он здесь пользуется. Удивило, какой большой срок ему дали – *шесть лет*. Удивила фамилия и имя его, с виду он не русский. Семенов Александр Михайлович. Держался он со мной и с подполковником как с равными. В первый раз его осудили условно на год,

и теперь этот год прибавили к сроку.

– Но почему все-таки такой большой срок? – спросил я.

– Это вы спросите у тех, кто меня судил, – спокойно ответил Семенов.

– Ты, что же, считаешь, что они не правы?

– Конечно, не правы, – сказал он так же спокойно, и тотчас несколько человек поддержали его:

– Смешно: шесть лет ни за что!

– Правы! Да вы их не знаете!

– Это же лотерея, как на экзаменах!

– Не лотерея, а кто кого предавит. Они на нас самоутверждаются. И деньги еще, взятки...

– Но за что же, все-таки тебя-то? – спросил Олег.

Семенов усмехнулся:

– За голубей. Голубей хотели украсть. Ну, сторожу топориком пригрозили... Часы у него взяли. Так, попугать. Конечно, вернули бы. Спрятали на время. Не думали, что он донесет. Он ведь, знаете... Как бы это покультурнее выразиться? Он мальчишек любит. Он одного нашего, знаете, как... До крови. В милицию парень не хотел заявлять, родителей боялся, да и стыдно ведь. Но мы-то знали! Я теперь только об одном жалею: надо было этого сторожа все-таки стукнуть как следует.

– Ну вот, видишь... – сказал подполковник. – Стукнуть! А если бы и он тебя, к примеру, вот так, топориком?

– Ого! За что же?

– Скажете тоже! Его-то за что?

Камера заволновалась.

– Да, меня-то за что? – с улыбкой спросил Семенов. – Меня не за что. А его на самом деле стоило бы. Вы же не знаете, какая это сволочь. Если бы я был такой сволочью, то я бы и жаловаться не стал, если бы мне топориком пригрозили. Я бы сам себя... Головой в петлю. Он же знает, кто он такой. Он в десять раз худшие вещи делал, мы про него на суде ничего не сказали, а могли бы. Пачкаться не хотелось. Как он мальчиков к себе заманивал, скот... Опускал их, скотина! Эх! Ладно, пускай. Отсижу шесть лет – будет двадцать три. Еще не все потеряно. Чего уж теперь.

И он усмехнулся.

Я посмотрел на Григорьева. Тот пожал плечами.

Вторым из тех, кто особенно запомнился, был Ивлев. Убийца. Дело произошло в электричке. Он убил дружинника. Ножом.

Он был единственным из всех, кто сразу же активно не понравился мне. В его белесых пустых глазах таилось безумие, как мне показалось. Тогда же заметил я, что и ребята относятся к нему с неприязнью.

– Ну, и что же ты думаешь о том, что сделал? – спокойно спросил я, с трудом выдерживая его неподвижный взгляд.

Григорьев незаметно толкнул меня ногой под столом и, для верности, как бы невзначай, дотронулся еще и локтем.

– А? Что думаю? Думаю, что правильно сделал. Надо бы-

ло сделать. Он сам виноват. Оскорбил, гад. Таких вообще мочить надо сразу.

– Ты и правда так думаешь?

– Да. Не жалею.

Ну, в общем, только один из них искренне считал себя виноватым, а наказание справедливым...

– Ну, что ж, ребята, – проговорил я наконец. – Спасибо за то, что вы рассказали. А теперь общий вопрос ко всем. Что все-таки нужно сделать, чтобы... Чтобы вы здесь не оказывались. Вот большинство из вас говорит, что не виноваты, что судьи не правы. Так кто же тогда виноват? И можно ли изменить что-то так, чтобы вы здесь не оказывались? Что бы вы посоветовали? Ведь что-то, наверное, можно сделать, как вы думаете?

Вот тогда и возник диалог, который я запомнил очень долго.

– Бытие определяет сознание, – спокойно сказал Семенов.

– Причем тут, – тотчас недовольно буркнул подполковник Григорьев и нахмурился.

– Ну, как же? – обрадовался его реплике Семенов. – Вы же сами на занятиях говорили, Алексей Алексеевич. «Бытие определяет сознание» – формула Маркса, так? А если мы несознательные, то наше сознание, значит, несовершенно, так?

– Да уж, – согласился подполковник хмуро, не понимая, по-видимому, куда клонит Семенов.

– Ну, вот, – удовлетворенно продолжал черноглазый заключенный. – Наше сознание несовершенно. А так как сознание определяется бытием – значит, несовершенно бытие! А за бытие мы, ваши дети, уж никак не отвечаем. Вы его создали! И оно создало вас. Так кто же виноват? Уж во всяком случае не мы. Верно, ребята?

– Верно!

– Конечно. Правильно ты...

– Так вот я и спрашиваю вас, Алексей Алексеевич, почему вы нас здесь держите, а?

– Прекрати, Семенов, свои выходки! – с досадой воскликнул старший воспитатель и хлопнул ладонью по столу. – Держим, значит, заслужили.

– Ну, вот, видите, – обратился Семенов ко мне и развел руками в недоумении. – Мы нашей вины сами не чувствуем, а объяснить нам никто не хочет. Есть смысл в таком наказании?

Отвечать теперь нужно было мне, а что я мог ответить? Ведь черноглазый-то прав!

– И все-таки, – сказал я примирительно. – Что бы вы предложили? Что бы ты, Семенов, предложил? Или ты, Кириллов?

– Бытие надо менять, ясно, – сказал Кириллов, староста камеры. – Бытие никуда не годится, так получается.

– Э, нет, – возразил ему Семенов с тонкой улыбкой. – Скорее, получается, что старик-то ошибся. А может и не старик,

а переводчик. Частицу «ся» пропустили...

– Как так? – со все растущим раздражением, недоумевая, спросил Григорьев. – Причем тут...

– А просто, – невозмутимо ответил Семенов. – «Определяется»! Не «определяет», а «определяется»! Сознанием... Бытие определяется сознанием. Вот истина. Сознание надо менять – и в первую очередь вам! Вот тогда и можно будет с нас спрашивать! Но тогда и... Опять же с вас. С вас, взрослых! Ведь вы наше сознание воспитали. Какие вы – такие и мы, разве нет?

Последний вопрос опять был обращен ко мне.

– Ну, хватит! – сказал подполковник и резко встал. – Довольно чушь нести. Ты, Семенов, лучше бы на занятиях хорошо отвечал. Щеголяешь тут, понимаете ли, демагогией, а товарищ... У вас еще есть вопросы? – обратился он ко мне.

– Да нет, пожалуй, – сказал я. – Спасибо вам, ребята. Тебе, Семенов, спасибо особенное. Я подумаю над тем, что ты сказал.

И тут произошло забавное и, пожалуй, символическое происшествие.

Все время, пока сидели, дверь камеры была приоткрыта – Григорьев не захлопнул ее за собой. Теперь же, когда встали, и ребята окружили нас и в свою очередь начали спрашивать меня о том, смогу ли я для них что-то сделать и зачем вообще нужна была эта беседа, – кто-то, по-видимому, нечаянно – а может быть, и нарочно... – толкнул дверь. Она закрылась.

Щелкнул замок.

Дверь камеры не открывается изнутри. Услышав щелчок замка, подполковник вздрогнул, а ребята вдруг замолчали и заулыбались. Григорьев пошевелил плечами – видимо, мундир стал ему тесноват, – и принялся отчаянно нажимать на кнопку звонка, которая была рядом с дверью. Однако никто дверь камеры не открывал. Я огляделся. Улыбались все, кроме Ивлева, который смотрел все так же неподвижно и тяжело на подполковника Григорьева, старшего инструктора по воспитательной работе среди заключенных, пока тот, отвернувшись от всех, безостановочно нажимал на кнопку звонка. Шея его над воротником мундира побагровела.

Мы переглянулись с умным Семеновым.

Почему-то я шагнул обратно к столу и снова внимательно огляделся. Тесное «купе», тесная «комната». Неба в зарешеченном окне не видно – оно за щитком. Семь человек, таких разных. Замкнутое пространство. Нет, это не общежитие. Скорее, на самом деле – купе. Странно как-то читалось название лежащей на столе книги.

Только минуты через две подошел, наконец, надзиратель и на голос подполковника отворил дверь. Я еще раз простился с ребятами, и мы с Григорьевым вышли.

Странное чувство испытывал я тогда. Чувство удивительного родства с ребятами. Да, конечно, они преступники, верно. Очевидно, они и правда нарушили закон, а Ивлев вообще убил человека. Но многие ли из нас в тех условиях, в ко-

торых ребята в момент преступления оказались, поступили бы по-другому? И разве мало тех, кто поступал похуже, чем они – и продолжает поступать! – а ведь гуляет же на свободе! Разве не ясно, кого я имею в виду? Разве какой-то большой чиновник, НЕ ДЕЛАЮЩИЙ ТО, ЧТО ОБЯЗАН ДЕЛАТЬ, а тем более ДЕЛАЮЩИЙ что-то противозаконное, берущий, например, взятку – не есть преступник несравненно более крупный, чем эти мальчишки? Что-то не так все-таки в обществе нашем, что-то не так. А редактор журнала, опасаясь наказания сверху, а потому отвергающий рукопись, которая «верхним» не по нутру? А Кузин, о котором говорили Силин с Варфоломеевым? Да ведь сплошь...

День еще не кончился, и я не хотел уходить из тюрьмы. Мало ли, вдруг не удастся попасть сюда еще раз. Григорьев заметно устал – видимо, его доконал инцидент с дверью, – и я попросил проводить меня опять в комнату воспитателей.

Там был Сергей Сергеевич Мерцалов. Он предложил вызвать еще кого-нибудь, если я хочу.

– Да, – сказал я. – на Ваше усмотрение, если можно.

И Мерцалов вышел.

А я остался один. Впервые за время пребывания здесь. Нетрудно представить, что творилось у меня в голове. Я, конечно, здорово устал, но все же что-то еще держало меня, несмотря на то, что понимал: слишком много впечатлений в один день – тоже плохо. Много записывал – почти все, что они говорили, – и знал, что подробнее разберусь во всем

этом потом. Сейчас же, казалось, мозг, как сложная кибернетическая машина, работает сам, помимо воли, свободный. Я верил этой своей машине и ждал, что она, независимо от всяких сознательных логических построений, выдаст наконец результат, после которого я почувствую, что пора уходить. Сейчас, после знакомства с камерой «отпетых несовершеннолетних преступников», я мог с уверенностью сказать одно: они очень разны. И они – обычные люди. Как все. Кроме, пожалуй, Ивлева. А Семенов так даже явно вызвал симпатию. Я смотрел на них на всех внимательно, пытался найти нечто общее для этих ребят, какое-то одно свойство, отличающее их от других, этакое свойство-отличие. То, над чем бился когда-то, к примеру, Ломброзо. И не находил.

Так что же? Действительно есть оно, это трудноуловимое свойство, от природы присущее «отпетым преступникам», этакое криминальное клеймо, или... Или – случайность, сплетение обстоятельств, которое – сложись оно для другого, гуляющего сейчас на свободе, – привело бы и его сначала на скамью подсудимых, а потом туда, в эту вот камеру для «отпетых» или другую, подобную камеру? Если первое, то почему же ученые за столько лет никак не могут найти это криминальное свойство, от рождения заложенное в души определенных людей? Если же второе... Если второе, то значит ребятам этим просто не повезло, и судить их строго – значит добавлять к уже случившемуся горю, печальному невезению, сознательное зло. То есть фактически не по-

могать несчастному человеку, а – добивать его! Семенов во многом прав... Наказывать за проступки и преступления надо, конечно. Весь вопрос в том, как. Бить человека за то, что ему и так плохо, за то, что не повезло? Бить наотмашь даже тогда, когда он фактически не виновен? Не даром же родилась старая эта пословица: от сумы да от тюрьмы не зарекайся! Что же тут хорошего-то? Но где выход все-таки, в чем?

Да, забавно сказал Семенов: «Бытие ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ сознанием». Верно!

Вскоре Мерцалов привел невысокого коренастого парня. Когда парень, войдя, взглянул на меня, мне, честно говоря, стало нехорошо. Пожалуй, только два раза в жизни до этого момента я видел такие глаза...

Один раз это было в бане, вернее – в предбаннике. Неправдоподобно хилый дистрофичный мужичок никак не мог справиться с кровью, которая обильным ручьем лилась у него из носа и пачкала все вокруг – и его синие губы, и острую тощую грудь, и ноги. Она уже испачкала место, где он сидел, и пол. Платок его, напивавшийся кровью, комком лежал рядом, он теперь прикладывал к носу кальсоны, а кровь все лилась и лилась, хоть он и запрокидывал голову. Крови было неправдоподобно много, и казалось удивительным, что в таком тщедушном, маленьком теле столько ее. Он беспомощно хныкал – словно ребенок маленький, – и, казалось, уже примирился с тем, что кровь покидает его совсем, а все же ему было неловко перед банщиком, который стоял рядом,

перед соседями по лавке. Только один раз я встретился с его взглядом, увидел глаза...

Второй случай был тоже давно: я ехал в трамвае, стоя на задней площадке, вдруг трамвай резко остановился, заскрежетав, запрыгав колесами по рельсам, и со своей задней площадки я увидел, как из-под трамвая вылетел и упал на рельсы ботинок. Пассажиры, конечно же, сразу все вышли, охали, заглядывая под колеса, но ничего почти не было видно – неподвижный темный ком находился как раз между двойными трамвайными колесами, только небольшая темная струя забрызгала асфальт около рельс, а метрах в полтора – я не сразу заметил – лежал кусок чего-то беловатого. Как потом оказалось – часть головного мозга. Появился водитель, мужчина, и я увидел его глаза...

– Силаков, Василий, – представил парня Мерцалов. – Садись, Вася, – добавил он. – Вот товарищ от Горкома комсомола, расскажи ему. Может быть, он поможет нам чем-нибудь. Да ты не волнуйся, Вася...

– А? Да я нет... Вы поможете, да? Помогите, пожалуйста, если... Да, нет, вы не сможете, я уже...

– Да ты не волнуйся, Вася, брось. Расскажи, как было. Как мне рассказывал.

– Да, Вася, расскажи пожалуйста. Что у тебя за дело? Ты сейчас под следствием? Ну, вот и расскажи.

...Только в седьмом часу вечера вышел я из тюрьмы – в привычный солнечный мир. На улице все было так же. В од-

ном из дворов сидели и судачили старушки, освещенные лучами вечернего солнца, рядом играли дети в песке. Люди после работы спешили по магазинам. На площади, недалеко от парка, продавали надувные яркие шарики. Откуда-то доносилась музыка...

32

Проснувшись на другое утро на своей тахте, я впал в панику. Едва открыв глаза, с неприятным чувством подумал, что опять делаю что-то не то, вернее НЕ ДЕЛАЮ чего-то очень важного, ну просто необходимого и – опаздываю, безнадежно опаздываю! Да, было острое ощущение тревоги и необходимости немедленного, очень активного действия... Но что нужно делать в первую очередь? Что?

Лихорадочно вскочил с постели, схватил гантели и принялся делать гимнастику. Тут же бросил гантели, побежал умываться. Умылся наскоро и, растираясь полотенцем, торопливо и бестолково подсчитывал дни... Было еще только семь утра, звонить куда-либо рано, но тут вспомнил, что завтра – завтра! – идти на съемку в самый большой детский сад – «Б.П». На «майский праздник».

И лишь только вспомнил – стало еще более неприятно, муторно, до того не хотелось идти, что подумал тут же: а не позвонить ли утром, не сказать ли, что заболел, например, пусть кто-то другой... Отказаться! Отказаться! Ведь время

идет! А я только вошел в работу – и вот... Но нет, нет, нехорошо это, нехорошо отказываться, договорились! Они будут ждать, да и деньги кончаются – единственная надежда. Никуда не денешься. Нужно!

Сердце заныло: я опять вспомнил, что нужно обязательно пленок купить сегодня – тоже проблема! И батарею для вспышки, а ее, вероятно, придется искать по магазинам, батареи у нас дефицит. А старая сдохла уже. И фотобумагу нужно – того, что купил в понедельник, не хватит, а больше в магазине не было, взял последние пять пачек, и то продавщицу едва уговорил, у них по две пачки в руки положено, не больше. С бумагой, особенно той, какая нужна, в магазинах туго. И сегодня единственный день остался...

Ясности, ясности не было, вот в чем дело! Что важно сначала, а что потом? Что нужно сделать в первую очередь, а что можно и отложить?

Очерк! – вспыхнуло молнией. Я увлекся походами своими и совсем забыл об Алексееве, о журнале, а там ведь ждут. «В ближайший номер» – сказал Алексеев. Не хотелось бы подводить его все-таки...

Но тут же опять словно вспыхнуло что-то внутри: черт бы побрал их всех – и журнал, и Алексеева вместе с ним! Сами не знают, чего хотят! Давно уже написал бы я о Штейнберге, а нет ведь! Совершеннолетний Витя Иванов теперь, видите ли! Точнее, очень даже хорошо знают они, что им надо – начальству своему угодить! А таким, как я, «сознательным»,

о «преступности несовершеннолетних» мозги крутят! Плевать им на «маленьких преступников» на самом-то деле...

Даже Шишко и то больше прав, чем они: «Ну что это – месяц!» Проблемный очерк! Вот мои наблюдения, соображения по ходу им бы и надо печатать – это *правда*, по крайней мере была бы! Нет, им подавай «материал» по-быстрому и чтоб «как надо». «Партия решила – комсомол ответил: есть!» Все для «галочки»! Только начал входить в тему по-настоящему, и вот...

Чириков разрешил еще в тюрьме побывать, к Грушиной-Ваничкиной обязательно нужно съездить, на парня самому посмотреть! С дневниками Володиной, может быть, что-то придумать, попробовать выручить девчонку – Рахима к стенке прижать! С Раисой Вениаминовной и Гуцуловым тоже – ведь оба они надеются, ждут! А о Штейнберге все равно написать, обязательно – пусть и не Алексееву, а в другой журнал! С Силиным и Варфоломеевым тоже что-то решить, о них написать тоже обязательно, помочь, может быть! Ведь сволочи же те, кто мешает! И о тюрьме... Да, да, насчет Силакова встретиться со следователем непременно, ведь и он, Силаков – а с ним и Мерцалов, – тоже так просили вчера, а я обещал! Прокуратура Куйбышевского района, сказали, следователь Бекасова – побывать, поговорить, придумать что-нибудь. Пожалеть надо парня, никакой не преступник он – так просто случилось... Вон сколько очерков могло бы быть! Нет, им подавай по-быстрому и – в масть начальству. Как

«Суд над равнодушием» бабы этой...

А еще ведь Лора...

И стоило только о ней подумать, как я совсем растерялся. Что же тут-то? Как с этим быть? Ведь неделя прошла – неделя! – а я даже и не звонил. Вдруг звонила она? Меня ведь не было дома все эти дни... Поссорились в пятницу, да, но ведь...

Да, да, «Черная пятница» – она не смогла, и получилось так нескладно, но может быть она действительно не могла и ничего обидного для меня нет, а я так болезненно все воспринял? Получается, что и я – отчасти как Антон? Мало ли, что там у нее... А я-то включился в работу, увлекся своими поездками, обо всем человечестве думаю, а в это время человек, может быть, самый близкий...

О, господи, она же доверилась мне, а я!... И если бы только она... А другие, с которыми волей-неволей уже как-то связан – да, да... Для всех них должен же я что-то сделать, должен, должен, должен...

Скорее очерк писать, скорее, немедленно! Только так смогу им помочь, только так! И Лоре тоже! И себе...

Да, но... какой очерк? О чем конкретно? О ком именно? О Грушиной-Ваничкиной? Но это же мелко, мелко...

В тревоге, в панике, суетливо схватил свои записи, принялся лихорадочно листать. Чистую тетрадь взять, машинописную бумагу! Так, вот они. План составить? Да, хотя бы составить план! Но... Что выбрать? Что выбрать, *чтобы они*

напечатали? И чтобы всерьез...

Несколько минут я неподвижно сидел над тетрадью, не зная, с чего начать. И теряя, теряя драгоценное время. То *не пройдет, это не пройдет...* Это – мелко. О Лиде Грушиной? Ну, да, Алексеев одобрил вроде бы. Но несерьезно ведь это все-таки по большому счету, «шефство». После всего, что видел... Не главное это, не главное. Силин правильно говорил насчет «шефства». Это не решает проблемы, это уход! Грушина – уникальный, особый случай, а в целом «шефство» себя вряд ли оправдывает, и уж никак это не решение проблемы вообще! Алексееву для отчета разве что... «Комсомольцы-добровольцы»... Варфоломеев-Силин, может быть, их «принцип»? Бесполезно, вне всяких сомнений – им ведь «сверху» мешают, из партийных кто-то, а это для журнала табу. На этот, Алексеевский, журнал, кстати, Шишко и так ругался... «Партия ошибаться не может!» Посещение тюрьмы?... Еще не хватало! Смешно даже... У нас ведь только «кто-то кое-где, порой»... «Какая тюрьма, вы что с ума сошли?» Силаков? Абсолютная безнадега. В Советском Союзе? Такая дикая история? Да вы что, Серов! Он же, Силаков, настоящий рецидивист – один раз своровал, другой раз своровал... А теперь – в третий раз! Олег Гуцулов, может быть?... Но ведь и он, понимаете ли, во второй раз... Может быть, о Штейнберге для другого журнала? Но для какого? Везде у нас фактически одно и то же. А все-таки Алексеев ждет... Ведь я обещал.

А еще пленки – обязательно! – и батарею! И фотобумагу...

Да, трудное это было утро. Что я хорошо ощущал, так это то, что писать так, как написан очерк в гранках у Алексеева, не буду, это уж точно. Никогда и ни при каких обстоятельствах, ни за что. Да и не получится, если бы даже и захотел! Но что же тогда? И есть ли вообще надежда, хоть малая надежда на то, что если напишу именно то, что видел, и то, что думаю по этому поводу, очерк пойдет в журнале? Ведь почти ничего такого в журналах я не видел пока! А если и видел какие-то намеки, то это у тех, кто с именем, кто знаменитый. Или, на худой конец, какой-нибудь деятель или член редколлегии... Да и то не по большому счету. Все как-то недоговаривается, все с оглядкой. Шишко и такие, как он, на страже! У меня же не пройдут и намеки, это ясно. Но тогда, значит, что ж... бесполезно совсем? Бесполезно даже и *пытаться*?

Не меньше часа, наверное, я сидел в неподвижности. Мысль лихорадочно металась, наталкиваясь на глухую стену вокруг. Словно в колодце я сидел, в бункере...

Что угодно готов был я сделать еще, куда угодно поехать, пойти... Но ЧТО? КУДА? Конечно, я понимал, что нельзя охватить все сразу, что выход, видимо, в том, чтобы постепенно. Хотя что-нибудь для начала... Но что? Мучила мысль, что не мне одному все это нужно. ВСЕМ, а следовательно... Я переживал за тех, кого видел, чьих судеб свидетелем стал...

Да еще и праздник этот в детском саду, черт бы его побрал! Хотя без него никуда...

Уж если Варфоломеев и Силин не могут... И если Алексеев одобрил бред о «Суде над равнодушием» и отверг тему о клубе Штейнберга... Снова и снова метались бедные мои мысли и снова скисали, никли... Я НЕ ЗНАЛ, что должен делать, как ПРАВИЛЬНО. Вязкая, вязкая паутина... Бункер.

Но вот гудки по радио. Девять часов! А еще Лора. Лора – вот же что важно, самое важное, может быть. сейчас для меня! Сейчас она придет на работу, уже пришла, наверное, входит... Чуть-чуть подождать и – позвонить? Из автомата, чтобы соседи не слышали! Мало ли, какой разговор...

Лора, Лора, ты понимаешь, я... я все сделаю, погоди немного, потерпи, не поддавайся, ни за что не поддавайся, держись... Мы... Мы придумаем что-нибудь... Я вот сейчас...

А еще немедленно – в магазин! Да, в магазин обязательно! Пленки нужны сегодня же, никуда не денешься, и батарея. По дороге думать, что-то решить. Тетрадь с собой. Хоть какой-то план очерка набросать, что ли, в метро может быть...

Собрался по-бустрому, вышел. Подойдя к автомату, бросил монету, набрал номер.

– Алло, Ларису Гребневу позовите, пожалуйста. Не вышла на работу? Больна? И вчера не была?!

Так.

И в таком я был состоянии, что тут же решил: произошло

самое худшее! Она... Она не выдержала такой жизни, и... Сделала с собой что-то. Непоправимое! Я не знаю адреса, а то бы... Нет, вряд ли все-таки! Но... И все равно нужно, нужно пленки купить! Батарею для вспышки искать, фото-бумагу – праздники ведь... План очерка по дороге...

Растерянный вконец, в смутном раздрызге заспешил я в магазин. Сначала в один, потом в другой, третий... В одном не было бумаги, в другом пленок. Батарею и вовсе пришлось искать упорно и долго...

С ума я схожу, конечно. О Лоре нельзя думать сейчас. Не может быть, чтобы... Все купить сумел – молодец! Еще не вечер...

33

– А, привет, Антон, заходи! Я тоже только-только пришел, по магазинам ездил – фотобумаги, понимаешь, подходящей нигде нет, да и батарею для вспышки вот с трудом нашел. Эти магазины! Всю душу вымотают, везде очереди, а того, что нужно, нет, с ног валишься... Ну как тут работать, скажи? Несчастливого кустаря-одиночку обеспечить не могут...

– Нервы, Олег, нервы.

– Да, нервы, конечно. Но, понимаешь, какое дело: то одного нет, то другого... Да и с очерком этим еще... Ну, ладно. Садись. Сейчас чай сделаем.

– Заходил тут несколько раз, тебя все дома нет.

– Да, верно, в хлопотах я. Насчет очерка. О малолетних преступниках, я тебе говорил?

– Да, что-то говорил, кажется.

– Езжу вот. По разным местам. Вчера в тюрьме был.

– В тюрьме? Ну и как, интересно?

– Интересно-то интересно, но что-то делать надо. Помочь как-то. Очерк вот написать. Не знаю только... То им не подходит, это не подходит. Сами не знают, что. А завтра в детский сад на съемку. Деньги зарабатывать тоже надо. Ты-то как? Что нового?

– Ну что у меня нового может быть, Олег. Конец месяца, штурмовщина, план горит, проект заваливаем, начальство, говорят, менять будут, неразбериха... Бардак, одним словом.

– А Лору... видел? Я сегодня звонил, сказали, больна.

– Сегодня... Погоди, так я ее сегодня и видел. После обеда курили вместе. На горло жаловалась, верно. Опоздала, к обеду только пришла. В поликлинике была утром, а бюллетень, как будто, так и не дали.

– Пришла? А то я уж думал...

– Да что с ней делается? – продолжал Антон. – Кстати, был у нас с ней о тебе разговор.

– Обо мне? Какой же разговор? Интересно!

– Ты что, на балет ее приглашал? На «Лебединое озеро», да? Об этом, кажется, и говорили. Что-то она не в твою пользу сказала. Смеялась над тобой – наивняк ты мол. Сказала

еще, что ты жалкий. С каким-то даже животным сравнила...

– Что? Смеялась? Не в мою пользу? *Жалкий? С животным?* Как это?

Я почувствовал, что бледнею.

– Да, сказала, что ты жалкий. А вот с кем тебя сравнила, не помню. Нет, не с животным, нет. С князем Мышкиным, из «Идиота», вот с кем, да. Помнишь такого?

– Мышкин? Помню. Ну и что? Единственный человек честный среди них, кстати...

– Вообще-то мне неприятно было за тебя, – продолжал Антон спокойно. – Я тебя вообще-то оправдывал, а она еще что-то обидное про тебя сказала. Ну, в общем ерунда. Я же говорил тебе, что она дрянь. Не придавай значения, плюнь. Не стоит она того... Чайник иди ставь.

Тут я, наконец, осознал. Меня словно ударили. Я вышел из комнаты.

Но, может быть, Антон лжет? Однако «Лебединое озеро»... Значит, она рассказала. *Жалкий?* Это я-то жалкий? Ничего себе! Это потому, что ее пожалел, так что ли? Мышкин? Она жаловалась мне на свою жизнь, я сочувствовал ей – и выходит, что это я жалкий? Не она, а я?

Хорошо, что на кухне не было никого из соседей. Не видели моего лица, не спрашивали. Я налил воду в чайник, зажег газ. Постоял немного. Но, может быть, Антон врет, преувеличивает, от себя добавляет?

– Извини, Антон, – вернувшись в комнату, сказал я почти

спокойно, сдержанно. – Вспомни получше. Я что-то не понимаю все-таки. Насчет Лоры. Расскажи поподробней, пожалуйста, мне это важно. Понимаю, что слишком завожусь, но все равно. Вспомни, я тебя очень прошу. Неужели действительно «жалкий»?

– Ох, Олег, я тоже устал. Да брось ты, наконец, ей-богу! Ну что ты в ней нашел, скажи? Да, действительно «жалкий», так и сказала! Я думал о том нашем разговоре, помнишь? Насчет нее. Насчет самой Ларисы думал. Встречал ее несколько раз в коридоре, курили вместе, разговаривали. Присмотрелся к ней. Ну ей-богу же это не то, что ты думаешь! Ты ошибся, Олег. Обычная хищница. И самая обыкновенная дрянь. Может, и была когда-то человеком, но только не сейчас. Сломалась. Впрочем, нет – она всегда такой и была, люди ведь не меняются. Ты, может быть, думаешь, что я заинтересован в ней, и поэтому? Нет, Олег, нет. Может, она и ничего как женщина, как самка, что-то в ней есть. Лицо красивое, тело как будто бы тоже. Переспать и я не прочь, если честно. Но всерьез-то зачем?

Он помолчал, сам стал доставать чашки из шкафа.

– Впрочем, что я! – заговорил опять. – Если между вами что-то есть, как ты говорил, если вы с ней были, то что же? Тебе и карты в руки. Ведь ты на коне! Только жалким не будь все же! Не к лицу это тебе. Мужчиной надо быть всегда.

И все же странным было выражение его лица, непонятным.

– Ты можешь с моим мнением не считаться, я понимаю, – продолжал он. – А я вот еще одно вспомнил, детальку маленькую. Звоню тут ей как-то – покурить захотелось, дай, думаю, ее позову, вместе покурим. Так вот, звоню. А простыл немного, и голос хриплый. Я только «алло» сказал, а она тут же: «Это ты?» – радостно так. Да, говорю, я, хотя не понял, почему она радостно. А она тотчас: «Андрюша, миленький, я сегодня не могу, работы много, давай завтра...» И еще какую-то чепуху. Я назвалса, а она смутилась сразу. Даже курить со мной не пошла. Ждала ведь, ясно! Знаешь, судя по интонации, с этим Андрюшей у нее не так уж и плохо. Скажи, если она отдалась тебе, как ты говоришь, специально для этого приходила, если у вас такие великолепные отношения, то почему она с ним так радостно? Или – наоборот, – если у нее с ним так хорошо, то зачем же она с тобой? Да и с нами тогда?

– Но ведь она замужем, Антон, – сказал я тихо, едва ворочая языком. – Может быть, Андрюша – это как раз ее муж?

– С мужем так не говорят, это во-первых. А потом с мужем она уже развелась. Это я точно знаю. Мы говорили с ней об этом, она нам с Костей рассказывала. Суд был, их и развели. Да, она ведь еще просила кандидата ей поискать! Когда к тебе ехали в прошлый раз, она и о тебе спрашивала с прицелом – кто да что. Я ей сказал, что ты холостой, один живешь, комната на самом деле твоя, скоро институт закончишь. Писатель! Я тогда значения не придавал, шутили все,

а теперь... То-то она так обрадовалась, что ты холостой! А после уже когда о тебе говорили, такого оживления не было. Увидела, что здесь особо не разживешься. Кстати, мужа ее Володей зовут, я вспомнил. А не Андрюшей вовсе. Ну, ладно. Иди, чайник посмотри, может, вскипел уже.

Я вышел за чайником и почувствовал, что как-то странно у меня сводит губы. Постоял минутку на кухне. С чайником вошел в комнату.

– Да, вот еще, Олег, – сразу заговорил Антон. – Вот что еще я хотел тебе сказать, вспомнил. Она и тебе, небось, жаловалась на свою жизнь, да? Ну, конечно! Я-то думаю, почему ты к ней так... Ты ведь неглупый человек и женщин знаешь, вроде бы, а тут... Ну, так жаловалась, скажи честно?

Я молчал. Я откупоривал пачку и заваривал чай.

– Можешь не говорить, ясно, – продолжал Антон. – Это ее привычка. Чтоб не сказать: прием. Она ведь и нам с Костей жаловалась. С семнадцати лет одна, мать пьет, отца нет, мужики пристают, начальник донимает... Так? Раньше – в торговле работала, подруга ее предала...

– И вам говорила? – только и мог пробормотать я.

– Ну, конечно! А ты думал, она к тебе, как ко Христу со своими болями и печалью, да? Один только ты и можешь помочь бедной, несчастной? Интересно, а деньги она у тебя не просила? Если нет, то только потому, что видит: не разживешься, у тебя самого их нет. А в ресторан наверняка хотела пойти, да?

Я молчал. Что-то все же было не так, что-то не так! Я не мог не верить Антону, но чувствовал: что-то не то.

– С мужем разошлась. Очень несчастна, никого близких нет, мать мужа, то есть свекровь, говорила, что она, Лора, испортила ему всю жизнь, – продолжал Антон с каким-то вызовом даже. – Так? Теперь хочет с работы уходить, но другую, будто бы, никак не найдет. Начальник пристаёт, толстый, потный – я его видел... Верно? Но, между прочим, работу новую она что-то не очень ищет! Ей здесь выгодно, знаешь, почему? Ты не задумывался, почему она у нас работает, в Академии? Мужиков здесь много, мужчины с будущим, обеспеченные, оклады хорошие! Да и в НИИ, поблизости с нами, мужиков много холостых. Вот она и охотится. А пока неплохо время проводит. У нее из Академии знакомых полно, по ресторанам ходит то с одним, то с другим, подарки дарят наверняка. Она ведь одевается неплохо – ты не заметил? А получает что-то рублей семьдесят в месяц, на них такую одежду, такие украшения вряд ли... Я не хочу сказать, что она обязательно трахается с каждым, она не такая дура, но подарки-то берет! Да и деньги наверняка... Костя, кстати, тоже ведь приобщился, я тебе не говорил еще, нет? Вы с ним, как бы сказать, молочные братья теперь, поздравляю тебя. Я думаю, он не врет. У нас кабинет с диваном есть, главное – в здание проникнуть вечером. Но у Кости с вахтером блат. Ну да ладно, бог с вами, веселитесь, дети мои, упаси вас боже от одного – от инфекции. Я слышал, что она, бывало, с шофе-

рами-дальнобойщиками... Не знаю, так ли, может, вранье. Но слухи ходят. Ну, все, давай чай пить. Наливай.

А мне вдруг мучительно захотелось смеяться, смех просто душил.

– Диван, говоришь? – сказал я, едва удерживаясь. – С вахтером блат? Дальнобойщики? Ох, ну, вы даете, ребята. Вахтер на стреме с ружьем, да? А на диване в это время, вечером... Или с револьвером он, может быть? Он у вас в форме, нет, вахтер-то? Или в тулупе, с берданкой?

Я засмеялся, но захлебнулся быстро мой смех..

– Ладно, – сказал я. – Пусть. К чертям собачьим. Давай чай пить. Приобщился так приобщился. Дальнобойщики – значит дальнобойщики, черт с ней! Только... И вам жаловалась, ну и что? Деньги берет? Сам же говоришь, что семьдесят получает. Жить можно на эти деньги, а? И ведь на самом деле красивая девушка, ей бы...

– Красивая?! Красивая, говоришь... – тут уж Антон чуть не задохнулся. И чашку чуть не разбил.

Я даже не ожидал, что он так разгорячится. Он встал и по комнате заходил большими своими шагами. Эстафета получилась. Теперь Антон разволновался и продолжал:

– Ты вот насчет преступников, говоришь, ездешь, так да? – сказал он вдруг, наклонившись и глядя мне в глаза опять с каким-то вызовом. – Тоже, небось, все на обстоятельства жалуются! Ну, скажи, жалуются? Ах, мы бедные, ах, несчастные, отпустите нас, так получилось, мы не хотели,

мы больше не будем! Верно? А ты их жалеешь. Ах, возьмем на поруки, ах, пожалеем оступившихся, ах, руку протянем для поддержки, ах, может быть даже и денежками поможем! Так? «Не вини коня, вини дорогу», да? Новая песня, недавно сочинили! В духе новых времен! Скажи, почему же это Ларисе хуже, чем кому-то другому? Ну, тебе, например! Ты же проституткой не стал пока, хотя мог бы. Еще как мог бы! Ты почему блядско-советские сочинения не пишешь, а? Почему? Ведь печатали бы! Тебе что, так уж легко, да? Ты же способный малый – вот и пиши. Продавай себя, как другие, давай!

– Подожди, Антон, – перебил я. – Причем тут... Значит, у меня по-другому сложилось. Все-таки по-другому. У нее-то, у Лоры, с самого начала жизнь ненормальная была. Ей труднее, потому что... И мать, и отец... Мужики ходили всякие. А в пятнадцать лет...

– Да брось ты! Мученицу нашел! Красавицу писаную. С мужиками меньше водиться надо! Себя держать! Изнасиловали, ну и что? Не умерла же! И даже не родила. Подумаешь, в пятнадцать лет! У других и раньше бывает! Я вон знаю – в тринадцать. Ну и что? Почему она не училась и не учится, а, скажи? Другие могут, а она нет? Почему бы ей в институт не поступить или в техникум, на худой конец? Курсы какие-нибудь. Мало ли! А она – в продавцы пошла. Ты знаешь, что она в торговле работала? Кто виноват?

Я молчал. Я просто пил чай.

– Ты вот про грудь ее говорил, – вдруг сказал Антон, хмуро глядя. – Скажи, зачем она ей? Детей надо кормить такой грудью, а она... Э, да что там. Выпендрож все это. Амбиции, глупость. Лентяйка она и паразитка. Как и преступники твои малолетние, которых ты тоже жалеешь, наверное.

– Антон, – сказал я, когда уже легли спать и свет погасили, – скажи все-таки, почему ты так? И ведь ты даже на меня злишься. За что? И на нее злишься, и на меня. Почему злости столько? У них ведь действительно...

– Да потому, что... – заговорил Антон со своей раскладушки. – Оправдываешь всех подряд! Люди должны работать, понимаешь, работать! А не на обстоятельства сваливать. Дрянь твоя Лариса, паразитка и тунеядка. Мертвая она, труп! А ты ее гальванизируешь, как лягушку. Лапки дергаются, а ты и рад – спасаешь, значит. Посмотри, сколько крокодилов вокруг! Хапают, что могут, друг друга предают ни за грош, ничего святого нет! И жрут, жрут, гадят! Не люди, а свиньи какие-то. Гуси! Крокодилы на отмели! Идет игра, Олег. Да, жестокая, но какая уж есть. Хочешь играть и выигрывать – играй. А не ной. Побеждает сильнейший! Не нами правила эти придуманы, не нам с тобой их менять. Да и надо ли, а? Надо ли менять-то? Мы с тобой вкалывать будем, а Лариса и такие, как она, тем временем... Ладно, давай спать. Устал я, ей-богу. Спокойной ночи.

Я молчал, не отвечал Антону. Но и не обижался, нет. Я вспоминал.

...Вот я мальчик. Мне семь или восемь. Отец на фронте, матери нет, умерла. Сестра и бабушка. Живем очень голодно – бабушка больная и не работает, сестре двадцать лет, она работает и учится, получает гроши. И вот сестра опять сделала что-то смертельно обидное для меня – оскорбила! – и не в первый раз уже, до глубины души обидела. Чаша моего терпения переполнилась, я понял, что больше так жить невозможно. «Не хочу, не хочу жить!» – так думал я искренне.

В полном отчаянье я взял нож из шкафа, тупой нож, которым резали хлеб, и принялся точить его на бритвенном отцовском бруске. И тут вошла сестра. Она еще не остыла от ссоры и, едва взглянув, сразу все поняла, но даже не попыталась отнять орудие предполагаемого самоубийства. Она встала надо мной и засмеялась: «Уж не меня ли ты зарезать собрался? Давай-давай, точи нож поострей, дурак несчастный». Да, да, я понимаю, я выглядел очень жалким и, конечно же, глупым.

И как я понял позже, у нее просто была привычка говорить такие слова, не придавая им особого значения. Жизнь была вокруг очень нелегкая, не до сантиментов! И точил я нож на виду у нее все-таки – глупо, я понимаю. Ясно, что не для того, чтобы зарезаться или ее зарезать, а «чтобы ее на-

казать»: вот, мол, смотри, как ты меня обидела, до чего меня довела. Обида, жалкая, но мучительная обида – как еще мог я ее выразить?

Но именно это, очевидно, ее и взбесило. Конечно, теперь понятно и, может быть, даже смешно. А тогда все для меня было серьезно, я помню. На самом деле жить не хотелось. А уж после ее насмешливых слов обида вспыхнула и вовсе с невыносимой силой, слезы хлынули в три ручья – и слезы, и сопли, и слюни... И это было, я понимаю, очень жалкое зрелище. Давясь, ничего не видя перед собой, не сообщая, уже по-детски всерьез мечтая о том, чтобы *на самом деле умереть* и тем самым «наказать ее», я продолжал водить ножом по бруску и в полном отчаянье смог только выдать из себя: «Не тебя. Себя...» «А! – весело вскрикнула сестра. – Так ты себя решил зарезать, вон оно что! Ну, что ж, давай-давай. Посмотрим, что у тебя получится! Ну-ка, я посмотрю, сможешь ты или нет?»

Потом-то я, конечно, понял, что она была уверена в том, что я не смогу ударить себя ножом и что с моей стороны это всего-навсего демонстрация. Жалкая, ничтожная демонстрация. А потому она просто в сердцах отводила душу. Потом-то я понял. Но тогда! Тогда жуткое ощущение беспомощности, брошенности, крайнего горя, сиротской несчастья поглотило меня целиком. Ведь я действительно был сирота, ребенок – матери нет, отца нет, – а она взрослая, намного старше, и оба родителя у нее все же были. Так что не

на равных все было, а потому в своей жестокости она и на самом деле была не права. Но не останавливалась.

«Ну, давай-давай», – подзуживала она, конечно же презируя меня в этот момент за нытье, за сопли, за то, что ей тяжело тоже, что у нее, молодой девушки, тоже нелегкая жизнь, а одна из причин этого – я. Она и так вынуждена возиться со мной, а теперь еще меня почему-то и утешать, хотя ей и так уже все надоело до смерти... «Давай-давай, идиот несчастный! Ничтожество...» – выдохнула она, сама в слезах, и вышла из комнаты, хлопнув дверью.

Да, ей было тяжело тоже, потом я понял. Но тогда...

«Идиот несчастный». «Ничтожество». «Такое же, как твой отец». «Ты не сможешь...» Отца моего, насколько я знаю, ни она, ни бабушка, мамина мать, не любили и не очень-то уважали, считали его слабым и странным каким-то...

Кто из нас, взрослых, не слышал чего-то подобного в детстве от «старших»? Редко кто. А ведь ребенок принимает всерьез каждое слово! И тогда, в тот дикий вечер, когда я точил нож в соплях и слезах, – не разумом, нет, но детским инстинктом – я уже понимал, чувствовал, что если не выполню рокового своего обещания сейчас, не докажу ей, а главное даже не ей, а СЕБЕ, то сестра и вовсе не будет считаться со мной, уважать не будет вообще. Но деться-то от нее мне было совершенно некуда! Так как же ей доказать? Как достоинство свое сохранить?

Убежать из дома? Но куда? В лес (как в книжках)? Но до леса еще надо доехать, к тому же тогда была зима... И как там, в лесу, жить? Я же не знал леса, я был там всего несколько раз в жизни, когда ездил к тете в деревню. Хорошо бы скрыться где-нибудь до тех пор, пока вырасту, но где? На вокзале каком-нибудь? Но там милиция, это я знал... И нет у меня никакого выхода. «Ненавижу, всех ненавижу, не хочу жить!» Да и как жить, если вот сейчас я опять проглочу оскорбление, опять проиграю сестре? А значит, я и правда ничтожество? Что же, что же мне делать?

И вот что еще хорошо помню: уже тогда какое-то едва уловимое чувство подсказывало: я все же не прав. Сестра не права тоже, да, она жестока, несправедлива, но хвататься за нож – это слишком... И еще потому я не прав в детском наивном своем шантаже, что ведь любил ее, был благодарен ей за то, что она вместе с бабушкой возится со мной, пока отец на фронте – а матери-то моей ведь давно уже нет в живых. Так что очень хорошо я понимал, знал: *и ей нелегко*. И на самом деле она *добра* ко мне...

Уже тогда знал и то, что ее мать разошлась с отцом, и были у нее свои горести немалые – видел даже, как она плакала, хотя ненавидела, презирала нытье в принципе, потому что если ныть, то просто не выживешь. К тому же она ведь была убежденная комсомолка, сталинистка, верила и в «Светлое Будущее» и в «Как закалялась сталь». И совершенно искренне она пыталась и мне привить мужество, стойкость и ту

же «непоколебимую веру». Ведь вот потом уже, когда отец погиб и бабушке с сестрой за меня назначили пенсию, чепуховую какую-то сумму, от которой, конечно же, не разбогатели, я сам предложил, чтобы сестра купила себе на первую же месячную выплату этой пенсии дорогие духи «Красная Москва» – потому что так эти гроши хоть запомнятся. Это было, наверное, «против принципов», ибо хорошие духи – «буржуазные предрассудки», но сестре тогда было всего двадцать с хвостиком, и приличных духов у нее не было никогда. И ведь это она, именно она настояла, чтобы бабушка оформила опеку вместо того, чтобы отдать меня в детский дом, когда погиб отец – и так для меня комнату родителей они сохранили!

И все же, и все же. Вот уже сколько лет прошло, а помню ту сценку с ножом, не заросло. Детское горе – настоящее горе, оно никогда не проходит бесследно, даже если мы думаем, что проходит...

35

И еще, и еще вспоминались сценки из прошлого, разные. Ну, вот, например, такая, из школьных лет.

Любимым развлечением одного из учеников, Груздева, было: набрать путем решительных и звучных движений носоглотки побольше «материала» и – метко сразить большой слизистой «пулей» бегущего по коридору ученика младшего

класса. Зачем? А просто... Этот Груздев был действительно метким «стрелком», чем очень гордился. То, как чувствуют себя маленькие ребята, которые служили ему «мишенями», его совершенно не интересовало. Впрочем, нет: чем больше его боялись, тем полнее было его торжество. Менее меткие и решительные последователи его развлекались тем, что оставляли заметные блестящие следы из того же самого «материала» – исподтишка – на спине учительницы рисования, одинокой женщины, уличенной, однако же, в том, что кто-то где-то «видел ее с физкультурником».

Развлекались еще и тем, чтобы незаметно, тишком, из-под парты выстрелить из миниатюрной рогатки жестко свернутой бумажкой в лоб историка Владимира Алексеевича Протоклитова – кстати, как я понял позднее, одного из лучших учителей, которых встречал в жизни, упорно не поддававшегося так распространенному тогда дурману и преподававшего историю действительно интересно и честно, – но вот, на свою беду, не умевшего поставить себя строго с учениками. Его тоже считали «жалким», «добрым чудачком», а выстрелам из рогатки, разумеется, не придавали особенного значения и очень радовались, если «снаряд» попадал в цель.

Много было развлечений над «жалкими», что уж говорить об элементарных избиениях «просто так» или «чтобы помнил, кто главный», или по принципу «отдай деньги». Но еще одно запомнилось мне особенно, именно потому, что, во-первых, я сам в конце концов стал жертвой, а во-вторых,

потому, что название этого развлечения было весьма злободневным и, как я понял позднее, символическим. Изысканное, можно сказать, развлечение.

Оно называлось: «кастрировать». Тогда, что-нибудь классе в седьмом, мальчики начали замечать в себе серьезные не только внутренние, но даже и внешние телесные изменения, которыми, конечно, весьма интересовались, а то и гордились (они в то время происходили позднее, чем теперь – питание было не то, да и вообще жизнь другая). И вот очень интересно было узнать, у кого как они происходят.

Началось с того, что кто-то похвалился, что у него «уже растут волосы». Естественно, начали интересоваться: а у всех ли растут? Не отстал ли кто в развитии? Ведь так интересно удостовериться в «полноценности» или «неполноценности» другого, особенно если ты убежден, что сам-то ты «полноценен»! Был у нас в классе один парнишка – тихоня, маменькин сынок, очень женственный, говоривший писклявым голосом. Да еще и отличник. Разумеется, мучительно интересно узнать: а у него *растут ли*? Вопросы «по-хорошему», естественно, ввергали его в краску, ярко выраженное чувство неловкости, а это – еще более распаляло... Кончилось тем, что решили «проверить». Разумеется, для этого пришлось применить силу... Каково же было удивление семиклассников, когда оказалось, что у этого отличника, этого тихони, этого писклявого маменькиного сынка – тоже *растут* и даже – «*густые и длинные, хотя и рыжие, правда...*»

Эта новость долгое время очень занимала класс, и тем, кто в это не верил, хотелось удостовериться самим. Что они и делали. Отличник пищал и отбивался, однако бесполезно – и когда новые исследователи удостоверились, что *да, растут*, то его, отличника, даже уважали.

Меня эта классная кампания почему-то миновала – хотя я тоже был отличником, но считался вполне развитым в некоторых вопросах (что совершенно не соответствовало истине), а потому как-то молчаливо, без проверки, признано было, что у меня наверняка растут. Когда общая статистическая картина класса оказалась ясной, этот вопрос стал получать, так сказать, перспективное развитие. Класс был одним из двух старших, ведущих (до первого выпуска школа была неполной средней и «мужской») – рисковать с «проверкой» параллельного класса было слишком опасно, и наиболее ретивые «исследователи» решили заняться младшеклассниками... Ну, ведь вот интересно: а как, например, в шестом классе? Уже или еще нет? Ребят ловили на переменах и раскладывали на классном учительском столе... Иногда проверки разнообразили тем, что «метили» проверенных фиолетовыми чернилами. Эта операция и получила, в конце концов, не совсем понятное, но услышанное где-то название – «кастрировать»...

К счастью, кампания не приняла все-таки массового характера, не всем она нравилась, вызывала отвращение и у меня. В конце концов, опираясь на молчаливую поддержку

многих, самый сильный парень из класса – Сейфуллин – однажды крепко стукнул пылкого «исследователя», после чего интерес к исследованиям быстро иссяк. В нашем классе. Но не в параллельном. Там некоторое время они еще продолжались.

В коммунальной квартире, где я жил, в соседней комнате обитал ученик из параллельного класса – Сева, – и мы с ним были почти друзьями. К Севе часто приходил его одноклассник Толян – худой, подвижной, крикливый и хлипкий парнишка с широко распахнутыми голубыми глазами, в которых светилась нерассуждающая, радостная готовность к чему угодно. Был он в своей искренней открытости и живости даже по-своему симпатичен. Однажды днем, после школы, как это часто бывало, я зашел к Севе просто так. У него был Толян, еще один парень из параллельного класса, Борька, по прозвищу Баран, и Сашка, сосед с первого этажа, который считался моим закадычным приятелем и обычно торчал у меня, а тут почему-то зашел не сразу ко мне, а к Севе. Я в общем-то любил Сашку, но ужасно раздражала его унылая навязчивость (придет – и сидит, придет – и сидит...) и некоторая хамоватость, соединенная с самоуверенностью и «непрошибаемостью». За неприятие последнего Сашка при всей своей верности, даже преданности мне, таил, как я понял потом, тупую, инстинктивную, не понимаемую, скорее всего, им самим, обиду.

Я вошел. Их было четверо.

О чем-то перед этим они говорили, я своим появлением прервал разговор, они затихли вдруг, и я почувствовал, что разговор был, видимо, обо мне, но не придавал значения. Как ни в чем не бывало, я прошел несколько шагов и оказался около дивана.

– Давайте Олега «кастрируем»? – сказал вдруг, поводя своими радостными голубыми глазами, Толян.

Я и оглянуться не успел, как на меня бросился со смехом Борька-Баран, за ним – Сашка. Сева повалил меня на диван, больно подвернув руку и сел на нее. Борька-Баран держал другую руку, Сашка, мой закадычный приятель Сашка, мертвой хваткой вцепился в ноги, а Толян бойко принялся расстегивать ремень моих штанов.

Они все хохотали, только Сашка кряхтел, отчаянно удерживая непослушные мои ноги, орали весело, и в общем-то во всем этом не было, конечно, ничего страшного, как будто бы, я, разумеется, мог не опасаться за свою полноценность после их проверки, но другое, другое молнией сверлило мой мозг: «Сашка, мой закадычный друг общепризнанный, что же ты так силишься, бедный – ведь меня оскорбляют, и ты понимаешь это, я чувствую, так что же ты меня *предает*! А ты, Сева, я же зашел к тебе, как к другу, я же знаю, что ты сам не любишь этих «проверок», что же ты помогаешь им, что же ты руку мою правую держишь, сел на нее!...»

Какое-то время мне удавалось сопротивляться, но – недолгое. Они, разумеется, не вспомнили о чернилах, они

даже – когда я внезапно перестал сопротивляться – посмотрели мне в лицо почему-то настороженно, и Сева приподнялся с моей руки – только Сашка, не глядя в лицо друга, с тупым упорством держал мои ноги, покраснел от натуги, бедняга. Но Толян, этот веселый затейник, стянул-таки с меня штаны и трусы...

– Ну, что? – сказал я спокойно. – Удостоверились? Довольны?

Странно. Именно спокойствие подействовало на них. Они как-то вдруг сникли все. И расползлись. Последним разжал свои руки Сашка...

Я встал. Привел себя в порядок. Потом сел.

– Ну, что? – повторил. – Довольны?

Они молчали. Даже Толян. И были, похоже, смущены.

Вдруг Сева неестественно засмеялся и сказал:

– Ладно, чего там. Всех «кастрировали». Подумаешь, оторвали что ли...

Захохотал во все горло Толян.

И тут во мне началось. «Вы же... Это же издевательство, насилие! Вы же не понимаете! – чуть не закричал я. – Вы же... Уродуете все равно! Как же вы это не понимаете! Достоинство разрушаете вы, скоты...» Во мне все рвалось, я не от обиды, от поразительной мысли этой дрожал. Я вспомнил тотчас многочисленные подобные сценки, свидетелем которых был. Довольно-таки равнодушным свидетелем, увы...

Но я молчал и теперь. Я слова не мог сказать, дыханье

перехватило – я ПОНИМАЛ, что говорить им БЕСПОЛЕЗНО. Слова толпились в воображении, но я не в состоянии был – язык не слушался! Ах, если бы было хоть чуть меньше негодования, эмоций, меньше слепой, нерассуждающей ярости, а больше понимания – ПОНИМАНИЯ! – если бы я хоть отчасти, хоть чуть-чуть сохранил хладнокровие! Но не мог, не мог... Дать по морде и Толян, и Сашке? Сашке – вот главное, по морде «преданной»! Ну, пусть даже не по морде, а просто поспорить отчаянно, показав хоть этим... Или... Ведь не понимали они, не ведали, что творят! Объяснить? НО КАК?

Но где уж. Беспомощность сковала меня тогда. Беспомощность *понимания*. Уже тогда... Понимание того, что они *не поймут!* Они ведь искренне не считали то, что делали, плохим. Подумаешь! Что такого? Ведь и правда не оторвали, не мазали чернилами. Что такого? Какое еще *достоинство*? При чем тут? Так, подурачились.

И потом... Сдержанным надо быть – это я уже тогда понимал тоже! Сдержанным и разумным! Не так ведь все просто. Люди не понимают многого, и если каждый раз возмущаться и раздражаться на всякую мелочь... Подумай сначала, взвесь, иначе наделаешь непоправимых ошибок. Многого, многого не понимали мы все тогда, а главное: что это такое – *достоинство* человеческое? Да, вот беда, путались с этим понятием! С одной стороны... С другой стороны... Ведь что самое-самое первое в жизни? Цель! «*Ясность це-*

ли, *настойчивость в достижении цели...*» – вот ведь какими словами жили. О средствах ничего не было сказано в том изречении, и как-то само собой подразумевалось, что средства – любые. Достоинство вообще-то как бы и не при чем. «*Ясность цели, настойчивость в деле достижения цели*» – ведь это сказано тем, кто дороже отца родного, лучший друг каждого, Мудрейший, Гениальнейший, Отец Всех Народов! Что это еще за абстрактное понятие – *достоинство*? Достоинство одно у нас – *классовое*. Полезное для пролетарского дела – для Революции! И ведь так часто «буржуазные» понятия «достоинства, чести» мешали достижению *цели*! На уроках литературы, к примеру, как же издевались некоторые учителя над «ложным» понятием «чести» у «классовых» врагов! Если, к примеру, офицер «белой» армии, или какой-нибудь фабрикант, помещик говорил о любви к Родине, то это считалось ложью в его устах, потому что не могло быть понятия патриотизма «вне класса». Если говорил о патриотизме или еще о чем-нибудь возвышенном представитель «*не нашего*» класса, то верить ему, конечно, было нельзя. Расстреливали таких, судя по книгам и учебникам, безоговорочно, как бы они ни оправдывались. И понятие совести, чести, естественно, было каким-то сдвинутым. Ведь нет же человеческой личности **ВООБЩЕ**, внушали всем. Есть другая – «классовая». То есть подчиненная **ЦЕЛИ**! И поэтому получается, что нельзя ни в коем случае верить совести тех, кто не принадлежит «*нашему классу*». И не разделяет *нашей*

цели. И – наоборот: безоговорочно справедлива совесть наших братьев по классу – тех, кто якобы идет с нами к той же самой цели. А значит... Что бы ни делали *наши* – все правильно почти всегда. Даже если воруют *наши* – они все равно «социально близкие», не то, что «не наши»...

Интересно, что уже тогда было известно отношение Ленина к моему любимому писателю – Джеку Лондону. Читал я, что Крупская вспоминала, как восхищался Ильич рассказом «Любовь к жизни», где человек пытается ВЫЖИТЬ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО. И как, ровно наоборот, смеялся великий вождь над тем, как в другом рассказе Лондона капитан жертвует своей жизнью, чтобы выполнить данное кому-то слово. «Засмеялся Ильич и махнул рукой...» – вспоминала Крупская. То есть – подумаешь, *дал слово капиталисту*...

Так что пудрили нам мозги – будь здоров! Порой не меньше ничуть, чем теперь...

«Ну, и что, собственно, такого? – думал я тогда, уже несколько мгновений спустя после «кастрации». – Обыкновенная детская игра, ничего страшного. Правильно сказал Сева: чего там. Действительно: что случилось? Толян, конечно, подонок, гад, а вернее – дурак. Социально близкий – не ведает, что творит. Сашка? Сашка – предатель, это уж точно. Но ведь и он не понимает, бедолага, это же видно. С ним потом разберемся. Да и какое это предательство, собственно – подумаешь...»

Слыхали мы уже тогда, будто немецкие фашисты евреев «кастрировали». Но ведь то – по-настоящему. А у нас – игра, только и всего. Какое еще «достоинство»? Посмотрели, потрогали... Не оторвали ведь, даже не дергали.

И через полчаса мы уже, как ни в чем не бывало, ехали вместе куда-то.

И ведь вовсе не потеряли тогда ребята уважения ко мне. Скорее, наоборот. Во-первых, у меня, конечно же *росли*. А во-вторых, думаю, благодарны были они мне за то, что я их в их искреннем непонимании понял. И простил.

36

Но это не все, разумеется. Вот еще, вот, например. Сенатов! Такая, кажется, фамилия была у паренька, который учился в одном классе со мной – задолго до «кастрации» это было, классе в четвертом. Не многое помнил я из того времени, но точно то, что семья у Сенатова была, что называется «неблагополучная крайне»: отец погиб на войне, отчим сидел, мать, кажется, только что вернулась из заключения и пила по-черному, старший брат тоже сидел, а младший и был тот самый Сенатов.

В чем только он ни был замешан! Но помнится теперь, что было некое развлечение у «шпаны», к которой как раз и принадлежал Сенатов: брали большую гильзу от патрона, загоняли туда капсуль, а потом, наставив донышко гильзы с

капсюлем на «противника», били по капсулю изнутри специально встроенным бойком на резинке. Капсюль взрывался и пулей вылетал из гнезда туда, куда его направлял хозяин гильзы. А направлял его Сенатов – он был у них главный стрелок, – как правило, в лицо «противнику». Кто-то уже попал из-за него в больницу, но почему-то Сенатов гулял на свободе – потому, может быть, что тюрьмы в те времена были весьма переполнены и не только такими, как он, «социально близкими», но и «врагами народа». Не справлялись, видимо, с большой нагрузкой суды, да и доказать не все всегда просто. Из школы, правда, Сенатова скоро исключили, но он со своими дружками наводил ужас на окрестные дворы. Довелось однажды столкнуться с Сенатовым и мне.

Смутно помню подробности, в памяти осталась лишь суть. А суть в том, что однажды на моих глазах компания Сенатова напала на младшекласника, который ничего плохого никому не сделал, а просто Сенатову, очевидно, нужен был очередной «противник». И Сенатов выстрелил ему капсулем в лицо. Младшекласник, закрыв руками лицо, закричал, а я в порыве подошел к Сенатову и что-то этакое сказал ему. Надо сказать, что меня Сенатов никогда до того момента не трогал и, кажется, даже слегка уважал за то, во-первых, что матери у меня не было, а отец на фронте, а во-вторых за то, что я, хоть и отличником был, но не был зубрилой.

И совершенно уверенный, что он не тронет меня и сейчас, не думая, я смело подошел к нему и сказал что-то вроде:

«Он же ничего не сделал тебе. Зачем же ты...» Но ни слова не говоря, Сенатов нацелил тогда на меня доньшко гильзы – не куда-нибудь, а в лицо, в глаза. Подсознательно чувствуя, что самое страшное сейчас – показать свой страх, я с трудом оторвал глаза от капсюля, посмотрел на Сенатова, прямо ему в глаза... Но увидел такую слепую ненависть, такую непроницаемость серых кружочков с точками черных зрачков, что понял: выстрелит.

– А ты, сиротка, не лезь, когда не спрашивают, – сказал Сенатов, тоже ведь, между прочим, фактически сирота.

И выстрелил. Правда, попал не в глаз, а в губу. Хотя целил в глаза и промахнулся только потому, наверное, что его толкнул его же приятель, который хорошо относился ко мне. Тот же приятель потом и увел Сенатова. Губа сильно болела, и слава Богу, что он не попал в глаз.

Разные были у меня чувства, естественно. Но хорошо помню, что при всем при этом я все равно Сенатова тогда... жалел! Дело в том, что перед тем был однажды у Сенатова дома и видел, как страшно они живут.

Станным может кому-нибудь показаться, но Сенатов после извинился передо мной. Может быть, его уговорили ребята, которые были тогда с ним? Не знаю...

Но еще, и еще вспоминалось теперь... Сон. Сон о будущем. Этакое страстно желаемое... Напечатали, напечатали, наконец, – во сне! – рассказы мои в каком-то журнале! И вот на большом торжественном собрании большой какой-то на-

чальник (Большое Лицо...) приветственно жмет мне руку, говорит одобряющие какие-то, хвалебные слова, а я млею от радости и от счастья просыпаюсь даже... Но чувствую в себе тотчас не только радость, а и стыд... Большое лицо!

Ну как, ну как в путанице всей этой было разобраться? Что было делать мне с очерком, с Лорой, с ребятами, с Алексеевым, как поступать? Как быть, если я понял проблему по-своему, а Алексеев понимал ее, видимо, по-другому и не очень важно было ему, что думаю я, считал он меня исполнителем подневольным, хотя поручил очерк не кому-нибудь, а мне, и очерк ПРОБЛЕМНЫЙ! Неужели ему, Алексееву, было все равно, что думает молодой журналист, а важно было то, что приказывает начальство? Но тогда зачем же он мне «Семью Тибо» рекомендовал? Ведь там – по-моему, а не по его... Вот она, путаница!

Ну, да, он, Алексеев, хотел как лучше, и он считал, что знает как лучше – это его работа в журнале, он заведует отделом и хочет не только выслужиться, а и чтобы очерк мой напечатали – обо мне тоже думает! Но... Ведь очерк буду я писать, у меня, может, свой взгляд на проблему. Как же можно заранее отвергать его? Неужели не ясно, что и здесь ведь как раз *о достоинстве* моем человеческом речь!

Вот что самое отвратительное, думал я. Подчинение! Обязательное, подчинение начальству. Фактически БЕЗОГОВОРОЧНОЕ. «Ты начальник – я дурак». И разве не всегда в России было ТО ЖЕ САМОЕ? А теперь?

Да, верно, у нас теперь воцарился принцип: начальство не ошибается никогда. Да раньше он воцарился, раньше! При Царях-батюшках, Помазанниках Божьих разве не так было? А при Генсеках теперь? Он один всеведущий и умный, а все остальные – холопы...

Испокон веков было это в России. Это и губило людей всегда – как ни странно, может быть, но я ощущал это с малых лет. Позже прочитал в Евангелии, что первая и главная Заповедь Христа – «Не сотвори себе кумира, кроме Бога». Но разве хоть кто-нибудь из нас в России этому следует?

Тут-то и вспоминается почему-то Силаков, последний из заключенных, которых видел тогда в тюрьме.

Он, Силаков, НЕ ПОНИМАЛ что делает, вот в чем дело! Он *на самом деле* в отчаянье был, на него свалилось, он был в панике... Метался он в боли и страхе... Да, виноват он, да, надо его судить. Но если уж суд, то – *объясните!* Разберитесь судьи, помогите понять, *в чем виноват*, а иначе... Вот и с «марксистом» Семеновым, который украл голубей. Никто из ребят не считал приговор ему справедливым. Никто! О каком же воспитании, о какой профилактике преступлений могла идти речь, если судьи жестоки и сами не в состоянии объяснить, а пытаются только *мстить?* Добивать несчастного? Растоптать совсем? Расстрелять или изолировать как *неполноценного?*

– *Первый раз шесть лет назад было, по 117-й, попытка изнасилования*, – говорил семнадцатилетний парень Сила-

ков в полнейшем отчаянье. — Я понимаю, плохо поступил, но ведь маленький был совсем, большие ребята с собой притащили, заставили то же делать, что и они, ну и самому захотелось попробовать, я же не понимал ничего, дурак был, понимаю, вот и...

— А второй раз за что?

— Колесо от машины украл. Я виноват, правильно, я знаю, я потом понял, в колонии. Меня в тот раз правильно посадили, — я и правда не понимал раньше, это даже хорошо, что посадили, я понял. Я работал хорошо, чтобы исправиться, я самого себя грыз, я бы тогда и на волю, наверное, не пошел бы, если бы отпустили.

— На сколько же тебя во второй раз уpekли?

— Три года восемь месяцев. Но я не сидел столько, меня выпустили раньше, они видели, что я понял. Я теперь работал уже хорошо, на курсы шоферов поступил, меня на работу сначала не брали, но тетя такая хорошая в отделе кадров попалась, поверила, а с ней спорили, а она за меня поручилась, мне-то ладно тюряга, мне перед ней стыдно! Я же ведь из дома боялся выходить, все время дома после работы сидел, боялся, как бы чего, а с колесом, я правда ничего не понимал, и в мыслях не было. Не знаю, как получилось...

— За что же тебя теперь судят?

— За баллон. Да машину, будто, угнал. Да не хотел я угнать. Не знаю, как получилось...

— Дома как у тебя? Отец-мать есть?

– Отец есть, матери нет, умерла, я старший, отцу помогал всегда, у нас ведь трое еще в семье...

Виноват? Виноват, наверное, но... Так жизнь сложилась, так навалилось все, куда ж тут...

Виновата ли та девушка из сна, которая металась в кругу парней, виноват ли тот несчастный котенок?

А Лора? Пусть даже то, что говорил о ней Антон – правда... Могла ли, в состоянии ли была она *противостоять*? Ведь девушка и – красивая! И никто не научил... А Жак Тибо у Дю Гара? Виноваты ли ребята в тюрьме – укравшие, избившие, или, как Ивлев, убившие? Виноваты, конечно. Но... Каждый из нас наверняка виноват в чем-то, вольно или невольно...

А сам Антон? *«Кто без греха, пусть первым бросит камень...»*. Судить? Да, наверное. Но как? Ведь виноваты – *по-разному*.

Прочитанное, прочувствованное, пережитое слилось в горячий, мучительный сгусток, клокотало во мне. Я должен, должен, должен... Но – ЧТО? Но – КАК?

37

– Здравствуйте, здравствуйте, Бронислава Павловна. Да, все в порядке. Ничего... А Вы? Как Ваше здоровье? Да, да... Ну, ничего, теперь ведь весна, лето вот-вот, теперь легче... Нет, пока ничего не печатают. Обещают, но вы ведь знае-

те, как это. А сейчас вот поручили очерк о малолетних преступниках... Да, интересно, конечно, очень. По милициям, по тюрьмам езжу, вчера вот только в тюрьме был. Да, да, но как-то все очень обычно. Буднично, так скажем... Люся Яковлевна, здравствуйте! Ничего, все в порядке, спасибо. Самые хлопоты у вас, да? Ну, все будет хорошо, у вас всегда такие отличные праздники...

В половине двенадцатого кончится, полчаса-час еще чтобы поодиночке перефотографировать – половина первого... До четырех Ваничкиной позвонить... И – в Куйбышевскую прокуратуру тоже. За Силакова. Либо на завтра, либо... Вдруг еще сегодня вечером успею?

– Да-да, проходите пожалуйста, но только здесь нельзя стоять, здесь дети пойдут. Вон туда пройдите пожалуйста, туда можно... Осторожней, осторожней, дети пошли, пройти им разрешите...

Так, не забыть диафрагму правильно поставить, выдержку... Здорово все-таки идут ребята, приятно смотреть – настоящий праздник! У Люси Яковлевны всегда здорово, чувствуется талант, и дети ведь так раскованно держатся! Эх, если бы я в таком детском саду был тогда, совсем другое дело, не было бы этой проклятой застенчивости, жалкости, черт бы ее побрал! Вон ведь как шагают смело, никакого стеснения ложного, никакой скованности, да, конечно, это Люси Яковлевны заслуга, повезло ребятам, да и время, конечно уже не то, все-таки не «культ личности», глупое какое по-

нятие все-таки, звучит забавно: «культ» – это как культа, то есть инвалидность, ампутация чего-то – ампутация достоинства, что ли. Но и без личности как же? Люся Яковлевна – личность, потому и... В том-то и дело, чтобы не одна единственная личность, давящая всех, а – среди многих других... И – творящая, а не просто так. Не давящая. Все личности должны быть, все! Раскованность в рамках – вот и разгадка! Начались мои вспышки, они отвлекаются, но слегка – привыкли уже, им не до того, какое красивое действие, самим ведь нравится, в том-то и суть! Тем и красиво, что настоящий праздник – не Актив, не заседание, а чистая радость, чистая! Если не она, то зачем же, простите, тогда вообще все? Ради Плана, что ли? Ради Большого Лица? Вот и мстит природа – мало радости у нас. Это и есть – культ... Вон девочка какая хорошенькая и так уверенно, смело идет, загляденье просто – красота и свобода! – да и другие тоже, но что потом с ними будет, не убьют ли напрочь, не в моде что-то у нас женская да и всякая красота! Женские руки, женский труд – это да, это конечно для... А красота как же? Это же главное, если нет ее, то зачем все?... Да, в Куйбышевскую может быть успею до праздников, насчет Силакова, а еще к Грушиной-Ваничкиной, хотя снова праздники, в другом саду и печать, печать фотографий... В тюрьму еще раз в первых числах, Чирикову позвонить обязательно. И с Виталием и Жанной на праздники за город... Договорились... Вот это построение надо сфотографировать, великолепно, еще раз,

а все же никак не отделаюсь от страха, вдруг где-то здесь инспектор ОБХСС переодетый, мало ли, что тогда? «У вас удостоверение есть?» – бумажка, им бы бумажку! Вот хороший кадр, много лиц сразу... Ах, как же танцуют здорово! Позвонить Лоре? Даже не знаю, как лучше, паника, у меня просто паника, оно и понятно, только настроился и вот, да еще Антон... Кончилась пленка, быстрее перезарядить, сейчас еще пляска будет, самые хорошие кадры, мальчики с девочками... Да, здорово, женственность у девочек уже, очень рано, ах, природа, как же могло быть все здорово, так портим все... Думаем одно, говорим другое, делаем третье... Какие очаровательные ребята все-таки, вот же и взрослые лучше становятся – светлеют! – не уродовали бы только... Снежинки, снежинки! Танец снежинок...

Свет погасили, и только два прожектора, в их лучах светятся фигурки девочек в белых полупрозрачных платьицах, так плавно движутся они, такие лица... Сон, настоящий сон наяву! Какая же красота! Все, все дано нам природой, только бы слушать ее, беречь, не уродовать! Вон и взрослые «поплыли» – задумчивые, спокойные, лица, о чем думают сейчас? О своем детстве военном, послевоенном? Об утраченном времени? О непережитом?... Красота... Не ради таких ли вот минут мы и живем, только в них и смысл – свобода, достоинство, красота! Сказка... Белые платья, голубые лучи... Музыка...

Все. Кончился праздник. Уходят. Хорошо было, и пора-

ботал хорошо, устал немножко, жарко здесь все-таки, а еще эта сбруя, лампа-вспышка тяжелая. Сейчас поодиночке, да еще и группами, наверное...

– Да-да, пожалуйста. Хотите всю группу? Вот здесь, пожалуйста, давайте построим в два, нет в три ряда. Скамеечку надо поставить. Так, молодцы, ребята, хорошо... Ну, а теперь я посмотрю, кто лучше смеется, мальчики или девочки? Ах, молодцы, прямо и не знаю, кто лучше... Пожалуй, девочки лучше сейчас, мальчики, не отставайте! Вот это отлично, молодцы, ребята, умеете... Ну, все, теперь следующая группа...

– Алло! Любовь Васильевна? Здравствуйте. Это Олег Серов, от журнала. Да-да. Как бы нам еще с вами встретиться, чтобы и Лида Грушина тоже... Послезавтра? Хорошо, обязательно позвоню.

– Алло! Нельзя ли попросить следователя Бекасову?

38

Прокуратура района. Самый обыкновенный дом. Первый этаж. Никогда бы не подумал, что здесь решаются судьбы людей. Комната 18. Следователь Бекасова, Анна Николаевна.

– Разрешите?

– Подождите пожалуйста в коридоре, мы сейчас закончим.

Обыкновенный коридор. Присутственный. Рядом на сту-

ле какой-то мужчина, свидетель, видимо. Что ж, подождем. Да, очевидно, свидетель, по какому-то делу. Не дай-то бог вот так *по своему* делу, если твоя судьба зависит от кого-то. Интересно, а есть ли тут настоящие дела? В основном, наверное, как и везде, текучка, бытовщина, мелочи, проступки мелкие, а не преступления, одним словом – мышьяная возня. Страстишки, а не страсти – пьянка, мелкое хулиганство, драка, все мелкое. Женщина следователь, а вот свидетель – мужчина... Ага, выходит.

– Вы ко мне? – сама выглянула.

– Да, к вам. Можно?

– Пожалуйста. Вы от журнала? Садитесь. Ну, так чем же могу быть вам полезна?

Худошавая, подтянутая. Строгий взгляд.

– Понимаете, мне поручили очерк о преступности несовершеннолетних, я хотел бы с вами поговорить.

Легкая вежливая улыбка:

– Ну, что же, очень приятно. Но почему именно со мной?

– Видите ли, я позавчера был в тюрьме, в Детском приемнике, там говорил с Силаковым... Вы ведь ведете его дело?

– Как вы сказали? Силаков? Да, я веду. Ну, и что же?

Улыбки как не было.

– Понимаете, третья судимость, парня теперь надолго могут... Но насколько я понял – да и не только я, воспитатель у них тоже, он очень просил за него. Понимаете, произошло какое-то недоразумение, все как-то очень, ну... нелепо, что

ли. Он пошел по пути исправления, член Бригады коммунистического труда и вообще...

– Не понимаю, что вам кажется нелепым?

Теперь уже раздражение, колючий взгляд...

– Что он машину угнал в пьяном виде – это недоразумение, вы считаете? Но ведь так оно и было! Вы его жалеете? Если он пошел по пути исправления, как вы говорите, так надо было втройне быть осторожным. Ни дыхнуть! А он что? Он вам сказал, что перед этим с друзьями выпивал?

– Сказал. Но ведь так уж получилось, упростили его – в честь первой зарплаты... У него и в мыслях не было, что до такого дойдет...

Анна Николаевна так и вскинулась:

– Слушайте, вот если вы не хотите выпивать, вас можно заставить? А? Вот вам, допустим, нельзя пить, так? Никак нельзя! Можно при этом условии вас напоить и причем до такого состояния, чтобы вы ничего не помнили? Да он врет, что ничего не помнил, врет! Скажите, как это можно в невменяемом состоянии достать ключ, открыть дверь машины, сесть, включить зажигание, поехать, а? А за чем он поехал, вы знаете? Он за баллоном поехал, который у него был спрятан в другом дворе, я же это выяснила! У них не хватило, понимаете? Вот он за ним и поехал, а дружки его пока покупателя искали!

– То есть, за каким баллоном? – не понял я.

– Хорошо, я вам объясню. Вы знаете, за что у него вторая

судимость была? За кражу баллонов. Так вот он по старой памяти и решил... Этот баллон у него уже лежал спрятанный! Он его *еще раньше* украл и припрятал. *В трезвом виде*. На всякий случай. Поняли? Заметьте – *сознательно*. А в пьяном виде за ним поехал. Им не хватило, они и решили баллон продать. Вот и вся картина. А вы – нечаянно!

Это была новость. Силаков не сказал про баллон, который он заранее припрятал. Это была неприятная новость. Я молчал.

– Зря вы им верите, товарищ, – продолжала тем временем Бекасова. – Я вообще-то вас понимаю. Я бы тоже рада им верить, так ведь и жить легче, с верой во всех людей! Да нельзя. Ничего не поделаешь! Есть и такие, в которых верить нельзя, к сожалению. И тут уж ничего не изменишь. Обычай такой у них первую получку обмывать, верно. Ну и что же, что обычай? Не до обычая должно бы уж. Ведь две судимости у него! Да, на все у них всегда причины найдутся и оправдания, это уж я изучила, будьте уверены. То обычай, то еще что-нибудь – праздник, например, случай какой-то особенный, то кто-то *очень попросил* или *пригрозил* – они всегда вам объяснят, оправдаются. А сами они, конечно же, не виноваты никогда! Никогда не виноваты ни в чем! Другие, но не они. Я за свои восемь лет такого здесь насмотрелась...

Анна Николаевна помолчала. Потом посмотрела на меня и улыбнулась.

– Я понимаю ваши благородные чувства, – продолжала

она. – Я вижу: вы хотите помочь. Правильно. В принципе я вас понимаю. В принципе! Но зачем они врут? Они же без конца врут, вот что самое грустное. Врут и жалуются, когда припрет! А уж если к нам сюда попадут, так тем более. Тут им бы только вывернуться. Тут у них такая изобретательность появляется! Вот и Силаков ваш. Пошел по пути исправления, говорите? Хорошенький путь! Восемнадцати нет, а уже третья судимость, вы только подумайте! Неужели все три случайно, а? Что же дальше-то будет с таким? Если он сам себе не хозяин...

Анна Николаевна опять помолчала. Молчал и я. Только хорошо понимал уже, что припрятанный заранее баллон осложняет дело – *умысел* получается, и за эту жалкую глупость Силаков, скорее всего, и получит не один год колонии. Глупость какая-то опять. Всего один баллон. И – судьба молодого парня... Сколько таких баллонов губится от безалаберности, тупости, бесхозяйственности властей. А тут... И все-таки что-то неприятное во всем этом. Правильно сказала Анна Николаевна: если сам себе не хозяин...

– Не так все просто, дорогой товарищ, одной гуманностью дела не решишь, – продолжала она теперь спокойно. – Смотрите, сколько у нас всякого предпринимается: и шефство, и на поруки, и условно-досрочное, и воспитатели-наставники по месту работы! Государство идет навстречу! Кое-кто исправляется, верно. Кто хочет. А Силаков ваш... желания нет! Его собственного желания нет, в этом все дело! Страх

есть, испуг. Может быть даже и раскаяние иногда. Бывает... А вот желания быть человеком нет – самого главного нет! А если этого нет, то хоть кол на голове теши – ничего не поделаешь, ничего не исправишь! Да и слишком далеко зашло уже у Силакова: семнадцать с половиной лет парню, а третья судимость! И разве ему навстречу не шли? Шли, может быть даже слишком шли, в том-то и дело! Он и привык. Нет уж, когда нужно – мы наказываем. И правильно! Гуманность иной раз гораздо больше во вред, чем строгость. Тут, если уж разбираться по-настоящему, то получается, что мы Силакова как раз гуманностью и погубили. Вот так.

Анна Николаевна, не глядя на меня, достала из ящика стола сигареты, спички. Закурила.

– Да, – заговорил я. – Неприятно то, что вы сказали. Я не знал. Этот баллон припрятанный... Неприятно, конечно, но... Вы правы, Анна Николаевна. Слаб человек, согласен с вами, грустно это. И все же... Сколько губится у нас всего – от бесхозяйственности, от неумения начальства, от глупости. А тут... Да, третья судимость, верно. Но ведь один баллон, всего лишь баллон! Но... Ведь без матери, трое детей, Вася в семье старший. Первый-то раз вообще по-глупости попал, это же не в счет, можно сказать, просто не повезло. А во второй... Он и сам считает, что правильно его во второй раз осудили. Работал там хорошо, досрочно выпустили, значит, действительно понял, старался. И здесь на заводе ведь хорошие характеристики, и воспитатель Приемника о

нем хорошо отзывается. Согласен с вами, люди должны оставаться людьми в любых обстоятельствах, но... Это-то и есть самое трудное, человек этому всю жизнь учится, что уж... Но... Мы, которые на свободе, все такие уж ангелы разве? Да вы лучше меня знаете, что там говорить! Интересно, сколько ж теперь Силакову за этот баллон присудят?

Анна Николаевна нервно затянулась сигаретой и забарабанила пальцами по столу.

– Смотря какой судья, – сказала. – Лет шесть, я думаю. Как неисправимому. В третий раз.

– Шесть лет? Шесть лет тюрьмы?

– Колонии, – поправила Анна Николаевна.

– Шесть лет колонии! За колючей проволокой телогрейки шить или конвертики клеить? Семнадцатилетнему парню... За то, что баллон припрятал и в машину влез и вылез. Но ничего ведь не повредил, не испортил. Что-то не то здесь все же. Я вас понимаю, вы все правильно говорите, но...

Я говорил это спокойно, не глядя на Анну Николаевну. Она слушала, не перебивая, курила.

– Извините, – продолжал я – извините, конечно, что вмешиваюсь, но... Вот вы говорите: две судимости, нужно было ему в страхе жить. Так ведь он и жил в страхе постоянном! Ну и что? Помог этот страх? Страх не спасает, вот ведь в чем дело. Говорите: желания нет человеком стать, то есть достоинства не хватает у человека, это верно. А откуда оно появится, достоинство? Если только и есть вокруг, что страх

один. Ведь если по-человечески...

– По-человечески?! – Анна Николаевна вдруг вскинулась. – По-человечески, говорите? – повторила она и усмехнулась. И странно знакомой показалась мне эта усмешка. – Так вы от меня человеческого ждете, от нас, следователей, так что ли? – Она нервно засмеялась. – Вы знаете, к примеру, сколько мне дел одновременно вести приходится? Сейчас их у меня, больших и малых, тридцать! Ясно вам? Одновременно! Тридцать уголовных дел. А вы – по-человечески, достоинство... Где ж нам, следователям, еще и душеспасительной деятельностью заниматься, товарищ дорогой? Сами подумайте. Если государство этим по-настоящему не очень-то занимается...

Помолчала Анна Николаевна, раздавила окурок в пепельнице.

– Конечно, в некоторых случаях мы и перехлестываем, может быть, – продолжала спокойнее. – Да и то не мы, собственно, а судьи. Наше дело что? Факт установить, обстоятельства выяснить. Остальное – суд. Я ж не судья! А у них да, бывает... Не без этого. Конечно, мы можем как-то... У Силакова, да, я согласна. Это все для него теперь, крест на жизни. Там его обработают еще как! Он парень слабый. А что мне делать? Мне-то что делать, скажите? Нас жалеет кто-нибудь? Тут ведь такое творится... Что вы от нас, следователей, хотите? У меня у самой двое растут и тоже ведь без присмотра путного. Вот мой рабочий день официально семь

часов, а я уж и не помню, когда меньше десяти работала, понимаете вы? Сейчас сколько времени? Семь? А мне до восьми, а то и до девяти сидеть придется, хотя кончаю я официально в пять. И завтра работаю, хотя у всех выходной. Вот вам по поводу человечности.

Она опять закурила.

– А почему так долго сидеть приходится? Допросы? – спросил я.

– И допросы. И дела оформлять нужно. Писанины знаете сколько? Горы! Отчетность... Легко вам говорить. Конечно, в чем-то вы правы, нужно внимательнее. В принципе я с вами согласна. В принципе! Вот я вам по секрету скажу: иногда на место преступления не успеваешь выехать. Что там Шерлок Холмс! У него время было трубку свою без конца курить, с Ватсоном беседовать о том, о сем, дедукцией, видите ли заниматься. А тут... Прокурор торопит, новые дела поступают, кто-нибудь в отпуске, сейчас вот скоро лето, а я... В отпуске уже два года не была! Вот так. По-человечески жить, говорите? Хорошо бы! Знали бы вы... Да вот, пожалуйста, сегодня вызывала свидетелей, перед вами как раз. По сто семнадцатой статье. Примерчик тот еще... По-человечески! Вот, пожалуйста, могу рассказать, хотите?

– Да, конечно, меня на сто семнадцатую особенное внимание обратить просили, очерк написать для журнала...

– Ну, так тем более. Вот, пожалуйста: два парня изнасиловали девушку. Телесные повреждения. Один – несовершенно-

нолетний, только что из колонии прибыл, тепленький, двух месяцев не прошло. Другой постарше, моряк, только что демобилизовался, хороший парень по отзывам, жениться собрался. Заявление в загс подали! Невеста еще не знает, а ведь у них уже срок расписки подходит. Ничего себе, подарочек свадебный. Вместо загса теперь... Не исключено, что вышка! А другому – десятка, и это еще хорошо, что двух месяцев до восемнадцати не хватает, а то бы... Ведь групповое изнасилование с телесными повреждениями. Но это – если с одной стороны, формально. А с другой... Девчонка-то сама виновата, и ничего по-настоящему криминального здесь в общем-то и нет. Девчонка с ними пила, сама с ними поехала... Да, впрочем, ладно. Можете посмотреть. Вот... Следствие, правда, еще не закончено, но кое-что ясно абсолютно. Вот показания того, который помоложе. Он, кстати, в том же Приемнике, где и Силаков. Фамилия Чурсинов. Вы его там не видели?

– Нет, не видел, но еще раз собираюсь, так что могу и увидеть, наверное.

– Ну, вот и почитайте. Прямо здесь, хотя бы чуть-чуть. Я начал читать.

«Объяснение. Вечером 1-го апреля... (1-го апреля – в день, когда мы впервые встречались с Лорой у меня, и была наша первая ночь... Тотчас вспыхнуло это воспоминание, но я продолжал читать). Вечером 1-го апреля мы с Маркеловым стояли у ворот дома № 38. Мы видели, что в парадном ребя-

та играют в карты. С ними была одна девушка (Карпинская Светлана Петровна). Девушку эту мы раньше не встречали, были не знакомы. Мы с Маркеловым подошли к ребятам, а девушка сама стала заговаривать с Маркеловым. Потом Маркелов отвел ее в сторону и предложил поехать с нами погулять, потому что мы все равно собирались гулять. Она согласилась, но сказала, что холодно и что хорошо бы перед тем, как идти гулять, согреться. Я сходил в магазин и купил поллитра «Столичной». Деньги мне дал Маркелов. Водку мы пили в парадном того же дома, из горлышка, вдвоем, по очереди. Карпинская тоже пила из горлышка. Потом Маркелов сказал, что ему надо съездить сначала к своей тетке, чтобы передать деньги, получку, а потом мы сможем куда-нибудь пойти. Мы все трое поехали к его тетке. Он передал деньги, а потом мы решили поехать в Парк Культуры, но сначала купили еще бутылку «Столичной». Выпить было негде – из подворотни нас выгнал милиционер. Тогда Маркелов сказал, что у него на примете есть один сарайчик, но до него надо ехать на троллейбусе. Мы решили поехать, но сначала зашли в магазин и купили еще две бутылки водки и закуску. Мы положили все это в сумку Карпинской. Она сказала, что ее зовут Таня, и мы звали ее Таней. Мы ее спросили: ничего, что так поздно, а мы едем? Она сказала, что ничего, что ее родители уехали, она живет с теткой, и ей не хочется идти домой так рано. Это было в десять вечера. Мы доехали на троллейбусе, а потом прошли пешком на

станцию Москва-III. Там был маленький сарайчик, в котором никто не жил. В этом сарайчике...»

Два рукописных листа на этом обрывались.

– Тут не все, – сказал я Бекасовой, которая что-то писала.

– Да, остальное я пока не могу вам дать, следствие еще не закончено, не имею права. На той неделе позвоните, тогда может быть. А пока вот еще два листочка посмотрите. Мед-экспертиза. Из-за них-то этих листочков, все и...

– Скажите, а кто эта Карпинская? – спросил я, взяв листки.

– Самое интересное, что она дочь профессора. Отец – профессор, мать – доцент. Только это между нами. Такая семья! Отец о ней теперь и слышать не хочет! А ведь дочка-то одна-единственная. Он, оказывается, на нее уже давно рукой махнул, считал, что гулящая. А она-то, оказывается, девственницей была до этого случая, вот как! Потому и телесные повреждения. Вот вам по-человечески. Что мы тут можем сделать? А мама ее по заграницам тоже без конца ездит и дочке иногда письма пишет. Деньгами, правда, обеспечивают и тряпок у дочки хватает. Дочка, как выяснилось, дома почти не ночует. А ведь интеллигентнейшая семья, не пьяницы какие-нибудь. Ребятам теперь... Хотя телесных повреждений – посмотрите сами – пара синяков, ну, правда еще и девственности лишилась, а это тоже квалифицируется как телесные повреждения. Да так оно и есть, в сущности. Только зачем она с ними пила, а потом в будку поеха-

ла? И что тут нам, следователям делать? Ведь если по-хорошему разбираться, то и тетка тоже не подарок. Она ведь Светлану и накрутила. Сама девчонка к нам бы ни за что не пошла. Понимаете, когда она домой в ту ночь приехала, кровь у нее сильно текла. Она и испугалась. Тетке пожаловалась, скорую вызвали. Слово за слово, тетке все и выложила в подробностях. Да еще ведь и пьяная была. Ну, тетка в панике и велела заявление написать. Сама в милицию понесла. Машина завертелась. Девчонку я сегодня вызывала, чувствует себя хорошо и жалеет, что дело затеяла. Но теперь-то поздно! Экспертиза была, факт установлен. Да и тетка настаивает – ей перед родителями Светланы надо как-нибудь оправдаться, хотя не понимает, глупая, что так-то ведь хуже. Ну, лишилась девственности и лишилась, чего ж теперь. А в остальном... Объяснить надо было девочке по-человечески раньше, вообще контакт с ней найти. Девчонка-то в общем неплохая, запустили просто... Эх, да что говорить. Надоело эту грязь разгребать, если бы вы только знали...

Неловко было читать Акт судмедэкспертизы. Плохой был бы из меня медэксперт. *«Девственная плева... вульва... влагалище...»* Я и произнести-то вслух эти слова не мог бы, не покраснев. Господи, да ведь это все условные, чисто внешние представления, а на самом деле... Быстро пробежав глазами два этих листочка, которые, между тем, могли так дорого стоить ребятам, я простился с Анной Николаевной, пообещав позвонить приблизительно через неделю.

– Если кто-нибудь в коридоре сидит, позовите, – сказала на прощанье следователь Бекасова.

Да, в коридоре сидел тот мужчина. Я вышел, а он вошел. Дома был в начале девятого.

39

И все теснее и теснее сплетались бурные переживания, поездки, происшествия тех дней в одну яркую пеструю картину. Но не беспорядочную уже. Все четче и четче я ощущал, что события НЕСЛУЧАЙНЫ, они связаны между собой, одно влияет на другое и от другого зависит. Какая-то общая тенденция, единая доминанта вырисовывалась постепенно во всей этой, казалось бы, неразберихе. И картина приобретала логический, вполне определенный смысл...

– Привет! – знакомый голос по телефону: Виталий. – Ты видел этот фильм – «Хеппенинг в белом»? Нет? Иди сегодня же! Ты еще успеешь, там последний сеанс что-то около девяти. Я вчера был. Иди, не задерживайся, поговорим потом. Езжай прямо сейчас, а то его снять могут! На зрителей обрати внимание, которые там на берегу сидят и на соревнования смотрят! Ну, ты поймешь. Я тебе потом позвоню, пока.

Это был первый его звонок после нашей поездки в лес с Жанной. Как ни устал я в тот день, но поехал тотчас. «Хеппенинг в белом» – тот самый фильм, о котором я уже от кого-то слышал.

Маленький захудалый кинотеатрик, хотя и в центре Москвы. Я едва успел – вошел, когда фильм уже начался. Небольшой экран, старая, заезженная копия. Фильм документальный – о спортивных праздниках, как я понял.

Сначала гонки на скутерах. Интересно, конечно, но ничего особенного. Коротенькие и сравнительно широкие моторные лодки, похожие на больших белых водяных жуков – я видел такие впервые. Несутся так быстро, что аж выскакивают из воды. По инерции даже перелетают через песчаную косу. Шум, треск, брызги... Потом водные лыжи. Катер тянет на веревке то одного, а то сразу нескольких. Солнце, конечно, жара. На берегу никаких трибун, а просто на травке среди деревьев – зрители, компаниями и семьями. Диктор объявляет на все озеро:

– Сейчас вы увидите сразу трех самых очаровательных девушек...

И еще какую-то чепуху. Про то, что они победительницы какого-то спортивного конкурса.

Очевидно, это были не специально поставленные съемки, а какие-то традиционные ежегодные соревнования в одном из американских штатов. Зрители... Виталий говорил о зрителях, да. Ну, во-первых, без всяких трибун, а просто на травке. Во-вторых, свободно, в беспорядке, компаниями и семьями. В-третьих... Да, они какими-то странными показались мне тогда, непривычными. Веселые, беззаботные, улыбаются, смеются, аплодируют вроде как и без повода...

Подробностей событий фильма я не помню. Были, кажется, еще прыжки на лыжах в горах и скоростной спуск на лыжах же. Наконец, серфинг – катание на досках по волнам на Тихоокеанском побережье. Кажется, Гавайские острова. Картина уж совсем фантастическая: огромные волны – метров пять, если не десять, – и маленький человечек храбро скользит не только сверху волны, но сбоку и даже по внутреннему ее изгибу, под пенным гребнем, в тоннеле... И успевает выскользнуть до того, как гребень рушится вниз с оглушительным шумом.

Очень красиво все, впечатляюще, но и что-то еще было в фильме. Странные чувства он вызывал... И вдруг я понял. Понял, почему Виталий так торопил меня, сказав, что фильм могут снять с проката.

Все дело в том, что фильм был НЕ ИГРОВОЙ. Документальный. И в фильме этом была – обычная жизнь людей. Хотя и не повседневная – праздник, – но все-таки явно довольно обычная. Которая, оказывается, где-то есть на земле.

Но показалась эта жизнь тогда мне *инопланетной*. Как, очевидно, и Виталию.

Потому что на траве среди деревьев на берегу озера сидели *свободные люди*. Не актеры, а просто зрители. «*Несчастливые жертвы загнивающего капитализма*», поработанные его акулами, как нам твердили на все лады. Терзаемые голодом, безработицей, изнуренные бесконечными кризисами...

Фильм был даже как-то небрежно сделан. Это бросалось

в глаза – никакой тщательно выверенной композиции, никакого «пропагандистского» текста – документальные съемки, и все. Он не был дублирован, текст читал переводчик. Ясно, что фильм это обычный, рядовой, очевидно, один из многих. Там.

Но в фильме была **СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ ЖИЗНЬ**.

А в конце – полет. Настоящий полет. На дельтаплане. Над горами и снежными пиками. *Жизнь-полет*.

Для меня, для нас тогда это был страшный фильм. Угнетающий. Убийственный просто. Потому что **НИЧЕГО ПОДОБНОГО** не было в стране нашей тогда даже близко, я, во всяком случае, о таком не знал. И – подумалось мне – вряд ли будет. Во всяком случае в ближайшее время. Были «Замки» на Активе, да и то не пущенные в прокат, были разные «Кубанские казаки»...

Но главное, что понял я: мои сны не лгут. Где-то многое из моих снов **ЕСТЬ**. Но не у нас. И уж во всяком случае не у меня. И не у тех, кого я хорошо знал. Не у Виталия, не у Антона, не у тех ребят, о которых я должен писать очерк. И уж никак не у Лоры, ясно.

И мучительный вопрос встал передо мной во весь рост – **ПОЧЕМУ?**

40

Я позвонил Лоре, я настаивал – «хотя бы на час, мне нуж-

но с тобой поговорить», – она согласилась на час, вернее – на сорок пять минут. «Я кончаю в три, а в четверть четвертого буду там же, у Справочного бюро, но только в четыре мне нужно будет уйти, хорошо?»

Хорошо, хорошо, конечно, хорошо, потому что нужно просто поговорить, наконец.

Я приехал раньше, я собирался с мыслями, решил поговорить начистоту. Разобраться. Что-то ведь надо делать, что-то обязательно нужно делать.

Она не опоздала ни на минуту – пришла во время. Теперь она была в пыльнике, модном элегантном пыльнике, светло-серого цвета, который очень шел ей. Огромный перстень был у нее на пальце – я подумал сначала, что это безвкусно, что это – *отражение сути*, если верить Антону, – но потом вспомнил, что сейчас модно большие перстни, и успокоился. На левом запястье ее был, тем не менее, золотой браслет.

Я опять зачем-то надел свой плащ, хотя было тепло, белую рубашку и галстук, и взял папку с собой, чтобы сказать, что только с работы, и оправдать тем самым свой плащ, свой вид. Глупо, грустно, смешно – даже в тот решающий момент, идя на встречу с ней, я думал о том, что она подумает обо мне.

Не теряя времени, мы прошли на тот же скверик, сели на лавочку, и я – ведь я так старательно собирался с мыслями, чтобы уложиться в сорок пять минут! – начал сразу по существу.

– Понимаешь, Лора, – начал я серьезно, искренне, вспом-

нив в этот миг нашу близость, все, чего мы все же достигли; глядя на ее черные густые волосы, на ресницы, чрезмерно накрашенные, длинные, прикрывающие чистоту глаз. – Понимаешь, Лора, – сказал я. – Мне просто хотелось бы знать, как ты ко мне относишься. Ведь было у нас...

Я говорил негромко, я пытался вложить *все* свои чувства в эти считанные слова, напрягаясь, чтобы она *поняла*. Потому что и мне самому нужно было *понять*.

Она вздохнула.

– Я хорошо отношусь к тебе, Олег, – сказала. – Я очень хорошо отношусь к тебе. Но...

Она замолчала.

– Что – но? – не выдержал я.

– Но ведь до тебя тоже была жизнь... Не так легко сразу...

О, боже. Она ведь уже говорила мне это! Я вдруг разозлился. Ложь! Это привычка такая, ставшая уже натурой. Штамп. Прав Антон, права Анна Николаевна – слишком много врут! Врут и жалуются! И Лора тоже! Оправдания на все у них всегда есть! Я потому и поверил ей, что казалось: она искренна. Потому, может быть, и влюбился. Но теперь... Все простить можно, но только не ложь!

И я сорвался. Не стал сдерживаться. Что терять? Я начал говорить о том, что *надо ведь все-таки что-то делать* – хоть что-то! – нельзя же ведь все время ссылаться на обстоятельства и на прошлое – да, прошлое, я понимаю, но ведь если ты действительно «хорошо относишься», как ты говоришь,

то надо идти ко мне, навстречу – идти, если что-то у тебя ко мне есть! И надо идти со мной, если уж мы договорились, как в пятницу, потому, что ты сама ведь сказала, что он тебе не муж, что ты с ним расходишься, что не любишь его! А если не хочешь со мной, то так и скажи, и не надо тогда этих «с тобой очень хорошо», «ты один меня понимаешь», «только за апрель?» «Относиться хорошо» мало, нужно еще что-то и делать. Обстоятельства, конечно, обстоятельства – он позвал, твой прошлый муж, как ты сказала... Ну и что? А ты? Ты-то сама где? Один позвал, другой позвал... Где ты была в тот момент, а? Ты, с достоинством своим человеческим, где была, а? Ведь ты же слово уже дала, час назад всего лишь! Так зачем же? Да и вообще... Ты сама чувствуешь что-нибудь вообще, желания у тебя собственные есть? Или так – кто перетянет, тот и возьмет? Так, что ли? Игрушка, да? Что же это, Лора? Ну, хорошо, ну раньше ты не могла, тебе все мешало, все ополчилось против тебя, бедной девочки, действительно: обстоятельства! С матерью, с семьей, и все другое. А теперь? Ты взрослая, здоровая женщина, красивая, живая... Ведь ты жива еще пока, верно? Руки-ноги есть, слава богу, глаза, голова. Ты что же, не можешь за себя постоять, совсем?! Ведь тебе хорошо со мной было, я знаю, ты не случайно ко мне пришла и не говори, что это не так, не поверю! Ты не случайно же выбрала меня из троих, и глаза твои, глаза-то все выдали! Ладно, хорошо, разочаровалась, допустим, пускай. Но тогда так и скажи! Хоть так, но – по-

ступи же! Отказаться – это тоже поступок. Тебя за язык ведь никто не тянул в смысле признаний, вот и скажи то, что есть!
А так...

Меня несло, я чувствовал, что не все правда в том, что говорю, что-то несправедливое есть в моем монологе при всей его правильности, но я не мог остановиться. Накопленное, наболевшее вырвалось сплошным потоком.

– А так ведь что получается? – продолжал я. – Ведь так получается, что ты сама себя предаешь! И меня тоже. Потому что ведь я к тебе отношусь серьезно ...

– Не надо серьезно, – вдруг вставила она тихо.

– Что? Что ты сказала? – опешил я, не сразу поняв.

– Не надо серьезно, – повторила она. – Относиться ко мне серьезно не надо.

– Что?! Почему же это?

Почему-то именно это меня взорвало особенно, это было совсем уж никуда! И какое-то отчуждение, пренебрежение ко мне, даже насмешка почудились в тихих ее словах! Кролик, да?! Князь Мышкин, да?!

– Почему же *не надо*, Лора? – продолжал я по инерции все с тем же напором, но почему-то мягче, все-таки чуть-чуть мягче. – Почему же, черт побери, не надо?! Вообще ничего серьезного, да? Так что ли? Все теперь, да, все? Аминь, да? «Сегодня здесь – завтра там»? «Куда дунуло – там и плюнуло» – так, что ли? Ведь я же тебе навстречу иду! Но нельзя же ждать от меня всего на свете. Как от других, нельзя толь-

ко ждать, надо же и самой тоже. Надо же *что-то делать!* Ведь если ты *сама* не захочешь – бесполезно все, ну как же ты этого не понимаешь?! Да, дома у тебя не в порядке, с мужем не заладилось, на работе трудно, ну и что?! Думаешь, всем остальным очень легко? Думаешь, например, мне легко очень, да? Но вот, к примеру, только к примеру, у меня же есть комната, и я...

– А что, комната – это сейчас такая редкость? – спросила она и посмотрела на меня как будто бы даже с издевкой.

И стало тихо. Я стал тихим. Не ожидал. Я еще ничего не понял, но вконец растерянный, замолчал. О чем она? При чем тут? Она что, *ничего не поняла?*

– Слушай, Лора, в чем дело? – сказал я тоже тихо, в полной беспомощности, дико страдая. – В чем дело, скажи мне! Я ничего не понимаю... Может быть, я ошибаюсь, может, действительно говорю что-то не так? Может быть, я какой-то ненормальный, не от мира сего? Князь Мышкин из Достоевского, да? Я что – совершенную чепуху несусь? Ну, хорошо, ну, ладно, может быть, я насчет твоего отношения ко мне навывдумывал, все это себе навоображал. Хотя ты сама говорила... И все-таки, Лора, милая, не могло же ведь у тебя *так* быть с каждым. Что, так же вот – с каждым? И это – «с сердцем могло быть плохо», и – «кроме тебя у меня нет никого», и – «только за апрель?» Так, да? И – «никогда ни с кем так не было»... Ведь ты же сама говорила! Ну, скажи, ну, неужели то, что было у нас – это так просто? С каждым?

– Нет, Олег, почему же. Мне было с тобой хорошо...

– «Мне было с тобой хорошо»! О, боже, «мне с тобой хорошо»! Прекрасное выражение, исчерпывающее. «Мне с тобой хорошо»... Если тебе со мной хорошо, то...

И я опять замолчал. Замолчал потому, что почувствовал *пустоту* рядом, совершенную пустоту. Она сидела почти вплотную ко мне, чуть склонившись и слегка отвернув лицо. Но она *не понимала*, не понимала меня, не хотела понять. *Не слышала*. И я перестал ее чувствовать, ощущать.

Сидели тихо, рядом, но ее словно бы не было рядом, она как бы оделась в стеклянную пленку, я узнавал и не узнавал. Мне вдруг захотелось взять ее за плечи и трясти. Ты где, Лорка? Ты где?! Но я понимал: бесполезно. Все бесполезно! Что-то совсем нарушилось. Что-то не то! Я все же взял ее руку, ее длинную белую нежную кисть, и эта рука была знакомая, родная мне как будто бы, но она была такой безвольной и слабой сейчас, она едва ответила на мое пожатие. Хотя и ответила все же... Господи. Ну что же это такое!

– Слушай, Лорка, мне кажется... – Начал я опять с трудом. – Слушай... Неужели мы с тобой разойдемся вот так, мне просто не верится. Что же: и это – все? Ведь было же у нас, было! Я же к тебе... Ну, хорошо, ну, что ты-то думаешь обо всем этом? А? Скажи...

Она вздохнула и, не глядя на меня, сказала:

– Не знаю, Олег. Мне кажется, что не нужно серьезно. Ты и так мне уже слишком дорог. Я не хочу этого, понимаешь?

Не хочу, правда.

Я вздрогнул. Мне как-то жутковато стало, непонятно, от чего.

– Дорог? Я тебе дорог? Но почему же тогда «не нужно»?
Почему?!

– Я не хочу. Не смогу. Лучше, чтобы все было по-старому. Не всерьез. Я привыкла. Ты только расстраиваешь меня и напрасно тревожишь. Бесполезно это все. Ничего хорошего не получится. Мне двадцать шесть, не забудь. Я устала. Я хочу ребенка, понимаешь? Семью настоящую. Ну хоть какую. Мне бы чего-нибудь попроще теперь. Обыкновенного чего-нибудь. самого простого. Ты вот говорил, о преступниках очерк будешь писать, по милициям ездишь? Да?

Она подняла глаза и со странной какой-то улыбкой посмотрела на меня. У меня мурашки побежали по телу.

– *По милициям? По тюрьмам?* – повторила она, выражение ее глаз было диким каким-то.

– Что ты говоришь, Лора... При чем тут? – проговорил я тихо, хрипло и почему-то испуганно.

Меня била дрожь. Почему она так? Что она хочет сказать?

– Ну, что ты! Не думай так уж слишком-то, – спокойно сказала она и усмехнулась. – Я знаю, что ты подумал. Не надо. Преувеличивать тоже не надо. Не пугайся. Я пока еще не там. И не была. Но... мало ли... Мы ведь все... Как бы это... Вот одна моя подруга, например, представь себе, там... За что? Не за то, что ты думаешь, нет. Обыкновенное воров-

ство, всего-навсего. – Она опять усмехнулась и посмотрела на меня с издевкой. – А ты думал, за что?

Некоторое время просидели молча. Я никак не мог унять дрожь – тело у меня вздрагивало каким-то волнами.

– Поеду сейчас к подруге, – сказала она, наконец. – Одна она у меня осталась. Близкий мне человек...

Она вздохнула. Как-то совсем неприятно вздохнула. Отстраненно...

– Лорка, что ты говоришь. А я? Ты про меня забыла? За что ты так на меня? Ты что – мне не веришь? Я – ведь...

– Нет, почему же. Верю. А чем ты можешь помочь? Ну, чем? На работу устроить? На какую? Сторожем? Продавцом? Секретаршей? А может – посоветовать что-нибудь? *Правильное посоветовать*, да? Воспитывать будешь с комсомольским задором? Ты случайно не комсомольский работник?

Вдруг она как-то обеспокоенно оглянулась. Я тоже.

К лавочке приближался интеллигентный, хорошо одетый молодой человек в очках.

– Здравствуй, – сказал он Лоре.

– Здравствуй, – кивнула она приветливо. – Подожди минутку, я сейчас. Садись...

Она показала ему на место на лавочке рядом с собой.

Я мельком взглянул на часы: пять минут пятого. Ясно.

Молодой человек очень вежливо – на самом деле вежливо, чувствовался интеллигент, – отказался, сказав, что подо-

ждет. И отошел.

Я не успел еще все осмыслить, сказал только:

– Хорошая у тебя подружка...

Лора ничего не ответила. Я взглянул на нее: она чуть не плакала. *«Этот баллон у него уже лежал спрятанный, – вспомнились почему-то слова Бекасовой. – Он его раньше украл и припрятал. На всякий случай...»* Чепуха какая-то, при чем тут...

– Что ж, ладно, – пробормотал я, вставая. – Не буду вам мешать. Пойду. Мы и так с тобой время просрочили. На целых семь минут! До свиданья.

Сделав через силу пару шагов, я вернулся и сел опять.

– Слушай, – сказал. – Может, мне все-таки... поговорить с кем-нибудь. Я, правда, не очень в силе, но... ребята знакомые есть. Хочешь? Насчет работы.

Я говорил как-то не совсем внятно, язык плохо слушался.

Она молча смотрела. Потом покачала головой.

– Не надо, Олег. Не стоит. Зачем?

Я и сам понимал, что не стоит. Что я могу? А все-таки продолжал:

– Ну я поговорю. Не понравится – откажешься. Сама посмотришь. Я тогда... позвоню. До свиданья.

Заставил себя встать и пойти.

– Ну, как дела? Принес очерк?

Алексеев смотрел на меня с доброй улыбкой и, как всегда, чуть покровительственно. Не в первый раз я подумал о том, что он ведь старше меня всего лет на пять, а держится так, словно в отцы годится. Положение обязывает! Вернее – позволяет.

– Нет, Иван Кузьмич, не принес пока, – ответил я, впервые, пожалуй, так сухо и с некоторым отчуждением даже, отчего Алексеев с удивлением посмотрел на меня. – Материала у меня очень много, – продолжал спокойно, – напишу быстро, за этим дело не станет. Но мне все же хотелось бы знать поточнее, чего вы от меня ждете. Я ведь уже и в ЦК комсомола был, и на Активе по борьбе с преступностью, и в прокуратурах, и даже в тюрьме, в Детском приемнике позавчера. Понимаете, материала даже слишком много, проблема в том, чтобы выбрать. И в каком ключе. Вот я и пришел для этого. Поговорить. Проблема серьезная.

– Так, – сказал Алексеев, и лицо его потеряло лучистость. – Так. Но ведь мы же с тобой уже столько раз говорили. Нужен проблемный очерк. О преступности несовершеннолетних, и все. Ты разве не понял? Вернее даже не о преступности, а о борьбе с нею. Положительные примеры нужны! Да, ты ведь говорил, что нашел шефиню какую-то, которая парня перевоспитывала. Вот и отталкивайся от этого хотя бы, это годится. Но главное побыстрее. Времени вон сколько уже прошло!

– А тот материал, Иван Кузьмич...

– Какой? Твой первый очерк?

– Нет, тот, что в гранках был. О «Суде над равнодушием».

Он что, идет?

Алексеев еще больше погрузнел.

– Нет, старик. Тот материал зарубили. Ребята-наильники, к женщине с ножом... Да еще и улица Гарибальди. Частный случай, а вроде как обобщение получается. У нас такое никак. Мне-то нравится, но вот зам главного не пропустил. От тебя тем более теперь требуется, сам понимаешь... Поумному как-нибудь. Показать, какую роль в этом деле может сыграть комсомол, что ли.

Он энергично поскреб бороду и посмотрел на меня испытующе.

– Тебе не обязательно в плену факта быть, ты можешь что-то домыслить, поразмышлять. И растекаться по дереву не надо. Фамилии – не суть, их изменить можно. Но нужно идти от положительного примера, это обязательно. Раз материала у тебя много, как ты говоришь, значит найди. Да что там в конце концов! Домысли! Можно и пофилософствовать, если хочешь. Но в меру, конечно, сам понимаешь. Вообще-то время сейчас для такого очерка – самый раз. Можно выстрелить по-умному. Постарайся. Ты ведь сможешь, если захочешь.

Лучистость вернулась на его лицо. И тон вернулся.

– А как с моими рассказами? – спросил я все-таки.

Алексеев опять погрузнел.

– Вряд ли, Олежек. Я предлагал на редколлегию, но ничего не выходит. Я тут не при чем. Мне-то все нравится.

Он грустно помолчал, вздохнул тяжело.

– Дураков у нас много, Олег, вот беда! Ничего тут не поделаешь. А в тебя я все-таки верю! Затянул ты с этой темой, не получается у тебя, но я все равно верю! Что-то в тебе есть... Может, тебя на какую-нибудь комсомольскую стройку послать? Хочешь? Попробуй все же сначала написать этот, попробуй начать, а потом поедешь. Я ведь тебе и раньше предлагал. Понимаешь, Олег, нужно тебе по-настоящему окунуться в жизнь. Во всякую. В стране сейчас много и хорошего делается, не думай! На Братскую ГЭС поезжай, в Якутию, в Сибирь куда-нибудь, да мало ли!

Он опять становился энергичен и бодр, руки его машинально что-то переключали на столе.

– Что ж, ладно, – сказал я, вставая. – Подумаю, Иван Кузьмич, спасибо. Позвоню тогда. Или очерк принесу. Сколько времени вы мне даете?

– Да ведь... Давно бы надо уже. Позавчера еще. Ну, неделю еще можно подождать, а вообще-то чем скорее, тем лучше.

Он, глядя на меня, улыбался.

– Хорошо, – сказал я. – До свиданья.

Так значит, все бесполезно? И человек не меняется, вернее – меняется, но в одну только сторону и коченеет в беспомощности, умирая душой, хотя и носит еще какое-то время на костях свое безвольное тело? – мучительно думал я, отчетливо чувствуя уже тогда, что ничего у меня не получится с журналом. Я – другой. Я не приспособлен к этой жизни и приспособливаться не собираюсь. Это – не жизнь. Это подневольная служба и бессмысленная, вот в чем дело. Да, неплохие материалы бывают в журналах, да, Алексеев неплохой человек, но он ничего настоящего не может сделать в существующих условиях, как и я, видимо. Ложь господствует. И радости никакой.

Я не мог забыть «Хеппенинг в белом». Это – правда. Я верил, что в нем – правда. И – можно летать. Причем не только на дельтаплане. Трусость и ложь, словно клейкая слизь, связывают крылья наши, превращают их в безвольные культяпки, отнимают веру и делают хороших людей ничтожными. Может быть, пингвины – это ленивые и трусливые альбатросы? Но они хотя бы научились плавать... Да-да, мы в своей стране тоже умеем плавать, только не в море. В грязи.

Я помнил. Помнил, как воспитывала меня сестра. Да, история с ножом была отвратительная, но были ведь и другие истории. Совсем другие были моменты. Однажды нужно было написать школьное сочинение, а я не успел, и был уже вечер, а завтра нужно нести, я же не написал ничего. «Соберись, – сказала сестра. – Выпей крепкого чая. Облейся хо-

лодной водой. И – пиши. У тебя целая ночь. Можно и не до-спать, если надо».

Да, это было трудно. Глаза слипались. Я цепенел в отвращении к теме сочинения – «Положительный герой в советской литературе». Можно было выбрать Шолохова, Николая Островского или еще кого-нибудь. Я и выбрал Островского «Как закалялась сталь», образ Корчагина. Я уважал героя, но ненавидел его за то, что вынужден теперь сидеть над тетрадью и что-то выдавливать из себя, а потом еще и переписывать набело. И главное – зачем? Кому это нужно? Ради закорючки в классном журнале? Но сестра не отставала, она стояла у меня над душой, она взывала к моей совести и достоинству, она утверждала, что это нужно прежде всего мне самому. Да, можно было поступить очень просто – спокойно лечь спать, а завтра сделать температуру (я это умел) и вызвать врача на дом. «Зачем? – возражала сестра. – Все равно ведь писать придется. Зачем унижаться? Отделайся, и совесть будет чиста».

Она сказала «достоинство» – это слово, наверное, и сработало в конце концов. И я написал. Скрипел зубами, ругался про себя, но писал. Под конец мне даже нравилось, что пишу. Я ведь уважал и Островского, и Павла Корчагина, на самом деле уважал – они не лгали. И это поддерживало меня. Закончил в три часа ночи.

И получил пятерку за сочинение!

Это был не единственный такой случай. И за это я благо-

дарен сестре на всю жизнь. При всем, при том, что много в сестре было и такого, что мне абсолютно не нравилось. Человек сложен – главное, понять лучшее в нем и ценить.

Потом я влюбился в книги Джека Лондона. И особенно в «Мартин Иден». Вот кто умел работать – моряк Март Иден, ставший в конце концов знаменитым писателем! Да, за все нужно платить в жизни. И прежде, чем научишься чему-то – набьешь шишки, от них никуда не денешься. Но зато и награда щедрая тому, кто не боится. Ничто не приносит такой радости, как умение хорошо делать что-то! Но очень важно не сдаваться и идти дальше, потому что результат редко бывает сразу. И чтобы взлететь, придется оторваться от земли. Вот бабочка, например. Сколько времени проводит будущее порхающее создание в стадии толстой неповоротливой и беззащитной гусеницы! А потом еще в стадии куколки повисеть или полежать где-то. Но зато потом...

Правда, что касается Мартина Идена и автора романа, самого Джека Лондона... Март Иден, стал-таки известным писателем, настоящим писателем, но... Слишком противно было ему в мире лжи, где все продается – и он покончил с собой. Добился, но покончил с собой. Судьбу своего героя повторил потом и сам автор, Джек Лондон, увы. Но ведь это было в капиталистической стране, где главное не жизнь человеческая, а деньги, то есть ложь – вот он и не выдержал! Устал, потерял веру в жизнь... У нас тоже много лжи, но главное в нашей стране все же не деньги, главное – ценности

человеческие: дружба, любовь, сочувствие, совесть... Есть, ради чего трудиться!

Так что же мне делать с очерком? И вопрос: есть ли смысл стараться угодить Алексееву?

Написать что-то по его просьбе можно, конечно, но душа не лежит. Если бы проблема была не такая серьезная – другое дело. И потом. Совершенно ясно: что даже если я напишу так, как хочет он и как «нужно журналу», и даже если в принципе примут мою работу, то уродовать начнут все равно. Это неизбежно, у нас это принято. И я не смогу ничего сделать – мое достоинство журналиста, мое авторство никто не примет всерьез. Так у нас повелось. «Для пользы дела» – этим они оправдывают все, что угодно, а в первую очередь холуйство перед начальством. «Польза дела» у них очень своеобразная. К тому же есть привычная для редакторов отговорка: «Иначе этот материал не пройдет». То есть не имеет значения, настоящий, достойный это «материал» или нет. Главное – «пройдет» он или «не пройдет», то есть будет он одобрен начальством или не будет. Значит, все решаешь не ты, не твоя совесть, достоинство, честность, талант, а – начальство?

Как раз незадолго до того я читал материалы «Нюрнбергского процесса», и особенно любопытным казалось мне то, что фашисты, которые создали гигантскую машину по истреблению людей и, в частности, печи Освенцима, Майданека, Трешлинка, вовсе не считали себя виноватыми –

они оправдывались тем, что выполняли приказы начальства. Главного начальника – фюрера! И вообще «работали на благо Великой Германии». Да, видимо, многие немцы делали все такое действительно искренне, они поверили в правоту Гитлера, в справедливость нацизма. А результат? Миллионы людей стали убивать друг друга, десятки миллионов погибли. «Великая идея» оказалась ложной, а жертвы бессмысленными. Выходит, что истина была не в приказах гитлеровского начальства, а в жизни? Но... Разобраться как?

И ведь не все попали тогда под власть «великой идеи». На том же Нюрнбергском процессе выступали свидетели, которые при Гитлере пытались бороться – они понимали преступность гитлеровского режима...

А у нас? Многие советские бойцы в Отечественную тоже умирали с криками «Да здравствует Сталин!». А в это же время в лагерях по всей стране с ведома Сталина, а то и по его прямому приказу сидели за колючей проволокой миллионы. И расстреливали свои своих «во имя идеи» тысячами. Большинство – невиновных... Теперь говорят: был «культ личности»! Некоторые утверждают: «Мы не знали...» Ну, а теперь?

Многие ли понимают теперь, что делают? Многие ли понимают, что нужно НА САМОМ ДЕЛЕ? Четко чувствовал я только одно: нельзя предавать себя! Трудиться нужно, лень свою и трусость преодолевать необходимо в любом случае, хотя, конечно, частенько именно это и есть самое трудное.

Но ни в коем случае нельзя делать то, чего не позволяет тебе твоя совесть. Хотя ведь и это не всегда легко понять. Чего только ни внушают каждому из нас со всех сторон! Как разобраться, где твоя собственная совесть, а где чужая лукавая воля?

А еще не давали мне покоя свидетельские показания на суде против нацистов:

«...Мужчин, женщин, детей выстраивали в длинную очередь, заставив раздеться догола. Старшие утешали младших. Какой-то старик взял на руки маленькую девочку, показывал ей на небо и гладил по головке, утешая. Слышны были тонкие завывания женщин, кашель, и чавканье грязи от медленно переступающих ног. Периодически раздавалась короткая автоматная очередь. Черда людей двигалась к краю большого глубокого рва, в который вели земляные ступеньки. Совершенно обнаженные люди обоих полов спускались по этим ступенькам на дно, где уже сплошным слоем лежали трупы. Некоторые еще шевелились, слегка постанывали, на их серовато-белой коже, на волосах выступала кровь. Те, что спускались, осторожно ложились сверху и гладили тех, кто был еще жив. Но это длилось недолго, так как эсэсовец, сидевший на краю рва с автоматом, выпускал очередь, не целясь, со скучающим выражением лица. В зубах у него дымилась сигарета...»

То, что делали нацисты, было, конечно, чудовищно. Но особенно диким казалось мне даже не то, что творили они.

А то, как послушно люди им подчинялись. Ведь в той очереди к Бабьему Яру толклись сотни людей, даже тысячи. До какой же степени рабского послушания были доведены они, если ЗНАЛИ, что будут расстреляны, – ВИДЕЛИ, что делают эсесовцы! – и все-таки шли послушно! Даже соблюдали порядок в очереди! И – умирали. Умирали *организованно!* Как покорные овцы. Нет, хуже. Овцы наверняка отчаянно блеяли бы и вряд ли бы соблюдали порядок. По крайней мере пытались бы разбежаться. И уж никак не «утешали» бы друг друга, не «осторожно ложились сверху» и не «гладили бы» тех, кто был еще жив.

Что же есть в нас такое, что заставляет безоговорочно подчиняться даже тогда, когда мы видим: подчинение несет гибель?

43

...Перед самыми праздниками позвонил Виталий. И пригласил на рыбную ловлю на праздники. Он сказал, что Жанна с нами поехать не сможет, но можно вдвоем. Это ведь лучше, чем просто где-то сидеть за столом, правда? Конечно! Вот и поговорим, подумал я еще. Виталий умный парень, стоит к нему прислушаться. Он мне поможет...

Встретились на вокзале рано утром. Было ясное, свежее утро первого майского дня. Уходя, я оставил комнату, где стоял на столе увеличитель и ванночки, а на полу растворы в

бутылках. И пачки фотобумаги лежали стопкой, и выпрямлялись под прессом напечатанные только что фотографии. А на другом столе лежали тетради с записями. Ничего, на два дня имею право уехать! Главное все же – решить, как поступать с очерком. Трезвая голова – самое главное.

Я запер дверь и вышел на улицу – словно вынырнул из тусклой и мрачной глубины на поверхность, к солнцу. Я дышал полной грудью, наслаждаясь короткой свободой, и рад был встретить улыбающегося Виталия. Мы взяли билеты, сели в электричку, поехали...

За окнами плыли сначала дома, потом маленькие дачные домики, наконец, кусты и деревья, весенняя, просыпающаяся земля, голубое небо и солнце. Сначала мы с Виталием просто смотрели в окно и друг на друга, улыбались, ловили солнечные лучи, любовались зеленой дымкой распускающейся листвы на деревьях... Потом слово за словом начался разговор. Виталий спросил о чем-то, я ответил. Был еще вопрос и еще ответ, а потом прорвалось. Тут уже я не мог удержаться. Столько накопилось, так мучило, так нужна была ясность, определенность хоть какая-то, так необходимо было разобраться, понять!

И кому ж рассказать, как не Виталию? Ведь когда-то он был самым близким мне человеком, мы понимали друг друга с полуслова и он, кстати, тоже пытался заняться писательством – начал, когда учились в институте, – но потом перестал. Он целиком отдался физике, а я, наоборот, ушел с

третьего курса и ринулся в жизнь – работал в НИИ, на заводе, на стройке, грузчиком, рыбаком, разнорабочим, фотографом... Какое-то время мы еще перезванивались, встречались – Виталий не поддерживал мое решение об уходе, считал, что безнадежно рассчитывать на то, что честные сочинения будут публиковать в Советском Союзе. «Мы все под сенью гигантского баобаба, твой росточек зачахнет все равно,» – образно говорил он. Я возражал: «Не росточек, а дерево я выращу, чего бы мне это ни стоило. И не под сенью баобаба вовсе, а самостоятельно, в стороне». Виталий скептически усмеялся. Закончив с отличием институт, он остался в аспирантуре.

У него всегда была ясная голова, у Виталия, он не был так эмоционален, как я, и, может быть, поэтому нам было особенно интересно общаться – мы дополняли друг друга. Кто же теперь поможет добиться ясности, как не он?

И опять я начал рассказывать по порядку – и о Лоре, и об очерке, – все по порядку, одно за другим. И, рассказывая, чувствовал, как становится легче, как выстраивается *линия* более-менее стройно, полной ясности нет пока, но она брезжит, проблескивает, и кое-какие сомнения исчезают. Каким-то своим поступкам я радуюсь, какие-то, наоборот, вижу ошибкой и, ко всему прочему, с нетерпением жду, что скажет Виталий, какую, так сказать, резолюцию вынесет. Как оценит, что посоветует.

Да, выстраивалось, выстраивалось, и было это чрезвычай-

но любопытно и, рассказывая, старался я смотреть на себя со стороны, словно в зеркало. И пусть искаженно, пусть не совсем объективно, но видел, видел кое-что... Да, конечно: и страх мешал мне всегда, как всем, и неуверенность, и всякие комплексы – то есть та самая «жалкость», Лора права, – но все же не это было главным в последний период жизни. Понять, понять я хотел, почему мы боимся, лжем, почему не любим друг друга, не верим, почему происходит все *этак наоборот*. Правильно я вел себя с Лорой или неправильно? И как быть с ней теперь? Как все-таки быть с очерком – идти на компромисс с Алексеевым, сжав зубы, «наступая на горло собственной песне» временно, или, наоборот, освободиться от всех этих зажимов и писать совершенно свободно, не думая ни о каком напечатании? Но тогда... Заработать деньги можно, наверное, даже не только фотографией. Но как все-таки публиковать свои вещи, как их «пробить»? Ведь практически везде, во всех редакциях – одно и то же...

И еще понять бы, что на самом деле происходит в стране. Почему преступность не падает, а растет? Почему вообще все как-то странно? Твердят о преимуществах социализма, и я верю в это, но почему же люди так плохо живут? Почему в американском фильме, например, все солнечно и свободно? Где правда? Где правда, и – *что делать?* Извечный российский вопрос. Изменить то, что вокруг, мне одному невозможно, конечно, но вот путь для себя каждый человек должен выбрать всегда.

Внимательно слушал меня Виталий, почти не перебивая. Хотя иногда задавал короткие вопросы, и порой они казались мне какими-то странными, и выражение его лица тоже не всегда было таким, каким мне хотелось бы видеть. Но я увлекся и с интересом видел, как все *выстраивается*, и неприятные эти детали отнес лишь на счет своего сиюминутного эгоизма – ведь отдыхать поехали, отвлекусь, а я вот затеял исповедь, которая очень нужна мне, но так ли она нужна Виталию? И я сказал даже:

– Виталий, ты извини, я понимаю, что слишком заговорился, меня понесло, но еще немного осталось, совсем чуть-чуть, а потом приедем и будем спокойно рыбу ловить, ладно?

– Ничего, ничего, ты продолжай, раз уж начал, я потерплю, – ответил Виталий. И добавил, смеясь: – Если, конечно, немного осталось...

Ну, в общем кое-как я закончил – к этому времени мы приехали на станцию, вышли из электрички и ждали автобуса на площади поселка, чтобы ехать дальше – к реке Озерне. Заняли очередь – очередь была длинная, мы стояли в хвосте, и Виталий велел мне стоять, а сам оставил рюкзак и пошел в начало очереди, чтобы, как он сказал, познакомиться с туристами и, может быть, сесть в автобус вместе с ними, иначе не втиснуться и придется ждать другого автобуса, а он через час.

Я выговорился, и мне было легче теперь, я даже чувствовал, что близок к какому-то решению насчет очерка, но вот

к какому, не понимал пока.

Виталий договорился-таки с туристами – он и здесь был прагматиком! – мы сделали вид, что из той же компании, и когда подошел автобус, втиснулись следом за ними. Веселой была дорога на Озерну, хотя и пришлось все время стоять в тесноте – туристы пели, много было смеха, шуток, улыбок, настроение в автобусе царило праздничное, наконец-то я мог расслабиться по-настоящему в ожидании весеннего леса, реки, рыбной ловли, которой так увлекался когда-то. Спасибо Виталию!

Вышли из автобуса и шли сначала улицей, затем полевой дорогой, а потом уже и прямо через лес к реке Озерне, к заветным местам Виталия. Волшебной музыкой звучали голоса птиц в голем весеннем лесу, приятным казался и шорох прошлогодней травы, хруст веточек, вкусным казалось даже чавканье резиновых сапог по грязи. Фиолетовыми и розовыми огоньками светились первые цветы медуницы, на них с гудением садились шмели. Весело журчала вода реки, обтекающая торчащие со дна коряги, ветки...

Не хотелось ни о чем говорить, хотелось только слушать эту музыку жизни, дышать чистым воздухом, видеть весеннюю благодать.

Была, тем не менее, уже вторая половина дня, мы принялись собирать сучья для костра, потом расставляли палатку. Попробовали ловить на поплавочные удочки, но безуспешно. Вероятно, вода была еще слишком мутная, рыба не ви-

дела наживку.

Виталий сказал, что главная надежда – на донки. Потом сидели в сумерках у костра, варили ужин, ели, пили не спеша чай. Под ночным небом со звездами...

Я не торопил Виталия, хотя ждал от него ответа. Как ни хорошо здесь, в лесу у реки, но завтра все равно возвращаться. И послезавтра вернется старое. И надо будет в нем жить.

– Ну, что ж, – сказал, наконец, Виталий. – Ты хорошо рассказал, я, кажется, понял. Если хочешь знать, я ждал этого. Знал, что так будет. Еще когда ты из института уходил. Я тебе говорил, помнишь? Если ты будешь писать то, что на самом деле думаешь, никто такое не напечатает. Ты всегда был идеалистом, ты и сейчас идеалист. И с Лорой своей тоже. Зачем ты ей нужен такой, подумай сам? Для нее ты действительно неудачник и жалкий. И по-своему она права, ты не находишь?

Он посмотрел на меня, и мне не понравился его взгляд. Я такого не ожидал. Не понял еще до конца, к чему клонит Виталий, но выражение его глаз не понравилось.

– По-своему она права, да, – согласился я – По-своему. Но... Ты что, тоже считаешь меня жалким, что ли?

Виталий ответил не сразу, но я понял, что угадал. Этого я, честно, не ожидал. Что-то произошло вдруг между нами, что-то как будто сломалось. Я еще не разобрался, до конца, но привычный комок встал в горле, и навалилась тоска.

– Понимаешь, как бы это поточнее выразиться, – начал

Виталий, не глядя мне в глаза, сдержанно, сочувственно даже, но с непонятной какой-то холодностью, с отчуждением, точно так же, как и Антон. – Ты думаешь, что ты прав. В чем-то ты действительно прав. В идеале, что ли... Но на самом деле ты *не прав совсем*, если по жизни.

Тут он поднял голову и посмотрел мне в глаза. С удивлением я увидел, что взгляд его был жесткий, чужой.

– Ты не прав в том, что и на самом деле ведешь себя как неудачник, – продолжал Виталий твердо, с уверенностью. – Вот ты метался, мучился, слушал всех, во все старался вникнуть. Обнадежил даже кое-кого, героев своих – я так тебя понял? Ну, и Алексеева этого тоже... Так ведь?

– Так, – сказал я.

– Ну, вот, – продолжал спокойно Виталий. – Ты делал и делаешь только хуже. И себе, и всем. Какой смысл в твоих метаниях, в твоей боли? Это – твоя личная боль. Ты, что, и так, без всех этих поездок и встреч, не знаешь, что к чему и почему? Ты же умный мужик. Ты ведь еще тогда *все понял*, в университете. Мы оба поняли насчет нашей страны. Я тебе говорил, что твой уход бесполезен, бессмыслен. Ничего ты не сможешь сделать и ничего никому не докажешь. Ты спорил, ты еще на что-то надеялся. Ну, и чего ты достиг? Какой во всем этом толк? Понимаю, ты считаешь себя честным. Да, абстрактно ты, пожалуй, честен. Перед собой. Ну, а дальше что? Что из этого? Ты растравляешь, провоцируешь и себя и других, а дальше? Можешь ты кому-то помочь?

Ну, хоть Лоре, хоть ребятам этим. Можешь? Да пусть даже не им, пусть тем, кто сильнее – Штейнбергу, двум секретарям комсомольским, Амелину... Можешь? И этому редактору твоему, Алексееву. Он же тебе навстречу идет, он тебе реальную возможность предоставил. А ты? Зачем ты едешь по всем этим прокуратурам-тюрьмам? Что нового ты узнал? Все, что происходит у нас, ты наверняка знал и так. Вместо того, чтобы написать очерк, не теряя времени, так, как надо, и тем самым сделать что-то реальное, ты мечешься. То же и с Лорой. Она пришла к тебе сама – чего же тебе еще? Ну, не смог в первый раз отличиться, попробуй во второй. Не смог во второй – попробуй в третий! А если не получается встреча – плюнь. Зачем она тебе? Разве мало других вокруг? Вот, мы когда в автобусе ехали... Заметил, какая девочка была с туристами – беленькая, в штормовке? Я чуть-чуть телефон у нее не взял, ее парень, видимо, рядом стоял, помешал, а то бы... Ты видел, как она смотрела? И ведь на улицах их полно! Только не будь дураком и жалким. Посмотри, какая вокруг благодать! Это – жизнь. А то, чем ты занимаешься... Не знаю даже, как назвать. Ковырянием болячек, что ли. Даже Шишко твой в сущности прав. Зачем ворошить-то слишком?

– Но как же, ведь... – хотел возразить я, но Виталий не дал.

– Знаю, знаю, что ты скажешь, – остановил он. – И заранее согласен с тобой. Я же не спорю по существу. По суще-

ству, в идеале, прав ты, а не он. Согласен. Ты прав! Но – в идеале. А ведь вокруг – реальная жизнь. И она у тебя – одна. Она идет, годы уходят. Тебе даны способности. А ты не пользуешься. Ты *констатируешь* – так, что ли, выразиться. Констатируешь! А дальше? Даже из того, что ты рассказал, несколько очерков написать можно, а ты, небось, не все мне рассказал. И вместо того, чтобы своим законным делом заниматься, ты фотографии печатаешь, детей снимаешь в детских садах. Только ведь Алексеев твой ждать не будет. У него своя игра, ему очерк нужен. Не ты, так другой напишет так, как надо. А ты детишек будешь снимать. Всю жизнь.

Он замолчал. Я не знал, что сказать. Я смотрел на костер, на пламенеющие яркие угли, ощущал лицом жар, слышал треск горящих сучьев, и... Мне было плохо. Холод вступил между лопатками, окружающие сумерки стали враждебными. Только на миг – как напоминание – вернулось ощущение солнечного, свежего, весеннего дня, которое было вокруг так недавно, переполняло, кажется, все существо. Мелькнуло и погасло. Плохо мне было.

– Пойду донки ставить, – сказал Виталий, вставая. – Ты не обижайся на меня, старик, я хочу как лучше. Ты ж у меня совета спрашивал. Вот я тебе его и даю. Пиши очерк – один, два, три, много! Не теряй времени. На компромисс надо идти? Иди! Не увлекайся слишком, не становись проституткой, но иди. И – побеждай. Другого пути нет. Ты должен почувствовать свою силу прежде всего, а этого не будет, пока ты не

победишь хоть в чем-то. Победы нужны, победы. С женщинами как у тебя было, помнишь? Ты бросил комплексовать, взял себя за горло, и – стало получаться. Научился ведь. Ну, может быть, не совсем еще, но научишься. – Он засмеялся. – Так же и здесь, – продолжал серьезно. – Добиваться надо, побеждать. Иначе не будет ничего. Ничего не достигнешь. Хочешь, пойдем со мной донки ставить? Ну, в общем, если надумаешь, найдешь меня. Я далеко не пойду. А если что, крикнешь. Сучьев в костер подложи, чтоб не погас.

Он повозился в рюкзаке, доставая донки, червей, и ушел к реке. А я остался. Я машинально поднялся и принялся подкладывать сучья в костер. Странное было у меня состояние. Ведь совсем недавно, буквально несколько десятков минут назад, пока Виталий не начал говорить, я прекрасно чувствовал себя. И ясность была! Не полная, не окончательная, многого я еще не осознавал, но мне было хорошо, и я даже единство ощущал с окружающим – с лесом, рекой, костром, небом, на котором звезды уже мерцали. Даже с Виталием! Но вот опять.

Хотя то, что сказал Виталий, было разумно и ясно. Логично. И виден был выход. Последнее из сказанного им особенно прозвучало. Ведь женский вопрос я и на самом деле верно решил – а как иначе было преодолеть ханжество, ложь, комплексы неестественные? Только делом! Практикой, а не до-сужими рассуждениями, фантазиями. Научиться надо было прежде всего, научиться! Страх свой преодолеть! До конца

я еще не освободился, но все же кое-чего достиг и теперь на правильном пути, в этом уверен. Может быть, и тут, с очерком и вообще с писаниями так же?

Что-то смущало меня все равно, однако... Неужели Виталий прав? Стратегически конечно нет, но тактически... Какой смысл метаться без пользы? Надо действовать! Надо.

Наложив сучья, оттащив подальше от костра рюкзаки, чтоб искры на них не упали, я пошел к реке. Слышал, где копошится Виталий, но направился в другую сторону. Хотелось побыть одному.

Сел на поваленный ствол. Тихо стояли деревья. Мерцали звезды. Журчала вода. Может... попробовать все-таки?...

44

Вернувшись после поездки с Виталием, я все-таки решил попробовать. А если уж пробовать, то – в десятку. Штейнберг с клубом? Отставить, потому что Алексеев сказал «не пойдет». Варфоломеев-Силин? Бесполезно, потому что это не пойдет тем более – слишком серьезная тема и выходит за рамки. О тюрьме? Ну, это вообще ни в какие ворота. У нас в соцстране тюрем вообще не должно быть. Ведь «условия для возникновения преступности ликвидированы»... «Магнитофонное дело» с Гуцуловым, следователем Семеновой? Ну, а что тут писать-то? О Силакове, Бекасовой, о случае на станции «Москва-III»? К этому и прикосаться бессмыс-

ленно: во-первых, бездна нерешенных проблем со степенью вины, кого судить и за что, во-вторых, объективные трудности работы следователя (это также выходит за рамки), а в-третьих – проблема половых отношений, опять ни в какие ворота, тем более в молодежном журнале. Хоть Алексеев и говорил в самом начале, что на «половую проблему» внимание обратить, но я уже имел удовольствие видеть, как к этой проблеме в наших журналах относятся.

Так что действительно остается одно – история Коли Кусакина, благородная роль комсомольского шефа Л.Грушиной, а также ее руководителя Л.Ваничкиной, инспектора детской комнаты милиции. Как Алексеев мне и предлагал.

Что ж, по крайней мере тут какая-то ясность. Определенность. И все аккуратно становится на свои места.

И я вдруг почувствовал, что словно вынырываю из пучины на поверхность и, оглядываясь, осматриваясь, вижу, что все, пожалуй, не так уж и плохо. И гораздо проще, чем мне казалось. Много проще! Выход – есть!

И самое интересное в новом моем состоянии было то, что я вдруг подумал: а ведь в каком-то смысле они все правы – не только Виталий и Алексеев, но и Шишко, и Антон. И Лора в этом ее «не надо серьезно»! Чем биться головой об стенку с непонятной целью переделать мир, который прекрасно существует и без тебя, не правильнее ли делать то, что в существующих условиях принесет кое-какие плоды? Ведь есть же действительно объективные законы сегодняш-

ней действительности. Которые, хочешь не хочешь, приходится исполнять. И жить. Жить, а не прозябать, как князь Мышкин! Разве не лучше хоть что-то, чем ничего?

Трудно было начинать, пришлось действительно брать себя за горло, зажимать разыгравшиеся чувства, гасить эмоции. Чтобы идти вперед. Задача ясна, цель определена. *«Ясность цели, упорство в достижении цели»* – правильно!

Три дня подряд вставал рано, умывался, а потом запирали дверь и не откликался, даже если звали к телефону. Сначала написал план, а потом старательно выполнял каждый пункт. Я ведь хорошо понял, что требуется Алексееву. Газеты и журналы, слава Богу, читаем, все постановления последние знаем – понять, что именно нужно в текущий момент, очень нетрудно, надо быть просто-напросто идиотом, чтобы не понять. Мешало, конечно же, то, что материала слишком много, он давил, не давал сосредоточиваться, отвлекал. Хотелось философствовать и размышлять, но это опасно. Тут нужно стать жестким к себе, отбирать строго. Подчинить надо себя. Подчинить ЦЕЛИ. Как Март Иден.

Конечно, нельзя писать совсем уж примитивно – как та женщина о «Суде». Однако композиция и мысль должны быть, просты, ясны, однозначны и недвусмысленны – чтобы никаких посторонних намеков и кривотолков. И, разумеется, эту простоту сути необходимо затушевать, подкрасить, ввести даже некоторый момент остроты, некоторых сомнений, может быть – такую «диалектику мысли». Которая,

конечно, должна выстраиваться в правильном направлении. Начать, может быть, даже от противного. А уж потом... Есть же соответствующие правила, приемы! Вывод окончательный должен быть однако ясен и прост. Да, жизнь конечно сложна, да, всякое в ней бывает, да, преступления у нас, к сожалению, иногда встречаются – «кое-где, порой...» Но!

Но условия для возникновения преступности в стране ликвидированы решительно и окончательно, партия и правительство делают все, чтобы эти раковые метастазы капитализма, проклятого прошлого не появлялись, комсомол помогает, и хотя не всегда получается все, но – получается! И мы неуклонно идем к победе полной. И не может быть никакого сомнения в том, что придем. Потому что мы на верном пути. И победим обязательно. Завтра!

По сути именно так.

Настроить себя на такую волну было, собственно, не так уж и трудно. Дело в том, что последние партийные постановления были действительно вполне разумны. В речах руководителей, в статьях газет провозглашались мысли и идеи, которые били, кажется, в самую суть проблемы. Говорилось о необходимости демократизации жизни, о гласности, которая поможет бороться со всякими злоупотреблениями, о торжестве «ленинского стиля» в руководстве, о том, что каждый человек, каждый гражданин должен чувствовать себя хозяином в своей стране, о необходимости творческого развития личности и творческого отношения к труду, о доверии

к человеку, уважении к достоинству каждого, о том, как вообще почетен труд, и заслуживает всенародного осуждения уклонение от него. Тунеядству, пьянству, халтуре, демагогии, спекуляции на дорогах для всех нас принципах – бой!

Разве можно что-нибудь возразить против этого? Смущают, конечно же, некоторые жизненные факты, но факты вещь преходящая, сейчас они одни, завтра другие, и на самом деле важны не столько единичные факты, сколько *тенденция*. А тенденция в постановлениях, мероприятиях, передовых статьях у нас самая обнадеживающая!

Я даже вспомнил правило времен революции: «Большевики не обязаны считаться с фактами – факты обязаны считаться с большевиками!» Смело, конечно, слишком самоуверенно, однако... Зато, напор, активная жизненная позиция!

Позиция Шишко и тех, кто руководил советской литературой, в общем-то понятна: зачем травить душу людям, публикуя «натуралистические» факты, отдельные «фактики», выпячивая тем самым отрицательные моменты, любуясь болячками? Что изменится от этого? Мы – в походе к светлому будущему, а потому надо не сокрушаться, а дело делать! Появилось даже свежее хрущевское выражение: «кочка зрения». Не «точка», а «кочка». То есть маленький бугорок, на котором пристроился злопыхатель и мещанин. Без учета тенденции и стратегии партии, ведущей к Светлому Будущему. Надо слезть с кочки.

Вот так настраивал я себя. И настроил. Теперь история

Коли Кусакина, которого перевоспитывала Лида Грушина, комсомольский шеф, становилась значительной и символической. Коля, родился в тюрьме – то есть символ: мрачное прошлое. И он, естественно, уже катился по наклонной дорожке... Но тут ему помог комсомол в лице Лиды Грушиной. И она, доблестный комсомольский шеф, протянула ему комсомольскую руку, показав дорогу к светлому, правильному будущему! Помогла!

Да, были, конечно, сложности. Одно воспоминание о тюрьме, в которой родила его мать, чего стоит! Но педалировать этот факт, конечно, не надо. Хотя и есть у нас пока тюрьмы для уголовников, но суть-то не в этом! А в том суть, что не родственник какой-нибудь формальный, а именно *посторонний* как будто бы человек – молодая женщина! – пришла к нему в дом, обеспокоенная его судьбой, поддержала, заботясь о нем как о родном. Причем бескорыстно! Не в расчете на наследство, как наверняка было бы на Западе, и не потому, что он якобы заинтересовал ее сексуально – какое там... – а именно бескорыстно! Бескорыстно тратила на него свое время и нервы комсомольский шеф Лида Грушина, заботилась о нем, переживала за него – и таким образом стала для него как родная. Роднее даже, чем мать, называвшая Колю «тюремщиком» в лицо и фактически не считающая его своим сыном.

И что тут еще очень важно: не единичный это случай, а – движение по всей стране, как когда-то «тимуровское». Таких

комсомольских шефов у нас – десятки тысяч! И у некоторых шефов бывает аж по несколько подшефных сразу! Разве это не героизм? Вот и получается, что оступившийся человек, оступившийся ребенок в нашей стране не предоставлен сам себе, и если о нем плохо заботятся родственники по крови – мать, отец, братья, сестры, – то общество выделяет из своей среды тех, кто становится для него *настоящими* родственниками: не по крови, а по сути, по убеждениям! И бескорыстно! В свободное от учебы и работы время. «*Друг, товарищ и брат*»...

Есть такое на Западе? Вряд ли. А у нас есть! Вот они, герои нашего времени! Человек человеку – друг, товарищ и брат на самом деле! «*Мир, труд, свобода, братство и счастье для всех людей*»...

«В борьбе за человека!» – так я и решил назвать свой очерк.

Очень трудно было сначала, однако постепенно я все же настроился и втянулся. Стало легче. В конце очерка я даже почувствовал, что на самом деле горю гражданским пылом и в том же ключе, пожалуй, смогу написать и о Варфоломее-Силине, и о Штейнберге, и о «Суде над равнодушием». Странно, в какой-то миг мне показалось даже, что парней из РОМа я отчасти начал уже понимать. Надо же как-то бороться за моральную чистоту! Да, перегибы есть, но...

Что же касается «Суда над равнодушием», то в гранках у Алексева была путаница в сути, вот в чем дело! Эта путани-

ца и сбивала с толку. Потому, может быть, тот очерк женщины и не прошел? Уверенность должна быть, коли берешься за дело. И – четкость позиции.

А Лора... Да, разумеется, забыть ее так, сразу я, конечно, не мог. Но... Да, она красивая, конечно, хорошая женщина, чувственная. Да, то, что произошло у нас во вторую встречу – какой-то чудесный прорыв. Но... Во многом все же прав Антон. Она не смогла справиться с обстоятельствами своей жизни, поддалась им. И – правильно, что мы с ней разошлись. И нечего.

Воистину: трудно лишь начать. Потом легче...

Вообще-то говоря, состояние у меня было непривычное с самого начала и не совсем понятное мне самому. Мучительная боль ушла, я был деятелен, бодр – бодро сидел за очерком утром (это не приносило особого удовлетворения, но ведь шла работа, продвигалась!), бодро печатал фотографии потом. Правда, бодрость эта не шла изнутри, ее приходилось постоянно чем-то поддерживать – гимнастикой, осознанием долга, чуть-чуть прослушиванием радиопередач. Я ощущал себя в постоянном напряге, и как бы на посту. Как Мартин Иден в самом начале! То есть я не жил, а работал во имя будущей своей жизни (и не только своей!) и пылко мечтал о скорейшем написании очерка и избавлении от фотографии, чтобы поехать за город, книжки почитать, сесть, наконец, за свою повесть, рассказы. Правда, повесть, рассказы и вообще все прошлые мои вещи как-то отдалились и вызы-

вали нечто, похожее на смущение. Может быть, они и правда наивны, многословны и в какой-то мере действительно «ни о чем», как говорили редакторы и «семинаристы» на первом моем «обсуждении»? Нужны ли они вообще?

Это мое новое отношение к ним смущало – ведь раньше я был уверен в них! Уверен, что они – о самом главном! Но сейчас я старался гнать от себя эти мысли. Потом, потом! Когда напишу очерк и разделаюсь с фотографией. Сейчас не до них, работать нужно. Потом!

Ну, в общем, написал я свой очерк за три дня. Честно говоря, все же не был вполне им доволен. Чего-то там не хватало. То есть вроде бы все там есть – и проблема поставлена правильно, и образы как будто, и язык. Но не хватало чего-то. Впрочем, если честно, то он и так уж порядком мне опротивел за эти три дня. Доделаю, если что. Доработаю, если попросят. Все равно они будут «править». Вот и пусть. Главное, чтобы Алексееву более или менее понравилось, он и подскажет.

Скорее нести. Время не ждет. И уж во всяком случае очерк мой лучше, чем те убогие «гранки».

Созвонился с Алексеевым и – понес.

– Принес? – спросил Алексеев бодро.

– Да, вот, пожалуйста.

– Я прочитаю, ты оставь, – сказал Алексеев. – Молодец, что успел. Если все по-хорошему – в восьмой номер пустим. Нужен твой материал, очень нужен! Позвоню, как прочту.

Или сам позвони через пару дней, идет? Сейчас не могу читать – номер сдаем.

Приятно было идти теперь по светлому коридору редакции. Прошла мимо очаровательная девушка, я смотрел на нее теперь почему-то совсем без стеснения, с улыбкой, она тоже улыбнулась мне. Миновав ее, я оглянулся. И она оглянулась тоже! До чего же все-таки хороша может быть жизнь!

Теперь, в ожидании, пока Алексеев прочтет, можно было куда-нибудь съездить. Ну, в тюрьму, например. Договаривался ведь с Чириковым. С Силаковым надо встретиться и с Чурсиновым. Может быть еще какая-то интересная тема возникнет? Выйдя из редакции, я позвонил Чирикову – и застал!

– Можно в понедельник, Константин Иванович?

Он разрешил.

В субботу и воскресенье я допечатывал те фотографии, что оставались, а в понедельник с утра поехал в тюрьму.

45

Чириков был занят, а встретила меня опять Ангелина Степановна.

– Куда вас отвести? – спросила она любезно, и я попросил сначала в камеру, где сидели ребята по 117-й статье, а потом, если можно, в женскую камеру.

– С девочками в тюрьме особенно трудно, – поделилась

с со мной Ангелина Степановна, пока шли длинными коридорами.

– Почему?

– Да ведь у них одно на уме. Об одном только и думают. – Она обернулась и посмотрела на меня с грустной улыбкой. – На воле женщины держатся, да и девчонки тоже в общем-то. Во всяком случае не так заметно. А здесь... Вот у меня Ромашкина есть такая. С 13-ти лет половой жизнью живет. И ведь гордится этим! Перед подругами хвастает, героиня. Ну, сами увидите. Тут конечно тоже воспитание необходимо. Половое воспитание со школы, а может быть даже с детского сада. Раньше гувернантки были, пансионы для благородных девиц всякие. А теперь... В семьях-то, сами наверное знаете, какая мораль. Или домострой, или разврат неприкрытый. Ханжество сплошное, грязь. А дети ведь все замечают. Да и улица еще, чего там только нет. А школа, что ж. Школа – это только часть жизни. На улице да в семье они больше бывают. Поговорите с ними, они вам расскажут... Вот камера ребят, где 117-я статья.

Странно: теперь я воспринимал все не так, как в первый раз. Даже отметил в себе некоторое чувство брезгливости, когда Ангелина Степановна заговорила о Ромашкиной и ее половой жизни с 13 лет. Остановились в коридоре около одной из дверей.

– Вам сколько нужно времени для разговора? – спросила Ангелина Степановна.

Я заколебался, и она сказала:

– Ну, минут через десять-пятнадцать я за вами найду, хорошо? Тут ребята тихие. Значит, через пятнадцать минут.

– Хорошо, – сказал я.

Часовой отомкнул дверь. Ангелина Степановна представила меня обитателям камеры как «товарища от Горкома комсомола, журналиста» и вышла.

В камере было четверо – ребята пятнадцати-семнадцати лет, они показались тихими и растерянными. Трое из них уже были осуждены и не за что-нибудь, а за групповые изнасилования.

Только один считал себя виноватым. Я попытался разговаривать ребят, они стеснялись, но один все же рассказал, что их было двое с ней, и все состоялось по доброй воле: договорились заранее, встретились у метро, поехали за город, в лес, а потом расстались очень хорошо, как друзья, и даже договорились встретиться на следующий день. Когда же девочка пришла домой, у нее температура поднялась и кровь потекла, она испугалась и рассказала все матери, а та заставила ее немедленно написать заявление. Ну, почти точно так же, как и со Светланой Карпинской! Суд уже был, парня осудили на шесть лет, а его приятеля – он сидел в другой камере – на восемь. Да, да, все это, судя по рассказу, действительно очень было похоже на случай на станции Москва-III, с Чурсиновым, однако так ли было на самом деле – трудно сказать. «Они же все врут, им бы теперь только вывернуться,» –

вспомнились слова Бекасовой. И все же парень вызывал доверие...

Лишь один из сидящих в камере, робкий, невысокий и некрасивый мальчик, был осужден за попытку, которую он совершил в одиночестве, напав на женщину, которая была вдвое старше его. У него ничего не получилось, но их увидели.

– Зачем она тебе нужна была, такая старая? – спросил я.

Парнишка пожал плечами и густо покраснел.

– В парке гулял вечером, – наконец, сказал он. – А тут она идет. Пьяная шла, со мной сама заговорила. Улыбалась, целоваться полезла. Сама захотела, ну я и... Попробовать хотел. Чего ж...

Он замолчал и потупился. Ребята в камере улыбались. Я спросил:

– А у тебя вообще-то было? С девчонками было когда-нибудь до этого?

Парень пожал плечами и еще ниже наклонил голову.

– Маленький еще! – улыбаясь, сказал за него один их троих. – Не было у него. Да ведь и тут он совсем не виноват! – добавил и горячо продолжал: – Пьяная ж была тетка! Сама и хотела, спровоцировала! Просто милиционеры шли мимо, заметили. Она, дура старая, увидела такое дело и закричала: насилуют! Сучка она. Вы их не знаете, они такие, что сами лезут пока никто не видит. А как что – орут. Витьке теперь полтора года сидеть ни за что. Ведь и не попробовал даже!

– Выйду на волю – попробую, – угрюмо сказал Витька.

– А ты с чем попал? – спросил я защитника.

– Ну, у меня другое. Меня за дело, если честно. Только много дали.

Вошла Ангелина Степановна.

– У вас все? – спросила. – Пойдемте.

Я простился с ребятами – ничего не поделаешь, – и мы с Ангелиной Степановной вышли.

– Ну, что? – спросила она. – Никто не виноват у них, да? Они никогда не виноваты, это уж как водится. Всегда оправдываются. Особенно в этих делах. Захотелось и все тут. Но вообще-то и на самом деле с этим непросто. Взрослые – другое дело, а ребята... Есть, конечно, подонки настоящие, а чаще глупость, элементарное незнание, неразвитость. В этой камере как раз такие. С воспитанием плохо у нас, с воспитанием! Ну, теперь куда, к девочкам? Или Ромашкину привести?

Я попросил сначала устроить встречу с Чурсиновым, если можно. «Пожалуйста», – сказала Ангелина Степановна.

Она привела меня в пустую комнату – это была еще одна «воспитательская комната» – и сказала, что сейчас Чурсинова приведет.

– А потом Ромашкину, да? – спросила.

– Да, если можно.

Чурсинов оказался симпатичным пареньком среднего роста. Он был уже острижен наголо.

– Все путем было, – рассказывал он. – Сама с нами поехала, никто и не уговаривал. Вы бы видели какая она в будке была! Пила из горлышка больше меня, больше Сашки, курила без конца, а потом... Такое выделявала. Не знаю, как только ухитрилась до сих пор девушкой остаться, опыт такой, что... Она... понимаете, она привыкла в рот брать, а *туда* ни за что. Невинная, мол! Сама же нас и довела. Просто дрожала вся, так ей захотелось. Нам и в голову не пришло, что она девушкой может быть. Ну, мы и поочереды... Потом она поплакала немного – последствий боялась. Но расстались по-доброму, целовались даже, телефон свой дала. Кто ж думал, что она заявление напишет!

Он помолчал, потом решительно поднял голову и проговорил:

– Вы скажите Бекасовой, что я жениться согласен, пусть она Светке скажет. Сама же Светка хотела, чтоб я на ней женился. Я ей понравился, я знаю. Скажите, согласен, слово даю. Лучше уж на этой дуре жениться, чем десять лет здесь отсиживать.

Говоря, Чурсинов без конца зевал. Это были нервные зевки, его нервозность передалась мне, я едва удерживался, чтобы не сказать: «Хватит тебе зевать, слышишь!»

За Чурсиновым вместе с часовым пришел Сергей Сергеич Мерцалов.

– Ну что, удалось со следователем встретиться? – спросил он, когда Чурсинова увели. – Насчет Силакова...

– Да, удалось. Но... Понимаете, деталь выплыла неприятная. Он ведь баллон заранее припрятал. За ним и поехал, как Бекасова сказала. Умысел получается...

Сергей Сергеич грустно покачал головой.

– Да, я это знаю, в том-то и дело, – сказал он. – Жаль. Хотя какой это умысел на самом-то деле? Чепуха какая-то. Да и парень-то уж больно хороший, тихий. Ну, привести вам его? Он ведь ждет. Вы хоть несколько слов добрых скажите. Плохо парню.

– Ну, что ж, приведите, я постараюсь. Следователь вообще-то настроена неплохо. Тут главное, как судья. Если можно смягчить, следователь сделает.

– Да? – Сергей Сергеич просветлел. – Ну, хоть так, хоть что-нибудь. Тут иной раз мелочь может помочь, слово одно, и то. Ну, сейчас приведу.

Ввели Силакова. Трудно было смотреть в его глаза.

– Баллон, Вася, – сказал я. – Понимаешь баллон припрятанный. Я со следователем говорил...

Силаков отчаянно смутился, несчастные глаза его заметались.

– Да я... Мы жили плохо. Я хотел раньше продать его, если честно, а деньги отцу отдать. Правда! А как выпили тогда... В голове как замкнулось что-то. Я правда не хотел...

Я смотрел на него теперь спокойнее, чем в первый раз. И заметил, что как-то автоматически гашу чувство слишком острого сопереживания. Я боялся своих чувств, не хотел их.

Удивительно, что и Силаков вел себя по-другому. Он был сдержаннее.

Силакова увели, а следом за ним Ангелина Степановна привела Ромашкину. Девчонка лет пятнадцати, маленькая, рыженькая, с веснушками. Живая, бойкая. Она держалась очень легко, естественно, как будто встретились мы не в тюрьме, а в кабинете школы.

– Как ты здесь оказалась, Тамара? – спросил я.

– А просто, – ответила она, улыбаясь лукаво. – Оказаться здесь просто. Очень даже.

– Что значит просто? – спросил я без улыбки.

– А! – она махнула рукой. – Не повезло, вот и все.

– Но за что ты все-таки?

– А, за воровство! – она опять махнула маленькой своей ладошкой. – Подумаешь, пару кофточек унесла у богатой. Ну, часы еще. Другие вон по сколько воруют, а не попадают-ся. Пусть! Отсиджу два года, подумаешь.

– Сейчас-то тебе сколько?

– Шестнадцать, а что?

– Да нет, ничего. Ты со скольких лет с мальчиками встречалась? – спросил я с неожиданной для самого себя легкостью.

– Встречалась с детства, а живу с тринадцати, – бойко отрапортовала она, глядя весело и совсем не стесняясь.

– Ну, и ты считаешь, что это нормально? – спросил я совсем уж глупо.

– Конечно, нормально. Лучше, что ли, когда в 25 лет в старых девах ходят? С ума сходят постепенно, на стенку лезут. А потом засыхает все.

Ого! Вот так девчонка.

– А ты... В семье-то у тебя как? Отец, мать есть? – спросил я, ощутив, что смущен я, а не она, и поскорее уходя от темы.

– Мать есть, – с той же живостью ответила Тамара. – А отец тю-тю, скрылся в неизвестном направлении.

И она опять заулыбалась во весь свой рот. Что-то было в ней от веселого, живого котенка.

– Скажите, а зачем вопросы эти, а? – спросила она вдруг, глядя золотистыми, широко распахнутыми глазами.

– Видишь ли... – замялся я, не найдя, что ответить. – Мы думаем, как сделать, чтобы... – Я опять к собственно-своему удивлению ощущал неестественность своих слов и тона. – Мы думаем, как помочь вам, ребятам и девочкам, чтобы... Чтобы лучше стало, понимаешь. Чтобы вы здесь не оказывались.

Тамара едва дала мне договорить. С добрым, даже каким-то материнским выражением лица она смотрела на меня и, похоже, чувствовала мою растерянность.

– А чем вы поможете? – тотчас заговорила она, едва я замолчал. – Судей, что ли, не будет? Или следователей, милиции? Или деньги у всех будут, а не только что у богатых. Попалась, так сиди, все правильно. Что ж поделаешь. А потом... Хочется ведь, никуда не денешься.

Она пожала плечами, посмотрела этак лукаво и мило улыбнулась.

В комнату вошла Ангелина Степановна. С некоторым беспокойством она посмотрела сначала на Ромашкину, потом на меня.

Тамара едва заметно подмигнула мне и с трудом сделала серьезное выражение лица.

– Ну, как? Все у вас? – спросила Ангелина Степановна.

– Да, – сказал я, хотя, конечно, это было не все. – Спасибо. До свиданья, Тамара. Всего тебе наилучшего.

– Спасибо, до свиданья, – церемонно ответила Ромашкина, наклонив голову, встала и пошла вслед за Ангелиной Степановной.

– Я сейчас вернусь, подождите меня здесь, – сказала Ангелина Степановна, пропуская Ромашкину вперед и выходя вслед за ней.

Удивительно светлое какое-то впечатление осталось у меня от девчушки. Хотя и печальное, разумеется.

Вернулась Ангелина Степановна.

– Ну, что, теперь в камеру пойдете к девочкам? – спросила она.

– Да, – ответил я. – Если можно.

И опять направились по длинным коридорам.

– Ну, как вам Ромашкина? Улыбалась наверное без конца? – спросила Ангелина Степановна. – Она всегда паясничает.

– Да, – сказал я. – Но вообще-то она неплохая девчонка, по-моему.

– Все они неплохие, – вздохнув, согласилась Ангелина Степановна. – Только вот мест для них у нас здесь не хватает. Молодая девчонка, девочка, можно сказать, совсем и – тюрьма. Подумайте только. Вдумайтесь. Им в куклы еще играть, а они у нас за решеткой сидят. Да ведь эта Ромашкина и на самом деле не подарок. Воровала ведь. У нее и мамочка такая же. Две судимости, обе за воровство... Ну, вот в эту камеру, пожалуй, зайдите.

Она остановилась перед одной из дверей. Часовой отомкнул замок.

– Минут десять, не больше, хорошо? – продолжала Ангелина Степановна. – Мне уйти надо скоро. Я за вами вернусь... Здравствуйте, девочки! – сказала она, войдя в камеру. – Этот товарищ – от Горкома комсомола, журналист. Хочет поговорить с вами. А Иванова и Васина где?

– В мастерских, – быстро ответила черноволосая худенькая девушка.

– А, ну, ясно. Двое вас. Ну, ничего, поговорите. Я скоро вернусь.

Ангелина Степановна вышла.

Камера была четырехместная, небольшая. По стенам двухэтажные нары, как и у мальчиков. Одна из девушек темноволосая, худенькая, стройная и, пожалуй, красивая. Ее большие серо-голубые глаза смотрели очень серьезно и рас-

терянно. Чувствовалось, что она очень нервничает, вздрагивает даже. Я старался быть спокойным, но ощутил вдруг, что у меня как-то странно задергалось веко на левом глазу. Вторая девушка, русоволосая, тихая, сидела неподвижно и безучастно. Едва дождавшись первого вопроса, темненькая тотчас начала рассказывать о том, за что ее арестовали. Суда еще не было, она под следствием. Сбивчиво, блуждая жалобными глазами и вздрагивая, она поведала, как связалась с парнями, думая, что они «порядочные», а они «пристали» к кому-то на улице, пригрозили ножом, ограбили, она была тут же, милиционеры взяли ее вместе с ребятами. Судить ее будут за соучастие в грабеже.

Мне передалась ее нервозность. Тут было совсем не то, что с Ромашкиной. Смотреть на девочку было трудно. Красивая... И молодая – только что семнадцать исполнилось. Зовут Оля. На окне решетка, по стенам нары... Говорила она как-то автоматически и обращалась как бы и не ко мне, а куда-то вдаль. Меня она как будто бы и не видела. Я подумал, что она похожа на птичку. Темненькую и хорошенькую – скворчонок, может быть. Птичка в каменной клетке.

Вторая девочка безучастно слушала рассказ первой. Казалось, она вообще не реагировала ни на что. И глаза застывшие, неподвижные. Ни о чем спросить ее я не успел. Вошла Ангелина Степановна.

– Пойдемте, – сказала она. – Я, к сожалению, очень тороплюсь.

Мы с Ангелиной Степановной вышли.

– Послушать их – никто ни в чем не виноват, – опять сказала Ангелина Степановна, ни о чем не спрашивая. – А ведь такое иной раз выделывают! Хотя жалко, конечно, что говорить. У этой Андроновой – темленькая которая, красивая, – такая семья хорошая. Отец, мать, бабушка, брат старший. А вот недоглядели. У матери после всего инфаркт, отец постарел лет на десять, брат места себе не находит, бабушку тоже в больницу увезли. Не ожидали. Никогда ничего подобного не было с ней, говорят. А ведь все то же самое, та же проблема! Влюбилась в парня одного, а он подонок настоящий. Смазливая сволочь. Ножом человека пырнул пожилого из-за десятки. Он у нас тоже здесь сидит, только со взрослыми. Девятнадцать идиоту стукнуло, об Оле даже и не спросит, подонок...

– А девчонка-то виновата в чем-нибудь? – спросил я чужим каким-то голосом.

– Да ведь кто их разберет. Говорят, помогала парню, хотя и отрицает. Да ведь раз посадили к нам, значит, что-то было. Суд разберет... Я, вы знаете, ко всему уж тут привыкла, – добавила Ангелина Степановна в конце встречи, провожая меня к выходу из тюрьмы. – И жалость, и злость. Иной раз пожалеешь, а то сорвешься. Все тут перемешано, всего хватает. Уйду, наверное, отсюда. Я раньше в психиатричке работала – тоже не сахар, но все же как-то спокойнее. Там вроде больные, а здесь считается здоровые. А на самом де-

ле? Решетки эти, замки надоели. По ночам снятся. Ну, всего доброго. Звоните Чирикову, если что.

46

Первая мысль вдруг: позвонить Алексееву и сказать, что я забираю свой очерк. Отвратительно я его написал, нельзя так! Там – ложь. Взять надо, пока не поздно. Черт с ним.

Я сам офонарел от такой мысли, но... Ведь не о проблеме думал, когда писал, если честно, вовсе нет! А – чтоб *опубликовали*. Забрать! И немедленно. Боже, что я наделал...

Уже и в телефонную будку вошел и монету бросил. Но остановился. Задумался на миг все же... Что это с мной опять? Сумасшествие какое-то на самом деле.

Задумался, стал размышлять. Вообще-то говоря, страшного там ничего нет. Удержал себя в рамках. Если будут гранки, вычеркну самое неприятное. Не согласятся – откажусь совсем. Кстати, дома ведь второй экземпляр. Надо посмотреть. Может, и не так уж...

Придя домой, я прочитал и подумал, что в любом случае лучше, если очерк все же напечатают. Ничего страшного там нет, и ведь это только начало. Главное – начать, а уж потом... Виталий прав.

Столько всего свалилось в последние дни... Попробуй-ка, разберись! Да, кстати... Завтра, во вторник, семинар в институте, должны как будто бы обсуждать меня. Обещал при-

нести законченную маленькую повесть.

Мысль эта показалась ужасно неприятной. Одно то, что будут читать и «обсуждать» семинаристы и руководительница, и, разумеется, наговорят всякого – как это уже бывало, – вызвала чувство досады, беспомощного протеста. Как будто тайное, интимное увидят они на бесстыдном свету и будут говорить свои глупости. Это – не очерк для Алексеева. Эта повесть *настоящая*. О заводе, да, но – без дураков. Конечно, ее не опубликуют, но я на это и не рассчитываю.

Может, сказать больным? Да нет, непорядочно вроде. И ребят подведу. Надо же им зачеты зарабатывать. Да и мне в конце концов тоже. Ладно, черт с ними. Пусть драконят. Носорожья кожа, так носорожья.

Многое я передумал в тот вечер и ночь. Вспоминал свою «рабочую биографию». Завод был не первым местом работы после ухода из университета, первым был склад мебельной фабрики, куда меня приняли грузчиком, когда я еще был студентом физфака и решил летом подработать. «Стройотрядов» и «шабашек» в то время не было, и одна из дальних родственниц устроила меня на этот склад.

– Вот тебе куча, – сказал завскладом, критически меня осмотрев. – Вот здесь надо уложить штабель, понял? Такой же, как тот соседний. Ясно? Действуй!

Куча была из больших сосновых брусков, а день был солнечный, летний, и мне так хотелось проявить свои способности, молодую силу, я ведь с таким восторгом читал Джека

Лондона, который писал о настоящих мужчинах! И – началось. Резкий запах сосновой смолы, мелкие щепки и опилки, летящие в лицо, в глаза, ослепительное солнце, жара и – тяжелые грохочущие бруски, шум и радость работы, спорой, ловкой работы. Не зря я занимался гимнастикой и гантелями, ходил на лыжах, плавал, ого-го! Пошевеливайтесь, бруски, ложитесь на свое место! Мышцы поют, звенят, пот заливает глаза, сердце – молот, грудь – мехи, ноги, спина, руки так послушны, наконец-то, наконец-то, работа, настоящая мужская работа, ого-го, вот так, вот так, дайте развернуться, дайте! Часа полтора прошло всего-навсего, и я уложил огромный штабель, ай да я, вот это здорово! Ну! Где еще? Давайте еще...

– Послушайте, где еще? Я уложил тот штабель... – сказал я заведующему, скромно потупив глаза, с трудом скрывая гордость.

– Как, все уже? Быстро. Ну, ты отдохни, хватит пока...

– Да нет, я не устал, давайте мне еще. Вон тот можно? Там ведь тоже надо укладывать, он начат. Хотите, я его уложу?

– Ну, давай, ладно, – сказал заведующий, посмотрев на меня как-то странно.

И началось опять. Ого-го! Давай, солнце, наддай парку, плевать я хотел на жару, мне все нипочем, летите, бруски, как я велю, пошевеливайтесь, живее, живее, вот так, нажмем, еще нажмем! Работа! Это прекрасно – работа. Настоящая мужская работа! Ни сомнений, ни самокопаний – опре-

деленность, радость простого физического труда! Прекрасно, великолепно, еще нажмем, еще...

А потом обеденный перерыв. Усталость, блаженная усталость, удовлетворение сделанным, ноет поясница, набрякли руки, горит от солнца лицо, но зато два таких штабеля эти-ми вот руками... Чуть вразвалку, как бывалый рабочий, иду в угол двора – туда, где сидят другие грузчики, завтракают, курят.

– Здравствуйте!

– Здорово, – лениво говорит один.

Остальные молчат. Неприветливо смотрят. В чем дело? А, понятно. Они видели. Они завидуют! Я же помню, что издали на меня смотрели, а сами ходили, как сонные мухи. Завидуют!

– Слушай, ты что – студент? – мрачно спрашивает, наконец, самый старший из них.

– Да, студент. А что?

Молчит. Только ухмылка неприятная. В чем же дело? Наконец, через некоторое время, в самом конце обеда:

– Зря выпендриваешься. Здоровье побереги.

Завидуют, так и есть!

Но следует и объяснение:

– Ты парень вроде бы ничего, но не понимаешь, наверное. Ну, так слушай. Все равно наряд тебе закроют, как всем. Понял? А скоро работу переделаем, уложим все – уволят лишних. Или расценки еще раз срежут. И так уже до самого кор-

ня дошли... Думаешь, ты много наработал? Ты на полтора рубля наработал, если по расценкам платить.

Не может быть. Неправду говорит. Завидует – первая мысль...

Но работать с прежним пылом как-то уже не хотелось. Потом оказалось, что он прав. Расценки ведь были урезаны до нелепицы, и бригадиру в конце месяца приходилось решать очень непростую задачу, чтобы закрыть наряды, по возможности никого не обидев.

И потянулись скучные, тягостные от безделья дни...

Но через три дня пришел вагон с тесом. Что сделалось с грузчиками? Ленивые, сонные, они вдруг стали прытки и веселы – тот, который пополам сгибался под тяжестью одного бруска, проклиная свою поясницу, теперь брал два бруска сразу и бежал бегом! И смеялся, напевал что-то! Что же произошло? Меня они торопят, меня! В чем дело?

А дело в том, что за вагоны платили отдельно и щедро в зависимости от быстроты разгрузки... Так вот и начал я свою карьеру рабочего в Советском Союзе.

А потом был станочником на автомобильном заводе. Завод! Рабочий! Казалось бы, что может быть почетнее этого звания в стране Советов? Наивный, я забыл урок первого рабочего дня на складе мебельной фабрики и в первый же месяц вдвое перевыполнил норму. Я опять был чрезвычайно горд этим, ведь еще раз доказал самому себе, что могу – и заводу принес несомненную пользу, и государству. Но...

На меня начали коситься мои же новые приятели. «От зависти», – подумал я опять. Но мне опять по-доброму объяснили. Дело, опять же, в том, что на тех же станках, на этих же самых операциях, только в другие смены работали женщины. Им трудно угнаться за молодым и сильным парнем, они и так работали на пределе. А после моих трудовых подвигов забегали нормировщики и пошел устойчивый слух о том, что в очередной раз собираются снизить расценки... А это значило, что женщины за ту же работу будут получать еще меньше. Из-за меня... А ведь у них семьи... Так и получалось, что своим трудовым энтузиазмом я снижаю зарплату женщин и, таким образом, не добро делаю, а зло.

А государству от моего пыла все равно лучше не будет. Потому что «отцы государства» плодами моего труда (как и плодами труда других рабочих) будут распоряжаться глупо и так, как выгодно им, начальникам. А вовсе не рабочим.

Так что и здесь, на заводе, мне тоже пришлось уgomониться и работать вполсилы. И опять горько и скучно стало. Получалось, что и на заводе, честно работая, я не могу в полной мере проявить себя, если хочу остаться порядочным человеком. Опять получалось *наоборот*.

И в научно-исследовательском институте потом... Ведь после завода я работал в НИИ лаборантом, и главная работа – моя и еще нескольких лаборантов – заключалась в том, чтобы *как можно дольше* делать то, что нам поручили, потому что поручали что-нибудь нечасто, а большее время про-

сто-напросто нечего было делать. Но если завлаб или еще какой-нибудь начальник заставлял кого-то за чтением книги, за разгадыванием кроссворда, за какой-нибудь безобидной игрой или просто трепом, то он заставлял либо стирать с чего-нибудь пыль, либо подметать пол, либо что-нибудь передвинуть с места на место, почистить, помыть вместо уборщицы, за чем-нибудь сходить на склад или в магазин. Муки ничегонеделания, сочетаемые с постоянной готовностью продемонстрировать занятость перед начальством, испытывали не только лаборанты, но и многие научные сотрудники, окончившие институты. Все исправно получали зарплату, но вот за что? Конечно брали деньги, но удовлетворения никто не испытывал, а испытывали все – опустошенность. Я едва мог вынести несколько месяцев такой «работы». Надо сказать, что выматывало ничегонеделанье очень сильно, уставал я от него больше, чем на заводе, и усталость была неприятная, дурная.

Я понимал, что с НИИ, наверное, мне просто не повезло: есть, очевидно, и другие лаборатории, где работают по-настоящему – ведь кто-то двигает же науку! Но факты оставались фактами, существование нашей бесполезной лаборатории – разве это не проблема? И то, что перевыполнять план на заводе тому, кто на это способен, идет во вред его товарищам да в конечном счете и мне самому, а потому нет заинтересованности в работе – не проблема ли? И то, что сами рабочие ни над чем не властны, ничего не решают, все

решают за них, а они – винтики, безгласные мошки, роботы, рабы – это становилось все ясней и ясней.

То есть постоянно, всегда, во всех смыслах и отношениях все получалось – *наоборот!* Что касается заработка моего в то время, то спасала лишь «неофициальная» фотография. Для меня, для воспитателей, для родителей все тут получалось впрямую, не нужно было ни сдерживать себя, ни делать вид, чем быстрее и лучше выполнял я свою работу, тем лучше было для всех. Хотя... Хотя нужно было скрываться от фининспекторов, обэхеэсэсников, а значит и тут тоже было *наоборот*.

Как и с главной, основной, работой моей, *делом жизни*. Ведь рассказы возвращали из журналов не потому, что они плохи, а потому, что правдивы, честны и на самом деле о жизни, а не о том, как надо любить начальство и коммунистическую партию своей страны. То есть потому как раз, что они хороши – это ведь и сам Алексеев мне говорил, и Гусельников. Шишко призывал не правду писать, не исследовать проблему по-настоящему, а в первую очередь – следовать «установкам». В Литинституте учили все же не описывать жизнь такую, какая она есть, а – какой «должна быть». Тоже *наоборот*...

Виталий, Антон, другие многие – и даже Лора! – хотели чего? Чтобы я не мучился, не метался, и «наоборот» принял за правду, а правду – за *наоборот!*

Вот что начал я тогда понимать. Наконец-то...

И как-то само собой стало ясно мне вдруг, что у многих из тех ребят, что находились под следствием или ожидали отправки в колонию, была та же проблема. Та же, что и у меня. Они тоже запутались во всех этих «наоборот». И с девочками, и с баллонами, и с «бытием», которое «определяет сознание», и с наставниками своими, с которыми «вместе пили». То есть оказалось, что вся жизнь наша на самом деле – *НАОБОРОТ*.

47

И вот семинар.

Собралось человек двенадцать, довольно много. Было у меня три экземпляра повести, решили не читать вслух – так хуже воспринимается, – а передавать друг другу листки по очереди.

Вот и хорошо. Читать вслух не хотелось. Повесть раньше мне самому очень нравилась, написал ее быстро, на одном дыхании, но сейчас видел, что она длинная, сумбурная, с их точки зрения, и вообще не о том, что котируется на семинаре. Разве что тематика «производственная» – это у нас любят. Да еще и «из жизни», что да, то да. Написал после того, как проработал на заводе целый год. «Производственной» тематика была лишь внешне, на самом же деле просто о жизни, о человечности, о чести, может быть, которую у нас как-то постепенно оттеснили, заменив ее «социалистически-

ми обязательствами» по выполнению «плана».

Читали часа полтора – там больше полсотни страниц на машинке, – я не знал, чем заняться, выходил из аудитории, бродил по коридорам, стоял во дворе, глядя на небо и солнце. Странную бессмысленность ощущал во всем. Даже солнце и небо казались бесцветными, ненастоящими, что-то это напоминало, не мог сообразить сразу, что именно. А, ну да, тюрьму, конечно! Точно так же воспринималось солнце из тюремного дворика.

Да, мы все в тюрьме, думал я, если уж по большому счету. Бессмысленность и пустота. Ложь вокруг, неверие у большинства ни во что, и ничего нельзя, сплошные запреты. Вот читают, сейчас будут долбать по самым чувствительным местам, а зачем? Зачем это нужно? Писал честно, писал, как принято говорить, «для себя». Ну, и какой же смысл? Не напечатают – уже категорически возвращали дважды из двух журналов, а в третьем как будто понравился, но... Редактор сказал, что «слишком» – «Нельзя же уж так-то, такое у нас не пройдет». То есть и выходит, что «для себя». А сейчас обсуждающие будут еще и изгиляться. Никому не нужно ведь это «для себя». Все теперь должны следовать установкам, привыкли. Чтоб опубликовали! Вот и очерк у Алексеева лежит старый мой, настоящий – без пользы. Осточертело все. А новый... Алексеев пока молчит.

Честно говоря, мне не хотелось возвращаться в аудиторию, дикая мысль вспыхнула: уйти! Уйти и все. Пусть об-

суждают. Зачет поставят все равно, и ладно. Ведь послал же на первом курсе повесть по почте. И зачли. Вот только с экземплярами. Жалко. Вдруг пропадут? Да нет, глупость, конечно. Никуда я не уйду.

И словно под невидимым конвоем вернулся все же в аудиторию.

Подробно вспоминать то, что было дальше, не хочется. Да и не помню толком. Вошел тогда к ним – заранее с комом в горле, боялся сорваться, всячески уговаривал себя не волноваться и ни в коем случае не отвечать на придирки и глупости. И ощущение тюрьмы и предстоящего насилия было, ожидание непонимания, чувство стыдной обнаженности, желание защищаться, хотя и незнание, как. Ощущение жертвенности, заклания, что ли. Ну, букет, известный всякому, кто, фигурально выражаясь, подставлялся и получал по морде.

Однако ожидаемого не произошло. Это странно, однако некоторое время я не мог даже понять, адекватно ли воспринимаю происходящее. Повесть мою хвалили! Никто не обвинял за сумбур – разве что руководительница и еще кто-то сказал, что подробностей и производственных терминов все-таки многовато. С какой-то точки зрения, это, может быть, и справедливо, хотя я все-таки не согласен. Но и с этой точки кто-то из ребят меня защищал! Главное же – повесть *поняли!* И говорили с уважением, я видел, что это действительно так – не дежурные похвалы, а искренние! Их проняло!

Да, такого я не ожидал. Ведь так привык к натужным высказываниям, натяжкам, неискренности, порой откровенной лжи в выступлениях семинаристов. И вдруг...

Радость, чувство некоторого удовлетворения были, конечно. Но больше все же не это. А – печаль. Все, как один, заявляли, что рассказ не напечатают ни за что. «Такие вещи будут у нас печатать через пятьдесят лет, не раньше», – так сказал один, кажется, Соловко. «Через двадцать», – возразил ему кто-то. «Да, – согласилась руководительница, – его не напечатают сейчас, к сожалению, это верно. Мрачно им покажется, хотя это не мрачность. Это правда. Вы, Серов, работали на заводе сами, и это чувствуется. Не все получилось у вас в рассказе, но он состоялся, он есть. Это живое, это трогает, а недостатки не столь и важны. Я считаю, и, думаю, товарищи со мной согласятся, это ваша удача».

Ничего себе удача, подумал я.

48

Смутное, смутное было у меня тогда состояние все равно, странно подействовало обсуждение на семинаре. Хвалили... А за что? За то, что не напечатают? Опять все – *наоборот*... И потом. Все-таки производственная тема у меня в повести, пусть лишь внешне, но – производственная. Красоту, эротику, женственность они бы не поняли все равно. И – осудили бы. «Производственная», «деревенская», «город-

ская»... Все! Остальное – «ни о чем». Напишу о Лоре, об «этих» проблемах – скажут: не положено, «не по-советски», «порнография», непристойный секс. Низ-зя!

Алексеев, между тем, не звонил, и я решил сам ему позвонить. Застал.

– Ну, как, прочитали, Иван Кузьмич?

– Прочитал, – сказал Алексеев, и тон его был кислый.

– Ну, и как? – спросил я спокойно.

– Честно говоря, плохо, – сказал Алексеев и вздохнул. – Понимаешь, это не то, Олег. Ты же... Я от тебя другого ждал. Ну, в общем, приезжай, поговорим. Вообще-то я могу его предложить, конечно. Его, может быть, даже и напечатают. Но... Это не то, понимаешь. Пафос ложный. В том очерке, что у нас не пошел, у тебя искренность была. А здесь... Это не твое, Олег. Не твое...

– Хорошо, – оборвал его я. – Понятно. Я заеду как-нибудь. Позвоню тогда.

И повесил трубку.

Первым чувством была дикая злость. Кто меня просил сделать не так, как я хотел, а «как надо»? Кто накачивал необходимостью «положительных примеров», «ролью комсомола» и т.д.? Кто давал мне эти самые заведомые «установки» и отвергал то, о чем я хотел написать? А теперь удивляется!

Но тут же я и остыл. Почувствовал даже, что стало отчего-то легко. Элемент благодарности к Алексееву ощутил да-

же. От того, что он все же не похвалил. Ну, и стыд, конечно. Перед самим собой стыд. И перед ним все же тоже.

Вспомнился опять почему-то фильм «Хеппинг в белом». Безднадега, полная у нас, безднадега... Что делать?

49

Да, невеселое было тогда положение. Состояние отчаяния, можно сказать. Поражение на всех фронтах...

Только вот деньги за фотографии в детских садах исправно воспитатели собирали и честно мне отдавали. И никто меня пока не поймал. Финансовая проблема в какой-то степени решалась. А скоро лето. Детские сады выезжают на дачи, и с заработком будет еще проще.

И вот...

Есть, то есть питаться земной пищей все-таки надо, и я по-прежнему ходил в свою «Закусочную». Зашел и на этот раз. Был солнечный день конца мая, но я как-то не замечал любимого солнца. Что-то было все же не так. Оупение и тоска. Ездил, ездил с очерком, встречался с людьми, переживал за них, обещал, они ждут, а я вот...

В «Закусочной», как всегда, была грязь, как всегда, почему-то в воздухе висел чад, всюду проникал неприятный запах, но больше всего, как всегда, раздражало даже не это. Это в конце концов преходящее, это можно ведь изменить – не везде ж так, не во всех закусовых и столовых! Больше

всего меня всегда раздражали лица обедающих – отрешенные, равнодушные, принимающие эту вопиющую действительность такой, какая она есть, и не только не пытающихся, судя по всему, изменить ее, но, похоже, и не помышляющих об этом. Конечно, сравнивать это с «Бабьим яром» слишком смело, но по сути ведь – то же самое! «Бытие определяет сознание»...

Казалось, люди наши даже и не представляют себе, что жизнь может быть какой-то иной. «Спасибо, что хоть таким кормят» – написана была на их жующих лицах расхожая «мудрая» истина, а с мокрых уст некоторых готова была, кажется, сорваться еще одна мудрость: «Заелись! В войну и такого не было, забыли?! Ешь, что дают, и не выступай!» Находились – всегда, конечно, находились такие, которые «выступали»: вызывали директора (которого, как правило, не было на месте), требовали жалобную книгу (которая обычно была «на проверке»), иногда получали ее, правда, и даже писали свои «замечания и пожелания», иной раз весьма резкие, но все оставалось по-прежнему, и только на праздники (да и то не на все) или перед «Выборами» появлялись бумажные салфетки, а то и полузасохшие цветы на столах, блестел чистый пол, улетучивался куда-то чад...

«Выступал» и я когда-то, как уже сказано, но... Устал. Может быть действительно была высшая мудрость именно в равнодушии этих жующих, отрешенных от всяких переустройств, довольных всегда и всем лиц? *«Не надо серьезно»*

– как сказала Лора. Ведь привыкли уже, пора бы привыкнуть совсем...

В тот день я тоже стоял и жевал, как все, и смотрел машинально по сторонам и, как всегда, в бессильной усталой злости думал о том, что мы все-таки сами виноваты в страданиях и бедах своих, это верно. Но действительно: в данном, конкретном случае что можно сделать, что? Ведь пробовал, пробовал – и что? И понимал я, что со стороны, видимо, выгляжу так же, как все – несмотря на то, что внутри, про себя, пылаю все еще гражданским пылом. Наедине с собой...

И тут увидел я, как среди других в столовую вошли двое – мужчина и мальчик. Мужчина средних лет, в потертом пиджачке, а мальчику лет двенадцать. Они остановились у соседнего с моим свободного столика, мальчик остался, а мужчина направился к раздаче. Мужчина был небритый, усталый, с лицом мягким и добрым, подверженный, однако, как я понял тотчас, губительной страсти – это было видно по неуверенной походке, дрожащим рукам и по тому устоявшемуся запаху винного перегара, который я почувствовал, когда они проходили мимо.

Лицо же мальчика поражало не столько своей худобой и бледностью, но блеском глаз, одновременно и детских, и взрослых. Они были по-детски широко, с острым вниманием к окружающему открыты, но в то же самое время недетская серьезность и горечь уже поселились в них. С доверием, любопытством и радостью они, казалось, встречали взгляд

каждого в самый первый момент – но тут же их обладатель как будто бы вспоминал о чем-то и отводил глаза, пытаясь скрыть от посторонних вспыхивающее в глубине его существа отчаянье.

И еще по мимолетным взглядам вокруг, по движению ноздрей, губ, горла – по всем этим недвусмысленным признакам заметил я, что мальчик определенно голоден.

Мужчина тем временем подошел к раздаче в странной какой-то неуверенности. Там, как всегда, уже стояли готовые блюда – котлеты, супы, кисели, – нужно было только взять поднос, встать в очередь, поставить затем на поднос то, что взято, и оплатить у кассирши. Но мужчина, как будто бы присматриваясь к меню – оно висело тут же – и выбирая, бочком придвинулся к стоявшим супам, протиснулся между двумя людьми, стоявшими в очереди, когда между ними образовался просвет, взял быстро две полные миски дымящегося борща и, пользуясь тем, что кассирша отвлеклась, а люди в очереди не смотрели, понес миски с супом к столику, где его поджидал мальчик. Никто не заметил, что мужчина и не собирался платить.

Но только не мальчик.

Лицо мальчика, который внимательно следил за действиями мужчины, мучительно исказилось, когда он увидел и понял то, что увидел и понял я. Но мужчина не заметил этого. Очень довольный собой, он поставил дымящиеся миски на стол и отправился за ложками. Мальчик, быстро взглянув на

меня, сцепил накрепко руки и опустил глаза. Он судорожно глотнул, и совсем уже ясно стало, как он голоден.

Довольный, слегка улыбающийся мужчина принес тем временем хлеб и ложки и, придвинув одну из мисок к мальчику и положив рядом с ней ложку, принялся немедленно и жадно есть свою порцию.

Мальчик не расцеплял рук и не поднимал глаз на миску, которая дымилась рядом с его лицом.

Наконец, мужчина заметил это. Он задержал ложку, уже поднесенную ко рту, и лицо его странным образом сморщилось – жалобно и досадливо в одно и то же время. Он опустил ложку с борщом, проглотил то, что было во рту, и сказал негромко:

– Ну, Володя, ну, что же ты. Ты ведь так есть хотел...

Мальчик дернулся и, не поднимая покрасневшего лица, пробормотал отрывисто:

– Не могу, папа. Не хочу. Опять ты...

Мужчина, услышав это, совсем расстроился, лицо его размякло, глаза перебегали с миски на мальчика и обратно, губы шевелились.

– Ну... – сказал он, сглатывая слюну и жалобно глядя то на миску с супом, то на мальчика. – Ну, ты ведь знаешь. Ну, не осталось у меня ничего, ну... Что же делать-то. Ну.

Мальчик не поднимал глаз.

– Я завтра заплачу! – сказал вдруг мужчина радостно, очень довольный, как видно тем, что спасительная идея вне-

запно осенила его. – Завтра получу деньги и приеду сюда, заплачу. Хорошо? Я тебе обещаю. Ешь.

И он с облегчением опять запустил ложку в борщ.

Но мальчик не дрогнул.

– Нет, папа, пойдем, – сказал он вдруг, подняв глаза, но по-прежнему не глядя на отца. – Пойдем отсюда. Я не хочу.

И столько решимости было в тихом детском голосе, что не только я, невольный свидетель, но и собственный его отец удивился. Растерянно он смотрел на сына. Наконец, оставил ложку в борще и с досадой махнул рукой.

– Ладно, – сказал он с беспомощной какой-то обидой и, не оглядываясь, пошел вон из столовой.

Сын облегченно вздохнул и поспешил за ним.

И все.

А я стоял рядом со своим столиком тоже в растерянности и чувствовал, что все как будто бы изменилось вокруг.

Так просто. Он – отказался! Голодный мальчик *отказался* от ворованного супа. И раздосадованный отец *тоже* не стал есть.

Так просто.

И я увидел вдруг, что столовая залита солнцем, ярким майским солнцем, которое врывается в окна и пронизывает насквозь этот чад, эту убогую обстановку и освещает лица людей.

И в мгновенном порыве я бросился вон из столовой, чтобы догнать их и каким-то тактичным образом пригласить по-

обедать со мной – оказать честь! – в кармане, слава богу, прощупывалась целая трешка, – выскочил на ослепительную, залитую солнцем улицу. Но мальчика с отцом не было видно вокруг. Я быстро прошел по улице в один конец. В другой. Их не было.

«Отказался. Он – отказался!» – бились во мне счастливые эти слова, и я с полузабытой как будто бы радостью ощущал, как воздух наполняет спавшиеся легкие, как горячее солнце гладит лучами кожу, как в ушах звенит весенний радостный шум. «Он – отказался. Так *просто* это». И значит, я – не один? *Не один!*

И по-новому озарились для меня прошедшие дни.

Только ложь? Только игра? Бесполезно все? «Не надо серьезно»?... А они?! А эти искренние, вполне естественные, живые, добрые люди, которых *так много* встретилось все же! Как это я забыл? Видящие, но не падающие духом, не вступающие в «игру», но – делающие, все-таки *делающие* свое дело! *Свое! Честно!* Так, как они его понимают, а не так, как пытается их кто-то заставить! Амелин, Штейнберг, Силин и Варфоломеев, Грушина, Ваничкина, Семенова, воспитатели в тюрьме, лучшие из них, да мало ли! Их много, очень много, *живых*. И вот – даже мальчик! Даже мальчик, несмотря на то, что такой у него отец. Даже он! Как будто для меня, специально...

И я вдруг осознал сложность мира – не хаотичность, не бессмысленность, не тоскливость его отнюдь. Сложность!

Это совсем другое. Выбор есть *всегда*. И выход всегда есть! Ну, конечно. А я-то... Да, я выглядел жалким перед кем-то – но ведь я и был *жалким*! Но, конечно, не потому, что действовал не так, как советовали Антон и Виталий. Наоборот! Я был жалким потому, что сомневался, не шел ДО КОНЦА, не уверен был в своей правоте, *самому себе* не верил! Вот в этом и права Лора! Красота, нежность, искренность всегда правы! А она ведь была со мной искренна! Антон... Что он нес? «Работать должна, не подчиняться, не отдаваться... Грудь зачем?» Он, который сам восхищался ее красотой, привел, мечтал о «Гаити»... Работает копировщицей «за семьдесят рэ», не отдается начальнику – разве этого мало? Она, красивая, молодая женщина – место ли ей там, у них? Сволочи идеологи и правители наши – красоту не ценят, женское не ценят, природу не ценят – им лишь бы «производство» и План! Таким, что ли, будет Светлое Будущее?! Секса нет у нас – не положено! – красоты нет, женщины красивые должны вкалывать за гроши, а мы, писатели, журналисты, должны писать только то, что разрешают «сверху», а иначе...

Что же мы делаем со своей жизнью, люди?!

Мы – *не мужчины*. Мы превратились в ничтожеств – баранов, овец, кроликов беззащитных. В проститутков мужского рода! Не женщины, а мы, мужики, настоящие проститутки! Мы трясемся перед сильными мира сего – носорогами, лжецами и хамами, – перед их *лживой* силой. Подчиняемся под-

лой этой системе! Мы лжем в постоянном животном страхе, мы не только женщин, мы саму жизнь любить перестали! Не ценим ни красоту, ни природу, ни женщин! В животном страхе потерять жизнь мы *уже* потеряли ее! Мы покорно, подчиняемся «руководителям» нашим, которые, пользуясь подлой системой власти, доводят нас до состояния жалких скотов – слепые от страха заставляем себя им подчиняться. «Сильные они! Опасные!...»

В чем же они сильны, чем опасны? Лживые, подлые! Не о нашем Светлом Будущем думают – о себе... Пирамида – остроконечная Пирамида Власти! Пирамида Господства одних над другими – лживых над честными, жестоких над «жалкими», алчных над добрыми!

Нас кормят вонючей похлебкой и вешают кислую лапшу на уши, а мы верим. Нас грабят, нас унижают, нас истребляют, а мы ползаем на коленях и ловим мерзкие руки, целуем их, лишь бы они не били нас слишком сильно и не отняли последнее – тюремную эту похлебку и вонь, и чад, и ничтожество всего нашего беспомощного, бесполого существования – существования *наоборот!* Мы ползаем в грязи и блевотине, взваливая на женщин свою мужскую ношу (называя это «раскрепощением, равноправием женщины»), а потом их же обвиняем в неженственности, обзываем «дрянями» и «блядами». Мы только и можем, что продлить род человеческий, да и то не всегда можем, увы – мы и эту природную прерогативу свою растратили на другое: на ползанье,

унижение перед «сильными», жалкое подобие «Гаити», которое не Гаити вовсе, а просто скотство. Мы красоту растоптали. И нежность. И сочувствие. И любовь.

Так понял я и так осознал, увидев всего лишь мимолетную сценку в столовой. Пережитое, накопленное, невысказанное вспыхнуло во мне, прорвалось.

Я – ПРАВ! Не Виталий, не Алексеев и уж тем более не Антон... Я! И мальчик. Себя, себя нельзя забывать, предавать ни при каких обстоятельствах, хранить данное тебе природой необходимо – и не на потом откладывать, а – сейчас! «Потом, потом, – думаем мы, лелея, пестуя, взращивая свой страх. – *«такова жизнь»*, ничего изменить нельзя... Ведь нам обеща-а-а-ли! Су-у-лили ведь *све-е-тлое бу-у-удущее*. Нам обещали из года в год, а мы все ве-е-рили, ве-е-рили. Нам говорят: работайте лучше! И мы стара-а-емся, стара-а-емся, не поняв до сих пор, что чем лучше мы работаем, тем больше у нас отнимают! И тем лучше благосостоя-а-ние. Не наше благосостояние. ИХ.

Ну, напечатали бы «подходящий» очерк. Один, другой, третий. Ну и что? Если они будут хотя бы частично лживы, если к ним, к тому же, приложат руки те, кто стоит над алексеевыми, что останется? Кому будет нужна эта ложь? И ведь тут только начни...

Даже в гетто были восстания. Даже в концлагерях. И в оккупации – партизаны. Всегда, при всех обстоятельствах, во всех условиях, даже самых бесчеловечных, теплился живой

огонек *«сейчас»* – живой огонек самой ЖИЗНИ. Только сегодня! Только СЕЙЧАС! Потому и существует до сих пор жизнь – несмотря ни на что!

«Потом» никогда не бывает – всегда есть только СЕЙЧАС.

Прав Виталий вот в чем – завалить их очерками, повестями, рассказами. Но – не теми, какие им нужны – *СВОИМИ!* Прав и Антон: только не нить! Все правы, если ты *действуешь*, а не прозябаешь в страхе, НЕ ПОДЧИНЯЕШЬСЯ слепо. Если ты *ЖИВЕШЬ*, а не ждешь обещанного тебе «потом». Если ты *ОТКАЗЫВАЕШЬСЯ* от ворованного борща.

Да, я напишу, но напишу *как было на самом деле!*

Как яркий, насыщенный *виртуальный* фильм пролетела в воображении моем вся история тех дней... Все – правильно, и – спасибо, Лора!

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ! Никогда, ни за что... Спасибо тебе, мальчик в столовой!

Ах, какая же великолепная погода была в те майские дни! И сияли окна домов, сверкали плоскостями автомобили, распускались почки кустарников и деревьев, весело чирикали воробьи, и вспыхивали улыбки на лицах прохожих...

Была середина шестидесятых. У всех у нас была пока еще Родина – Советский Союз. Одна Шестая часть всей земной суши. Богатейшая по ресурсам страна мира... И мне, да и многим, многим в голову не могло прийти, что будет с нашей страной всего через каких-нибудь двадцать лет... Где теперь

наша Родина? Где великая наша страна?

И все-таки. Еще не вечер. Еще будет завтра. Обязательно!